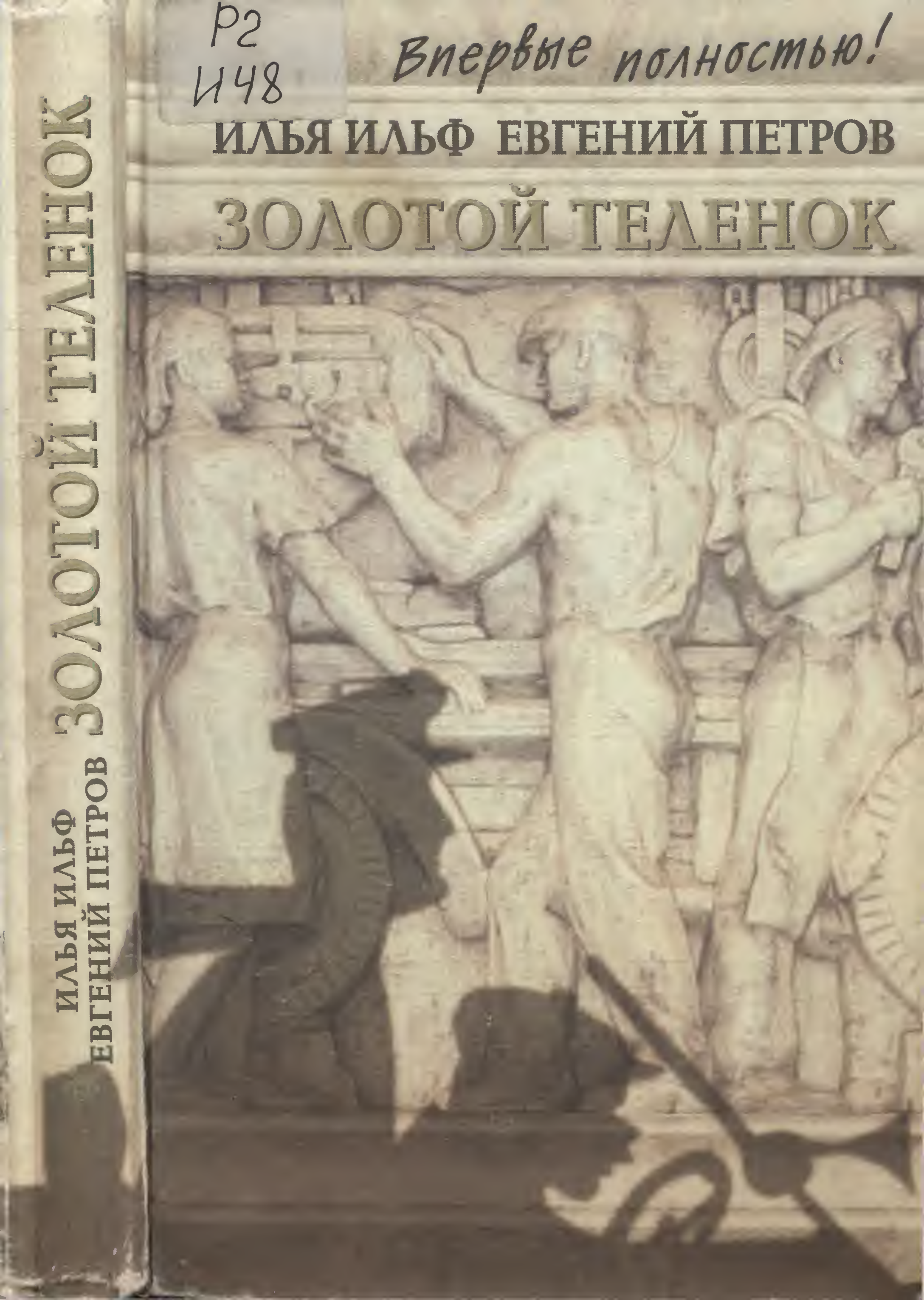

Р2
И48
Впервые полностью!
ИЛЬЯ ИЛЬФ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
ИЛЬЯ ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

Илья Ильф

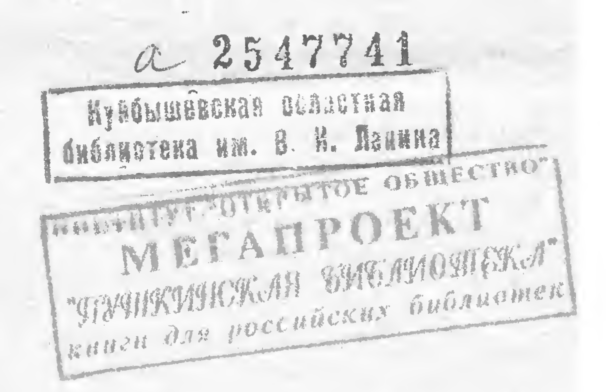
Евгений Петров.

ИЛЬЯ ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

Первый полный вариант романа

Подготовка текста и вступительная статья
М. Одесского и Д. Фельдмана



МОСКВА ВАГРИУС 2000

УДК 882-311.5
ББК 83.3Р
И 45

*Идея проекта и общая редакция
Виталия Бабенко*

*В оформлении фронтисписа использован портрет
работы Кукрыниксов*

Художник — Татьяна Гусейнова

До сих пор «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова издавался не полностью и не в том виде, в каком его написали авторы, а в том, в каком его «разрешили» советские редакторы и советская цензура. Теперь — впервые в истории — выходит полная версия знаменитого романа, восстановленная известными филологами Давидом Фельдманом и Михаилом Одесским. На самом деле роман начинался совсем не так, как мы привыкли читать. И заканчивался тоже совсем не так. В приложении к изданию помещены первоначальные версии первой части и заключительной главы. Вступительная статья, написанная Д. Фельдманом и М. Одесским, рассказывает об истории создания «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Эта история — сама по себе захватывающий детективный роман, в котором в полной мере отразилась политическая жизнь страны конца 20-х — начала 30-х годов.

ISBN 5-264-00513-3

Легенда о великом комбинаторе
(в трех частях, с прологом и эпилогом)

Пролог

Судьба романов И.А. Ильфа и Е.П. Петрова уникальна. Как известно, в январе 1928 года иллюстрированный ежемесячник «30 дней» начал публикацию «Двенадцати стульев» — сатирического романа, который написали два далеко не избалованных известностью сотрудника газеты «Гудок». Ровно три года спустя в журнале «30 дней» началась публикация продолжения «Двенадцати стульев» — «Золотого теленка». Но к тому времени авторы — в числе самых популярных писателей СССР. Популярность Ильфа и Петрова стремительно росла, романы то и дело переиздавались, их переводили на десятки иностранных языков, выпускали за границей, что, конечно, согласовывалось в советских цензурных инстанциях. А в 1938—1939 годах издательство «Советский писатель» выпустило четырехтомное собрание сочинений Ильфа и Петрова. Мало кто из тогдашних советских классиков удостоился такой чести. Наконец во второй половине 1950-х годов дилогия была официально признана «классикой советской сатиры». Постоянно публиковались статьи и монографии о творчестве Ильфа и Петрова, воспоминания о них. Это — с одной стороны. А с другой — уже в конце 1950-х годов романы Ильфа и Петрова стали своего рода «ци-

Публикуется в авторской редакции

татником» инакомыслящих, что видели в дилогии почти откровенную издевку над пропагандистскими установками, газетными лозунгами, суждениями «основоположников марксизма-ленинизма». Парадоксальным образом «классика советской литературы» воспринималась как литература антисоветская.

Нельзя сказать, чтобы это было тайной для советских цензоров. Сходные оценки авторитетные идеологи давали романам гораздо раньше. Последний раз — в 1948 году, когда издательство «Советский писатель» выпустило их семидесятипятитысячным тиражом в серии «Избранные произведения советской литературы: 1917—1947». Специальным постановлением Секретариата Союза советских писателей от 15 ноября 1948 года публикация была признана «грубой политической ошибкой», а выпущенная книга — «клеветой на советское общество». 17 ноября «Генеральный секретарь Союза советских писателей А.А. Фадеев» направил в «Секретариат ЦК ВКП(б), товарищу И.В. Сталину, товарищу Г.М. Маленкову» это постановление, где описывались причины выхода «вредной книги» и меры, принятые Секретариатом ССП.

Писательское руководство проявило бдительность не по собственной воле — вынудили. Сотрудники Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), как отмечалось в том же постановлении, «указали на ошибочность издания». Иначе говоря, — официально известили Секретариат ССП, что находящееся в его непосредственном подчинении издательство «Советский писатель» допустило непростительный промах, в связи с чем теперь нужно искать виновных, давать объяснения и т.п.

Характеристика, что дал романам Секретариат ССП, была по сути приговором: «идеологической диверсией» такого масштаба далее надлежало бы заниматься следователям Министерства государственной безопасности, после чего виновные перешли бы в ведение ГУЛАГа. Однако в силу понятных обстоятельств вопрос об ответственности авторов дилогии не ставился: туберкулез легких свел Ильфа в могилу еще весной 1937 года, а Петров, будучи военным корреспондентом, погиб летом 1942-го. Секретариат ССП мог обвинять только сам себя, потому как именно он принял решение опубликовать романы в престижной серии, после чего книга и прошла все издательские инстанции. Признать это и взять на себя всю вину — шаг самоубийственный.

Тем не менее выход нашелся. В качестве причин публикации были названы «недопустимая беспечность и безответственность» Секретариата ССП. Выразились они в том, что «ни в процессе прохождения книги, ни после ее выхода в свет никто из членов Секретариата и из ответственных редакторов

издательства «Советский писатель» не прочел ее», полностью доверяя непосредственному «редактору книги». Потому Секретариат ССП и объявил выговор главному виновнику — «редактору книги», а также его начальнику — «редактору отдела советской литературы издательства А.К. Тарасенкову, допустившему выход в свет книги Ильфа и Петрова без ее предварительного прочтения». Кроме того — поручил особо надежному критику «написать в "Литературной газете" статью, вскрывающую клеветнический характер книги Ильфа и Петрова».

Разумеется, в Отделе агитации и пропаганды (Агитпропе, как его тогда называли) с этим постановлением тоже ознакомились, хотя и не так быстро, как в Секретариате ЦК ВКП(б). Почти месяц спустя — 14 декабря 1948 года — Агитпроп в свою очередь направил секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову докладную записку, где, не подвергая сомнению версию секретариата ССП, настаивал, что «меры, принятые Союзом писателей», недостаточны. В книге, утверждали агитпроповские специалисты, «приводятся ругательства врагов советского строя по адресу великих учителей рабочего класса», она изобилует «пошлыми, антисоветского характера остротами», мало того, «общественная жизнь страны в романах описывается в нарочито комическом тоне, окарикатуривается» и т.д., при этом Секретариат ССП оставил без внимания вопрос об ответственности и директора издательства, и своей собственной.

Все перипетии «разоблачения» Ильфа и Петрова в ту пору огласки не получили: цитируемые выше документы осели в архиве под грифом «секретно»[1]. Писательское руководство ответственности избежало, директора же издательства действительно заменили, как того и требовал Агитпроп. Обещание поместить в «Литературной газете» статью, «вскрывающую клеветнический характер» дилогии, секретариат ССП не выполнил. Но 9 февраля 1949 года там была опубликована редакционная статья «Серьезные ошибки издательства "Советский писатель"». О «клевете и пасквилях» Ильфа и Петрова речь уже не шла, выпуск дилогии признавался одной из многих ошибок, далеко не самой главной, даже извинительной. «За годы сталинских пятилеток, — сообщала редакция, — серьезно возмужали многие наши писатели, в том числе Ильф и Петров. Никогда бы не позволили они издать сегодня без коренной переработки два своих ранних произведения». Примерно в том же духе рассуждали авторы других статей в тогдашней периодике, чем все и кончилось.

[1] См.: «Пошлые романы Ильфа и Петрова не издавать»//Источник. 1997. № 5. С. 89—94.

История эта выглядит вполне заурядной. По крайней мере — на первый взгляд. Обвинения в крамоле предъявлялись тогда многим литераторам, ученым (в том числе и умершим), а также сотрудникам издательств и редакций периодических изданий. Страна пребывала в непрерывной истерии, подхлестываемой широкомасштабными пропагандистскими кампаниями. Разоблачали генетиков, кибернетиков, «безродных космополитов», вели борьбу с «низкопоклонством перед Западом». Но, с другой точки зрения, есть в истории с поздним разоблачением романов и нечто небывалое: абсурдность оправданий секретариата ССП, настойчивость Агитпропа и неожиданно бескровный результат. Последнее особенно редко: вряд ли даже более полувека спустя нужно объяснять, почему в 1948 году отделаться всего лишь выговором (или даже снятием с должности) за «идеологическую диверсию» — как в лотерею автомобиль выиграть.

Вот эти особенности и позволяют с большой долей вероятности предположить, что критическая атака в конце 1940-х годов обусловлена не столько спецификой романов Ильфа и Петрова, сколько сварой двух группировок в тогдашнем идеологическом руководстве — Секретариата ССП и Агитпропа.

На фоне глобальных «разоблачительских» кампаний Агитпроп затеял свою локальную интригу: смещение с должности недостаточно услужливого директора издательства «Советский писатель». Поводом, надо полагать, и стала престижная серия, куда вошла книга Ильфа и Петрова.

Серия была, можно сказать, парадной, туда, согласно замыслу, отбиралось только самое лучшее, доказывающее, что советская литература «достигла мирового уровня». Сам факт издания в такой серии означал для любого писателя официальное признание заслуг, статус классика советской литературы, не говоря уже о значительных гонорарах. Понятно, что интриги плелись на всех уровнях. Свои креатуры были и у Агитпропа, и у секретариата ССП, кто-то мотивировал выбор той или иной книги соображениями престижа и качества серии в целом, кто-то — «идейной выдержанностью» и политической целесообразностью. В общем, интересы сторон не всегда совпадали. По сути же никаких идеологических и политических расхождений не было и быть не могло: это был спор чиновников о сферах влияния и границах очень относительной самостоятельности. А директор издательства подчинялся непосредственно секретариату ССП, Агитпроп руководить издательством не мог. Устранить директора сразу — власти не хватало: по тогдашним правилам кандидатуру директора такого издательства выдвигал секретариат ССП и утверждал ЦК ВКП(б). Замену следовало начинать с «перетряски» излишне самосто-

ятельного секретариата ССП и давления на Фадеева, который не раз бывал на приеме у Сталина. Дилогия Ильфа и Петрова тут — не более, чем одна из карт в игре. Но ход был рассчитан точно: от обвинения в «идеологической диверсии» не отмахнешься.

Постановление, принятое Секретариатом ССП, кажется путаным и вообще нелепым, словно готовили его впопыхах, лишь бы поскорее отвести агитпроповские обвинения, доложить, что инцидент исчерпан, писательское руководство разобралось во всем, виновных наказало и вскоре само себя публично высечет в периодике.

На самом же деле это постановление — очень хорошо продуманный ход. Да, наказания смехотворны, да, предложенные объяснения абсурдны: никем не прочитанная книга не попадает в издательский план, соответственно и «редактор книги» занимается ее подготовкой к серийному изданию лишь после утверждения плана, получив приказ своего начальника. Все так. А чем еще можно было оправдаться, что предложить? Справку о количестве переизданий и подписи цензоров? Но об этом в ЦК знали. Ни статистика, ни ссылки на здравый смысл в подобных случаях никогда не выручали: с кого спросили, тому и отвечать положено. Вот почему многоопытный Фадеев направил отчет прямо Сталину, минуя Агитпроп.

Если Агитпроп действовал в рамках сталинского плана, значит, терять нечего, писательское руководство и лично Фадеев проглядели начало очередной кампании, тут любые объяснения бесполезны, все уже предрешено, виновных будут искать (и найдут) именно в Секретариате ССП. Но если «разоблачение» Ильфа и Петрова — ни с кем не согласованная инициатива Агитпропа, тогда не исключено, что Секретариат ЦК ВКП(б) предпочтет начинать «перетряску» писательского руководства по своему усмотрению, а не по агитпроповскому, и, остановившись на достигнутом, усмирит инициаторов. Агитпроп на фадеевский ход ответил новым доносом, однако в итоге было принято компромиссное решение.

Позже, в годы «оттепели», связанной с приходом к власти Н.С. Хрущева, обо всей этой истории вспоминать было не принято. Наоборот, как уже отмечалось выше, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» были опять востребованы хрущевской пропагандой — именно в качестве «лучших образцов советской сатиры».

Тем не менее «канонизация» Ильфа и Петрова в качестве классиков потребовала от тогдашних либералов немалых усилий: романы явно не соответствовали советским идеологическим установкам даже такой сравнительно либеральной эпохи, какой была вторая половина 1950-х годов. Следы полемики

можно обнаружить, например, в предисловии, которое написал К.М. Симонов к переизданию дилогии в 1956 году. Буквально во втором абзаце он счел нужным особо оговорить, что «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» созданы «людьми, глубоко верившими в победу светлого и разумного мира социализма над уродливым и дряхлым миром капитализма».

Характерно, что подобного рода оговорки использовались и в 1960-е годы. Отечественные исследователи постоянно объясняли читателям, что Ильф и Петров не были противниками политического режима СССР, не были «внутренними эмигрантами». Например, в предисловии к пятитомному собранию сочинений, вышедшему в 1961 году, Б.Е. Галанов, как и Симонов, настаивал, «что веселый смех Ильфа и Петрова в своей основе глубоко серьезен. Он служит задачам революционной борьбы со всем старым, отжившим, борьбы за новый строй, новую, социалистическую мораль». Аналогичным образом защищала Ильфа и Петрова Л.М. Яновская, автор вышедшей в 1963 году монографии «Почему вы пишете смешно?». По ее словам, «жадный интерес к советскому сатирическому роману за рубежом не имел ничего общего со злопыхательским интересом к недостаткам или неудачам Советской России. Неизвестно ни одного случая, когда сатира Ильфа и Петрова была бы использована нашими противниками против нас». Двадцать лет спустя сложившуюся тенденцию защищать Ильфа и Петрова от возможных обвинений в «антисоветскости» отметил и Я.С. Лурье, под псевдонимом А.А. Курдюмов издавший в Париже книгу «Страна непуганых идиотов». К самой идее такой защиты он относился скептически, но тенденцию видел.

В связи с этим уместны как минимум три вопроса. Во-первых, почему профессиональные журналисты Ильф и Петров, каждый из которых всегда казался абсолютно лояльным (в противном случае и не стал бы советским журналистом-профессионалом), объединившись, написали дилогию, скажем так, сомнительную с точки зрения «идеологической выдержанности»? Во-вторых, почему бдительные редакторы и цензоры изначально не заметили в дилогии того, что заметил Агитпроп в 1948 году (да и многие другие позже), почему крамольные романы были опубликованы? Наконец, если сомнения в «идеологической выдержанности» романов оставались и в 1950-е, и в 1960-е годы, то почему дилогию переиздавали и даже пропагандировали как советскую классику?

Ответы на эти вопросы не найти в трудах исследователей творчества Ильфа и Петрова. За крайне редкими исключениями намерения авторов и восприятие дилогии современниками оставались вне области интересов исследователей. Даже при

изучении творческой биографии соавторов основное внимание уделялось свидетельствам мемуаристов. Ну, а в их изложении все выглядит более чем благополучно.

Если верить мемуарным свидетельствам, будущие соавторы познакомились в 1923 году. Оба жили тогда в Москве, печатались под псевдонимами. Двадцатишестилетний одесский поэт и журналист Илья Арнольдович Файнзильберг взял псевдоним Ильф еще до переезда в столицу, а двадцатилетний Евгений Петрович Катаев, бывший сотрудник одесского уголовного розыска, свой псевдоним — Петров — выбрал, вероятно, уже сменив профессию. Трудно сказать, зачем псевдоним понадобился Файнзильбергу, этого никто не объяснял, но у Катаева причина была всем понятная: старший брат, Валентин, ровесник Ильфа, уже добился литературной известности.

Именно Катаев-старший предложил Ильфу и Петрову сюжет сатирического романа летом 1927 года, когда все трое были сотрудниками «Гудка». Согласно катаевскому плану, работать предстояло втроем: Ильф и Петров начерно пишут роман, Катаев правит готовые главы «рукой мастера», на титульный лист выносятся три фамилии. Дальше — дело за Катаевым. Его считают маститым, все им написанное идет нарасхват. Предложение — «открыть мастерскую советского романа» — было принято. И хотя Катаев вскоре отказался от своей идеи, два соавтора по-прежнему писали «Двенадцать стульев» денно и нощно.

И вот роман завершен, сдан в редакцию, опубликован, пришло читательское признание. Зато критики проявили необычайную тупость, почти год игнорируя «Двенадцать стульев». Наконец летом 1929 года спохватились и критики. Ильф и Петров к тому времени уже собрались писать второй роман, однако тут работа не заладилась. Они то оставляли замысел, то возвращались к нему и, лишь побывав на «стройках социализма», получили нужный «жизненный опыт», дописали роман и опубликовали в журнале. А критики на сей раз были довольно благосклонны.

Вот такая сказка о трудолюбивой Золушке, сумевшей воспользоваться шансом и достойно награжденной. А ведь в итоге получилось то, что получилось: два советских антисоветских романа. Бдительный Агитпроп в 1948 году был, что ни говори, прав. Но и в 1920-е, и в 1930-е годы авторы избежали репрессий, они числились вполне благополучными писателями; на исходе 1940-х годов скандал замяли, со второй половины 1950-х романы ежегодно издавались массовыми тиражами. Следовательно, были причины. Политические причины. О которых мемуаристы не сообщили.

Нет нужды доказывать, что у советских мемуаристов, современников Ильфа и Петрова, хватало резонов о чем-то умалчивать. Аналогично и у советских исследователей. Такова уж была отечественная специфика. Потому рассмотрим историю создания и восприятия романов Ильфа и Петрова именно в политическом контексте эпохи.

Часть I

Почему в Шанхае ничего не случилось

Начнем с начала дилогии — с истории создания и публикации «Двенадцати стульев».

Вымысел в этой истории, многократно пересказанной мемуаристами и литературоведами, трудно отделить от фактов, реальность — от мистификации. Но зато известен основной источник, интерпретируемый и мемуаристами, и литературоведами, — воспоминания Евгения Петрова. Впервые фрагмент этих мемуаров был опубликован в 1939 году под заголовком «Из воспоминаний об Ильфе» — как предисловие к изданию «Записных книжек» Ильфа. 18 апреля 1942 года еженедельник «Литература и искусство» напечатал под тем же заголовком еще один фрагмент, подготовленный в связи с пятилетней годовщиной смерти Ильфа. А в 1967 году ежемесячник «Журналист» опубликовал в шестом номере планы и черновики книги «Мой друг Ильф». Так что обратимся к воспоминаниям Петрова.

Первое, что замечает непредубежденный читатель, — они изобилуют явными противоречиями, начиная даже со знакомства будущих соавторов. Это симптоматично.

«Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве», — сообщает Петров. По его словам, это случилось в 1923 году, но когда именно — Петров забыл: «Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти».

Значит, далеко не старый писатель, опытнейший журналист вдруг забыл, когда и где познакомился с лучшим другом и соавтором. Очень странно. Тем более странно, что, по отзывам современников, во всех остальных случаях память у Петрова была великолепная. Странно также, что Ильф и Петров познакомились лишь в Москве: они же земляки, причем Ильф еще с Одессы — друг или, по крайней мере, близкий приятель Валентина Катаева. С Петровым были знакомы все тогдашние друзья старшего брата. Например, Ю.К.Олеша и Л.И.Славин, вместе с Ильфом и Катаевым входившие в одесский «Коллек-

тив поэтов». Петров даже бывал на их поэтических вечерах. Мало того, с 1920 года Катаев-старший, Ильф, Олеша и Славин работали в ОДУКРОСТА — Одесском отделении Украинского Российского телеграфного агентства, где несколько месяцев был разъездным корреспондентом не кто иной как младший брат — Петров. Он поступил в угрозыск лишь летом 1921 года. Выходит, что Петров, будучи знаком с друзьями и коллегами брата, своими, наконец, коллегами по ОДУКРОСТА, ухитрился не познакомиться именно с Ильфом. Поверить в это трудно.

Возьмем теперь другой эпизод — завершение работы над «Двенадцатью стульями»

«И вот в январе месяце 28 года наступила минута, о которой мы мечтали, — сообщает Петров. — Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятна была эта работа!» Роман действительно получился объемный — в трех частях, каждая примерно по семь авторских листов, а в каждом листе, соответственно, сорок тысяч знаков. Второго экземпляра, по словам Петрова, не было, соавторы боялись потерять рукопись, почему Ильф, то ли в шутку, то ли всерьез, «взял листок бумаги и написал на нем: «Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу». И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки». После чего соавторы покинули редакцию «Гудка». «Шел снег, чинно сидя в санках, мы везли рукопись домой, — вспоминает Петров. — Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман?»

Опять странная история. Получается, что в январе 1928 года соавторы, завершив работу над единственным экземпляром рукописи, еще не знали, примут ли роман в журнале, однако в январе же началась публикация. Такое невозможно. Рукопись не готовится к печати сама собою. Цикл редакционной подготовки довольно трудоемок и продолжителен. В журнале, прежде чем главный редактор примет решение, хоть кому-нибудь следует ознакомиться с новым романом, потратить на это время. И не один день. А еще надо пройти цензурные инстанции, где роман обычно читают. Здесь опять не то что дня — недели мало. Кроме того, цензорам полагалось представлять не рукопись как таковую, а машинописный экземпляр, чтоб удобнее было читать и вносить правку. Потом, если принято окончательное решение, перепечатанную рукопись должен читать журнальный редактор, который обычно тоже вносит правку. Свою правку редактор согласовывает с автором, после чего редакционная машинистка перепечатывает правленный экземпляр заново. Далее рукопись читает корректор. В обыч-

ном темпе это все и за неделю не успеть. Наконец, есть ведь и журнальный план: содержание каждого номера, объем каждого раздела, макет номера в целом планируются не менее чем за месяц-полтора — тогдашний журнальный цикл. Коррективы, конечно, неизбежны, бывают срочные материалы, но и тут не вставишь этак запросто несколько романных глав с иллюстрациями. Кстати, и художнику нужно время, чтобы прочитать роман и подготовить иллюстрации, причем речь опять-таки не о днях — о неделях. А еще типографские работы: набор, сверка, верстка, опять сверка и т.п. Неделей и тут не обойтись, такова уж была тогдашняя технология.

Вывод ясен: даже если б история, описанная Петровым, произошла 1 января (что маловероятно), а в редакцию рукопись попала на следующий день, все равно роман в январском номере не печатался бы. Слишком много препятствий.

Мы пока упомянули только те, что можно заметить, не заглядывая в рукописи[2]. А если заглянуть, сомнений вообще не останется. Беловую рукопись «Двенадцати стульев» соавторы отдали перепечатать на машинке — в ту пору оба еще не владели техникой машинописи. Учитывая объем романа, легко догадаться, что на перепечатку ушло недели полторы, а то и две. Потом Ильф и Петров еще сверяли рукописный и машинописный экземпляры, вносили правку. Стало быть, когда за машинописный экземпляр принялся редактор, прошло как минимум полмесяца с момента завершения романа. И редактор потом тоже изрядно поработал — судя по тексту первой публикации. Нет, если б все было, как рассказывал Петров, роман печатался бы с мартовского номера, не раньше.

Тем не менее публикация «Двенадцати стульев» началась именно в январе. Что из этого следует?

Вариант первый: роман дописан не в январе 1928 года, а в октябре предыдущего — как минимум.

Вариант второй: роман действительно дописан в январе, но редакция не позже октября 1927 года согласилась принять незавершенную книгу, принятые главы успели подготовить к публикации в январском номере, остальные принимались, редактировались и печатались по мере готовности.

[2] См.: Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 32—33. О текстологии романа см.: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Легенда о великом комбинаторе: История создания, текстология и поэтика романа «Двенадцать стульев»//Литературное обозрение. 1996. №5-6. С.183—197. Подробнее о текстологии и политическом контексте см. также во вступительной статье и комментарии к первому полном изданию «Двенадцати стульев»: Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев <первое полное издание>/ Подготовка текста, вступ. ст., комментарий М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана. М.: Вагриус, 1997.

Рассмотрим первый вариант: роман завершен в октябре 1927 года. Соответственно, к ноябрю был готов машинописный экземпляр, потом к работе приступил редактор. Но октябрь и даже ноябрь — это вряд ли. Соавторы указали на последнем листе белового автографа хронологические рамки работы над романом: «1927—28 гг.», хронологические рамки действия в «Двенадцати стульях» — апрель и октябрь 1927 года, к тому же роман буквально «расчислен по календарю», пронизан упоминаниями тогдашних газетных новостей: от начала Днепростроя в апреле до крымского землетрясения в сентябре и подготовки к празднованию десятилетия советской власти в октябре. Известно также, что в июне соавторы отправились в отпуск на Кавказ, а вернувшись, не только «Двенадцать стульев» писали, но еще и в газете работали, на службу ходили ежедневно, публиковались регулярно. Да пусть бы хоть в июне и начали, все равно ни к октябрю, ни к ноябрю рукопись не была б готова к публикации.

Следовательно, возможен только второй вариант: соавторы закончили работу над романом в январе 1928 года, но с октября (или ноября) 1927 года редакция, согласившись начать публикацию незавершенной книги, принимала рукопись по мере готовности. И соавторы передавали роман машинистке тоже по мере готовности — главами.

Это и по рукописи видно. В архиве Ильфа и Петрова сохранились два варианта романа: автограф Петрова и машинопись с правкой обоих соавторов. Самый ранний — автограф — содержит двадцать глав. Названий у них нет. Похоже, этот вариант переписывался Петровым набело с предшествующих черновиков, по ходу соавторы вносили туда незначительные исправления. Каждая глава начиналась с титульного листа, где отдельно указывался номер главы прописью — так машинистке удобнее. Машинописных экземпляров было не менее двух, но сохранился полностью только один. В рукописи изначально было двадцать глав, а после перепечатки, уже в машинописном экземпляре, соавторы изменили поглавное деление. Текст разбили не на двадцать, а на сорок три главы, каждая получила свое название. Тут, вероятно, сыграла роль журнальная специфика — главы меньшего объема удобнее при распределении материала по номерам. Затем роман был существенно сокращен: помимо глав целиком, изымались и эпизоды, сцены, отдельные фразы. Сокращения, похоже, проводились в два этапа. Сначала — авторами, что отражено в машинописном варианте, потом редакторами — по другому, несохранившемуся экземпляру машинописи, правленной авторами. Виной тому не только цензура. В журнале приходилось экономить объем, ведь и после

всех сокращений публикация романа чрезмерно затянулась: с январского по июльский номер включительно.

Надо полагать, Ильф и Петров доставили редакции немало хлопот: ведь заведующему редакцией пришлось планировать и постоянно координировать работу соавторов, машинистки, редактора, корректора, художника и т.д. Но в журнале «30 дней» завредом был давний знакомый Ильфа и братьев Катаевых — В.И. Регинин. Популярный еще в предреволюционные годы журналист, он после гражданской войны организовывал советскую печать в Одессе и приятельствовал со всеми местными литераторами[3]. На его помощь соавторы вполне могли рассчитывать. Правда, лишь после того, как решение о публикации было принято главным редактором.

В 1927 году главный (или, как тогда говорили, ответственный) редактор журнала «30 дней» — В.И. Нарбут[4]. Соавторы знали его еще по Одессе. Известный поэт, некогда примыкавший к акмеистам, он в годы гражданской войны сделал стремительную карьеру. А прибыв в Одессу, стал полновластным хозяином ОДУКРОСТА, пригласил туда Катаева, Ильфа, Олешу и других одесских поэтов. Нашлась также работа для младшего брата Катаева. Весной 1921 года Нарбут был с повышением переведен в тогдашнюю столицу Украины — Харьков, где возглавил УКРОСТА. Вслед за ним уехали Катаев-старший и Олеша. Ну, а Петров поступил на службу в угрозыск. В 1922 году Нарбута перевели в Москву, куда потом отправились и Катаев с Олешей, вскоре приехал Ильф, потом — Петров. Уже в Москве Нарбут реорганизовал несколько журналов и основал издательство «Земля и фабрика» — «ЗиФ», где был, можно сказать, представителем ЦК ВКП(б). Нарбут вообще протежировал своим прежним подчиненным: по определению Н.Я.Мандельштам, именно из рук Нарбута «одесские писатели ели хлеб»[5]. И характерно, что первое отдельное издание «Двенадцати стульев» было зифовским. Оно вышло в июле 1928 года, аккурат к завершению журнальной публикации. Значит, договор был заключен гораздо раньше. Надо полагать, по указанию Нарбута. Больше никто такой власти не имел.

Несколько отвлекаясь, добавим, что Петров был обязан Нарбуту не только литературной карьерой. В 1920 году Катаева-старшего арестовала Одесская ЧК: подозрение в причастности к антисоветскому заговору. Оснований для ареста по тому времени хватало: бывший офицер, отец — чиновник, препода-

[3] См., напр.: Паустовский К.Г. Время больших ожиданий//Паустовский К.Г. Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. 5. С. 91—95.

[4] См.: Нарбут Т.Р., Устиновский В.Н. Владимир Нарбут//Новобасманная, 19. М., 1990. С. 322—325.

[5] Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. С. 52.

ватель в епархиальном училище, дед с материнской стороны — генерал, с отцовской — священнослужитель. Несколько месяцев тюрьмы, ожидание расстрела, потом освобождение: литературные знакомства выручили. Под арест попал и младший брат, недоучившийся гимназист: он, правда, в офицеры не вышел, возраст не тот, а вот набор родственников тот самый, плюс брат-офицер. Приезд Нарбута, его покровительство, работа в ОДУКРОСТА пришлись тогда очень кстати[6].

Регинина Петров как-то упомянул мимоходом в черновиках воспоминаний. А вот Нарбута — нет. О редакционной эпопее Петров вообще не захотел рассказывать. Именно не захотел: не просто ошибся в датировке, а сочинил трогательную историю, как в январе 1928 года Ильф приклеил курьезную записку к обложке, как они беспокоились, примут ли рукопись в редакции, напечатают ли... Ничего подобного. Уже приняли, уже печатали. И трогательные подробности нужны здесь лишь в качестве дополнительных эмоциональных аргументов, подкрепляющих шаткую версию Петрова: читатель, увлекшись выдуманными деталями, не замечает, что автор, вопреки традиции, ничего толком не сообщил о реальных обстоятельствах. Петров словно забыл о них, как забыл, при каких обстоятельствах познакомился с Ильфом.

В том, и в другом случае причина одна: к 1938 году Нарбут, по советской терминологии, стал «неупоминаемым». В 1936 году он был арестован, объявлен «врагом народа» и осужден. Погиб в заключении, реабилитирован в 1956 году. Выдумывать же обстоятельства знакомства с Ильфом в Москве Петров не стал. Проще было, сославшись на забывчивость, вовсе умолчать о первой встрече с будущим соавтором, о работе под руководством репрессированного Нарбута, а собственную «трудовую биографию» начинать со службы «в органах». Точно так же «забыл» Петров об истории публикации «Двенадцати стульев», о роли Регинина, ведь и тут без упоминаний о Нарбуте не обошлось бы. Сведущие же современники приняли его версию не по наивности — правда была неуместна.

Однако всю историю создания «Двенадцати стульев» — от начала и до конца — Петров сочинять не стал. Задачи такой не ставил. Поэтому истина порою проглядывает не столько в том, что он рассказал, сколько в том, о чем ненароком обмолвился.

К примеру, Петров сообщает, что когда «в августе или сентябре 1927 года» Катаев подарил им с Ильфом сюжет «Двенадцати стульев», соавторы целый месяц возвращались домой «в два или три часа ночи», поскольку писать роман могли только

[6] См.: Лущик С. Реальный комментарий к повести//Катаев В. Уже написан Вертер. Лущик С. Реальный комментарий к повести. Одесса, 1999. С. 78—86.

после окончания рабочего дня в «Гудке». «Нам, — подчеркивает Петров, — было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы с детства знали, что такое труд. Но никогда не представляли себе, что такое писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью». Вот тут Петров, старательно нагнетая эмоциональное напряжение, проговорился ненароком: «Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц».

Стоп. Что значит «вовремя», почему первую часть «Двенадцати стульев» нужно было написать именно «в месяц»? Написали бы за полтора или два, не мучаясь: нигде ж не упомянуто о каких-либо обязательствах и договоренностях. Но ведь и о Нарбуте тоже — нигде. А если успели «вовремя», значит, договоренность была, и поведение соавторов уже не выглядит странным. Они месяц истязали себя не из любви к трудностям, а чтобы главный редактор получил первую часть романа в октябре—ноябре 1927 года. Только тогда по его приказу завред успевал организовать подготовку публикации в январском номере 1928 года. И даже на февральский хватало — «с запасом».

Примечательно, что о работе над второй и третьей частями романа Петров не рассказал вообще. Лишь обронил фразу: «Мы продолжали писать». Вот и вся информация. Но, с другой стороны, тут и рассказывать особо не о чем: прежних трудностей уже не было, поскольку не было нужды в прежнем изматывающем режиме. И если первую часть Ильф и Петров написали за месяц, то вторую и третью — за три. К январю они вполне укладывались в график, предъявив материал для мартовского и последующих номеров. Так что роман к выходу первого номера был практически завершен. И руководство журнала могло более не беспокоиться о выполнении авторами обязательств.

В редакции, похоже, авторам доверяли изначально. Своего рода гарантом был маститый Катаев. Кстати, в 1928 году издательство «ЗиФ» выпустило его двухтомное собрание сочинений. Дарил он сюжет, нет ли — сейчас точно не скажешь. Нет документа — нет аргумента. Мемуары не в счет. Но в любом случае свое имя, писательский авторитет брату и другу-земляку Катаев «одолжил». А когда официально отстранился от соавторства, материал — в минимально достаточном объеме — Ильф и Петров уже предъявили. И главный редактор мог убедиться, что авторы следуют принятым договоренностям. Кстати, и Катаев почти полвека спустя — в автобиографической книге «Алмазный мой венец» — тоже проговорился невзначай: был договор, причем не позже авгу-

ста-сентября был, и заключили его сначала с тремя соавторами, потом — с двумя[7].

Ильф и Петров торопились, потому что их торопил Нарбут. А вот причины торопливости Нарбута — неочевидны.

Он принял решение публиковать неоконченный роман, он согласовывал свое решение с цензурой. Это большая ответственность. Конечно, помощь приятелям и все такое прочее. Но приятелям можно помочь и тогда, когда роман уже дописан. Учтем еще, что в 1927 году Нарбут — не просто литератор, он партийный функционер, причем в немалых чинах. Меру в благотворительности знал. И роман-то необычный, даже тридцать лет спустя советские литераторы писали о нем не без оговорок. А Нарбут, вопреки обыкновению партийных функционеров, словно бы ничего не опасался. Мало того, что преждевременно санкционировал публикацию в журнале, еще и сразу выпустил сомнительный сатирический роман отдельным изданием. Зачем же ему это понадобилось?

По мнению Н.Я.Мандельштам, Нарбут как издатель энтузиастом сатиры не был, «ничего, кроме партийного и коммерческого смысла книги, он знать не хотел». С «коммерческим смыслом» угадано было стопроцентно, однако выйди «Двенадцать стульев» тремя месяцами позже, издательский промфинплан не сгорел бы.

Нарбут руководствовался тем самым «партийным смыслом».

Работа над романом шла в период наиболее ожесточенной открытой полемики партийного руководства — И.В. Сталина и Н.И. Бухарина — с так называемой «левой оппозицией»: Л.Д. Троцким и его сторонниками. Предмет полемики — нэп. Троцкий давно уже доказывал, что Сталин и Бухарин, используя нэп ради укрепления личной власти, предали идею «мировой революции». А это, по мнению Троцкого, приведет к гибели СССР в результате «империалистической агрессии»: нэп был лишь временным «стратегическим отступлением», марксизм изначально определяет, что до победы «мировой революции» невозможно «построение социализма в одной отдельно взятой стране».

Успеха Троцкий и его сторонники не добились, их продолжали оттеснять от власти. Но весной 1927 года оппозиционеры вновь активизировались. 12 апреля стал явным провал политики «большевизации» Китая, где шла многолетняя гражданская война. Генерал Чан Кайши, командующий Народно-революционной армией, отказался от союза с коммунистами, более того, санкционировал массовые расстрелы недавних союзников в Шанхае. 15 апреля советские газеты сообщили о «шанхайском перевороте» и «кровавой бане в Шанхае». Троц-

[7] См.: Катаев В.П. Алмазный мой венец. М., 1981. С. 163.

кий, используя неудачу сталинско-бухаринского руководства, тут же заявил, что, «усмирив» Китай, «силы международного империализма» обезопасят свои колонии от «революционного пожара», объединятся и непременно начнут войну против СССР. А в СССР Сталин и Бухарин затягивают нэп, что ведет к «реставрации капитализма». Выход, согласно Троцкому, был лишь один: как можно скорее отстранить от власти Сталина и его сторонников.

Апологеты сталинско-бухаринской «генеральной линии» попали в сложное положение. Вряд ли имело смысл, опровергая Троцкого, доказывать, что нет ни реальной угрозы интервенции, ни опасности «реставрации капитализма» силами «внутренних врагов» СССР. Сделать это было легко, но доказанное противоречило бы основным советским идеологическим установкам. Сталин и Бухарин выбрали другой путь: началась планомерная и открытая дискредитация Троцкого. Его оппоненты утверждали, что руководство партии вовсе не отвергло «мировую революцию» как цель, просто до нее еще далеко, потому целесообразно не ссылаться на марксистские теории, не рассуждать постоянно о международном положении, а решать актуальные задачи «социалистического строительства», развивать экономику СССР, исходя из реальных условий, не надеясь на скорую абсолютную победу в результате всемирного «революционного пожара». События же в Китае не настолько значительны, чтобы привести к глобальной войне. И предпосылок «реставрации капитализма» в СССР нет, все разговоры об этом, да и о военной опасности, вызваны обычным «левачеством» Троцкого, неготовностью троцкистов к «мирному строительству», желанием вернуться к прошлому — к привычным методам управления, к «военному коммунизму».

Официальная пропаганда способствовала тому, чтобы Троцкий и «левая оппозиция» стали символами гражданской войны, «красного террора», разрухи, голода. А сталинско-бухаринское руководство рекламировалось в качестве гаранта стабильности и продолжения нэпа. Ради унижения троцкистов допускались и даже поощрялись насмешки над «левачеством» в любых областях — литературе, театре и т. д.

Вот в этой ситуации соавторы и приступили к «Двенадцати стульям». Под патронажем Нарбута они написали роман о том, что в Шанхае ничего не случилось. Ничего опасного для СССР.

Сюжет «Двенадцати стульев» идеально соответствовал тезисам официальной пропаганды, противопоставившей «левую оппозицию» как приверженцев прошлого, людей, мыслящих в категориях прошлого, и сталинско-бухаринское руководство, решающее реальные задачи настоящего и будущего.

Главные герои романа — люди прошлого. Не только «лишние», но и «бывшие», как тогда говорили. Прошлым живет делопроизводитель загса Ипполит Воробьянинов, бывший помещик, бывший уездный предводитель дворянства. Категориями прошлого мыслит священник Федор Востриков, бывший студент, мечтающий разбогатеть и открыть собственный «свечной заводик». Мечтами о богатстве и праздности живет профессиональный мошенник Остап Бендер, «великий комбинатор». Их ценностные установки соотносимы не с «новым социалистическим бытом», а с прошлым. И не случайно начало романного действия, разворачивающегося в «уездном городе N», приурочено именно к 15 апреля 1927 года.

В этот день газеты сообщили о событии, которое «левая оппозиция» объявила крупнейшим поражением советской внешней политики, чреватым смертельно опасными для страны последствиями. В этот день начался, можно сказать, последний этап открытой борьбы «левой оппозиции» со сталинско-бухаринским партийным руководством. И жители «уездного города N» тоже обсуждают «шанхайский переворот» — главную газетную новость. Обсуждают как событие заурядное, вроде свадьбы сына городского брандмейстера. Однако и для героев романа этот день — рубежный. 15 апреля Востриков, исповедуя умирающую тещу Воробьянинова, узнает, что фамильные бриллианты она спрятала в один из двенадцати стульев мебельного гарнитура, когда-то украшавшего воробьяниновский особняк. И отец Федор бросается в погоню за сокровищами прошлого, не думая о настоящем. На поиски сокровищ, на поиски прошлого отправляется и бывший помещик, которому не обойтись без помощи компаньона-мошенника.

Наперегонки со священником компаньоны ездят по стране, и всюду читатель может увидеть, что советский строй стабилен, события в Китае и связанные с ними опасения забыты, надежды противников режима на скорое «падение большевиков» и помощь из-за границы, столь ядовито высмеянные в романе, — беспочвенны. Некому в СССР всерьез бороться с этим режимом, потому силам «международного империализма» не на кого опереться. Бывшие дворяне стали совслужащими, бывшие купцы, ныне нэпманы, озабочены лишь своими доходами и, как прочие заговорщики-монархисты, патологически трусливы, опасности они все не представляют. «Новый социалистический быт» сложился, это данность, «реставрация капитализма» невозможна в принципе. Потому бесперспективными, нелепыми, наконец просто смешными выглядят в романе бесконечные рассуждения о «международном положении». То же самое можно сказать и о тяге к «ультрареволюци-

онности» — в любой области. В прошлое — революционное или предреволюционное — вернуться нельзя.

Круг замкнется осенью 1927 года: надежды «левой оппозиции» на победу окончательно рухнут, соответственно и надежды героев романа вернуться в прошлое — тоже не сбудутся. Все их усилия напрасны.

Такой сатирический роман был очень кстати в полемике с «левой оппозицией», почему сановный Нарбут и счел возможным поторопиться. Авторам было дозволено многое — откровенно вышучивать прежние пропагандистские клише, осмысляемые, в разгаре полемики, как троцкистские; пародировать авторитетных советских литераторов и режиссеров (Андрея Белого, П.С.Романова, В.В.Маяковского, В.Э.Мейерхольда и других), всем памятные «достижения левого искусства»; издеваться над бесконечными, к месту и не к месту читаемыми докладами о «международном положении», «империалистической угрозе», над традиционной советской шпиономанией и т. д. Роман получился довольно объемным, даже на сокращенный вариант едва хватило семи номеров, случай беспрецедентный для иллюстрированного ежемесячника, но Нарбут с этим смирился. И поставил в издательский план «ЗиФ» — на июль — выпуск книжного варианта «Двенадцати стульев», куда менее пострадавшего от редакторских ножниц. Заказ был политическим — Троцкого громили.

Впрочем, период своего рода вольности, обусловленный борьбой с «левачеством», оказался недолгим. В октябре 1927 года дискредитированного Троцкого исключили из ЦК, в ноябре — из партии. На состоявшемся в декабре XV съезде ВКП(б) «левая оппозиция» отреклась от своих лозунгов, съезд принял решение продолжать нэп, и к началу 1928 года был решен вопрос о высылке Троцкого, а его сторонников уже исключали из партии в массовом порядке. Полемика с «левой оппозицией» утратила прежнюю актуальность, шутки, уместные ранее, выглядели рискованными. А потому роман был изрядно сокращен и «почищен» еще в рукописи.

Приведем наиболее характерный пример. В главе «Слесарь, попугай и гадалка», авторы, описывая сцену гадания по руке, характеризовали ладонь вдовы Грицацуевой: «Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции». Соответственно, «мировая революция» осмыслялась как событие весьма отдаленное, хотя и вероятное — в обычных пределах человеческой жизни. На исходе же 1928 года соавторы произвели неадекватную замену: теперь вдова должна была бы дожить «до Страшного суда», отчего шутка утратила смысл. Отметим, что десять лет спустя

шутка — в первоначальном варианте — стоила бы соавторам свободы, если не жизни, однако летом 1927 года такой антитроцкистский выпад был вполне уместен. Как и прочие, включая пародии, удаляемые редакторами и цензорами от выпуска к выпуску. В итоге роман сократили почти на треть. Так он публиковался даже и в послесталинские годы.

Мы не будем возвращаться к текстологии «Двенадцати стульев», описанной в нашем предисловии к первому полному комментированному изданию, выпущенному издательством «Вагриус» в 1997 году. «Антилевацкая» направленность романа (позже воспринимавшаяся как проявление оппозиционности авторов) всегда оставалась очевидной, тут уж ни цензоры, ни редакторы ничего не могли сделать. Но роман опубликовали, потому как его главная идеологическая установка — режим в СССР стабилен, к прошлому возврата нет — сохраняла актуальность, особенно в период празднования десятилетия советского государства.

Подчеркнем: создание и специфика романа, сам факт его публикации обусловлены конкретной политической прагматикой. Нарбут ли предложил Катаеву-старшему написать «антилевацкий» роман, Катаев ли был инициатором — все это одинаково вероятно. В любом случае никаких случайностей, никаких чудесных совпадений, которые охотно живописали мемуаристы, здесь не было. «Социальный заказ» был. И кандидатура исполнителя далеко не случайна: не просто популярный писатель, драматург, фельетонист, «золотое перо», но и давний приятель главного редактора, многим Нарбуту обязанный. Кому ж и доверять, как не Валентину Катаеву. Ну а если заказ срочный, значит, и формирование «писательской бригады» целесообразно, тем более что в 1920-е годы «писательские бригады» формировались часто. Катаеву же кого и превлекать к работе, если не брата и приятеля-земляка. Трудно сказать, когда конкретно Катаев обратился к Ильфу и Петрову, но хронологические рамки видны: не раньше мая 1927 года и не позже начала сентября. В июне Ильф и Петров, может быть, еще и не соавторы, однако первый раз проводят отпуск вместе. В августе-сентябре они уже денно и нощно пишут «антилевацкий» роман, действие которого начинается именно 15 апреля 1927 года. Они торопятся, экономя на сне и отдыхе, чтобы успеть сдать главы в первый номер, в октябре-ноябре закончена первая часть романа, ее срочно готовят к журнальной публикации, с января 1928 года печатается сокращенный вариант «Двенадцати стульев», при этом подготовка книги в издательстве «ЗиФ» — вопрос давно решенный.

Так Ильф и Петров приняли участие в политической интриге. Нет оснований считать, что они этого не понимали. Чем же

они руководствовались, кроме, конечно, соображений конъюнктуры? Похоже, тем же, что и ряд других писателей. Булгаков, например. Многие интеллектуалы тогда верили: с падением Троцкого нэп утвердится навсегда, уровень жизни будет расти, политические ограничения, как и эпоха «перманентной революции», «военного коммунизма», «красного террора», — безвозвратно уйдут в прошлое. Но ни Ильф и Петров, ни тем более Нарбут вовсе не фрондировали. Они старались оставаться «в пределах дозволенного» — точнее, дозволенного именно тогда.

Подобные литературно-политические игры в 1920-е годы — не редкость. И сторонники Троцкого тоже от них не отказывались.

К примеру, сенсацией 1926 года стал майский номер «Нового мира», где популярнейший Б.А. Пильняк опубликовал «Повесть непогашенной луны»: автор, как известно, намекал, что в 1925 году внезапная смерть народного комиссара по военным и морским делам М.В. Фрунзе была обусловлена не случайным стечением обстоятельств, а сталинским приказом. О происхождении пильняковской версии, о разразившемся скандале, повсеместном изъятии крамольного номера, обвинениях в клевете, обрушившихся на Пильняка, о том, как и сколько раз ему пришлось тогда каяться, о том, был ли скандал причиной ареста Пильняка в 1937 году и его расстрела, о запрете на упоминание повести в советской печати, отмененном почти шестьдесят лет спустя, сказано немало. Гораздо меньше исследователей и мемуаристов интересовало, почему явно антисталинская повесть вообще была написана и опубликована.

Кающийся Пильняк утверждал, будто по наивности не ведал, что творил. А сотрудники журнала? В.П. Полонский, известный критик, главный редактор «Нового мира», согласовывавший публикацию с цензурой, не мог же не заметить замеченное всеми критиками-современниками. И не в том здесь дело, что ненависть к Сталину оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Нет, к весне 1926 года у Троцкого еще была достаточно сильная позиция, чаши весов колебались, общественный резонанс, вызванный повестью, имел бы — в положении неустойчивого равновесия — какое-то значение. Однако в мае-июне Сталин опять победил, в октябре Троцкого вывели из состава Политбюро ЦК ВКП(б), окончательно лишив реальной власти. Полонский, как и Нарбут, запоздал. Ситуация тогда менялась очень быстро. Сходство же интриги Полонского и нарбутовской интриги — очевидно.

В 1938 году, когда Петров задумал написать об Ильфе, нельзя было упоминать не только о Нарбуте, но и об антитроцкистской кампании, способствовавшей появлению романа.

Зато созданная Петровым легенда — о катаевском «подарке» и случайной удаче трудолюбивых соавторов — была чрезвычайно удобна. Удобной она осталась и в послесталинские годы: Нарбута уже реабилитировали, но само имя Троцкого по-прежнему было «неупоминаемым». Как и методы борьбы с опальным лидером.

Часть II

Громкое молчание

Отечественные литературоведы и мемуаристы мифологизировали не только историю создания и публикации «Двенадцати стульев». История восприятия романа критиками выглядит в их изложении не менее загадочной.

Практически все исследователи творчества Ильфа и Петрова сообщают, что критики-современники о «Двенадцати стульях» писать не желали. Наиболее деликатно высказался уже упомянутый Галанов: «Первый роман Ильфа и Петрова, по свидетельству современников, сразу был замечен читателями. Однако критика долгое время обходила его молчанием». Прервалось оно, по словам Галанова, лишь «через год после выхода романа». Почему критики ранее молчали, почему вдруг перестали — не уточняется. Аналогично и Яновская — в уже цитировавшейся монографии — указывает: «Несмотря на осторожное молчание критики, «Двенадцать стульев» были тепло и сразу («непосредственно», по выражению Е. Петрова) приняты читателем». Читатели, значит, были непосредственны, а критики выразили свое осторожное отношение посредством почти годичного молчания. Но почему они решили, что нужно проявить осторожность, почему через год передумали — опять не уточняется.

Спору нет, недалекий и трусоватый критик — явление далеко не редкое. Но когда речь идет о сатирическом романе, вышедшем в 1928 году, рассуждения о пресловутой «осторожности» по меньшей мере не убедительны.

«Легендарные двадцатые» известны как эпоха самых ожесточенных в истории советской литературы критических баталий, где никакие литературные авторитеты не щадились, и уж тем более не было принято осторожничать с сатириками. Хрестоматийные примеры — травля М.А. Булгакова, Е.И. Замятина, Б.А. Пильняка. Создатели же «Двенадцати стульев» и авторитет еще не успели заработать: публикации в периодике, два очень небольших сборника фельетонов и рассказов у Петро-

ва, вот и все. А критики вдруг разом оробели. Допустим, случайно. Однако осмелели они тоже разом. Два совпадения — не случайность. Они могли быть обусловлены только политическими причинами, изучение которых оказалось неуместным и в конце 1950-х годов, и десятилетия спустя.

Обратимся же к политическому контексту.

В конце 1927 года, когда соавторы дописывали последние главы романа, Сталин, одолевший Троцкого, уже не числил Бухарина в союзниках. Готовилась дискредитация очередной группы партийной элиты, хотя Бухарин, возможно, еще и не знал, что именно его объявят лидером новой оппозиции.

13 марта 1928 года в «Известиях» появилось сообщение о раскрытии контрреволюционной организации в Донбассе. А с 18 мая по 15 июля года в Москве шел печально знаменитый «Шахтинский процесс». Центральная периодика регулярно публиковала сенсационные материалы суда: более пятидесяти инженеров и техников с многолетним опытом, руководителей угледобывающей промышленности Шахтинского и других районов Донбасса, обвинялись во «вредительстве». Как «буржуазные специалисты», получившие в нэповские годы крупные посты в промышленности, они якобы защищали интересы «международного капитала», прежних владельцев шахт, стремились «подорвать хозяйственное благополучие СССР». Многие подсудимые признавали себя «вредителями», публично каялись. Признания, покаяние и осуждение «шахтинцев» давало партийному руководству возможность списать все неудачи в промышленности на происки уже обнаруженных и еще разыскиваемых «вредителей». Косвенно дискредитировался и нэп — питательная среда «вредителей».

«Шахтинский процесс» был воспринят как начало антибухаринской кампании, так называемой борьбы с «правым уклоном». Поиски «вредителей» и «правых уклонистов» развернулись не только в угледобывающей промышленности. Понятно, что и в литературе без них не обошлось.

Поначалу эти поиски велись исподволь: официально еще не было разъяснено, в чем конкретно должен выражаться литературный «правый уклон». К примеру, 19 мая 1928 года (точно к началу «Шахтинского процесса») в двадцатом номере литературного еженедельника «Читатель и писатель» развернулась дискуссия «Угрожает ли нашей литературе правая опасность?». А.В. Луначарский в беседе с представителем еженедельника заявил, что «правой опасности» пока не видит, однако с наркомом согласились далеко не все. Наиболее яростные оппоненты были из числа литераторов, входивших в Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Так, рапповский критик С.Б. Ингулов в статье «Симптомы опасности» утверж-

дал, что некоторые писатели «разучились видеть революцию в ее новой формации, на новом этапе ее развития». Вот они-то и опасны: «Глаза этих писателей цепляются за лохмотья, отрепья революции, не видят ее "души", нутра. Поэтому "героем нашего времени" в их произведениях является никудышник, неприспособленный к действительной жизни неудачник, "лишний" и "бывший" человек. "Герой нашего времени" в их литературном отображении — это не строитель, а растратчик жизни».

Под той же рубрикой через неделю была опубликована статья Ф.В. Гладкова «В чем опасность». Автор, подобно Ингулову, видел опасность «в склонности некоторых литераторов живописать так называемых лишних людей современности». Об этом, полагал Гладков, «писать легче всего, а копаться в мерзости сорного ящика вредно: можно заразиться и серьезно заболеть». Разумеется, ни Ингулов, ни Гладков, ни прочие борцы с «правым уклоном» не обвиняли именно авторов «Двенадцати стульев», хотя объективно к ним это имело отношение. Впрочем, летом споры стихли: то была даже не разведка боем, а лишь пристрелка.

В июле 1928 года, когда закончилась журнальная публикация «Двенадцати стульев», а тираж только что изданной книги поступил в розничную продажу, началось первое серьезное наступление на Бухарина и его сторонников. Имена пока не назывались, но догадаться было несложно. В речи на июльском пленуме ЦК Сталин заявил, что нэп — тупик, причина всех экономических затруднений: по мере построения социализма классовая борьба не ослабляется, но обостряется, возрастает сопротивление буржуазии. Соответственно, «сворачивание нэпа» означает и подавление буржуазии, попытки же представителей правящей элиты продлить нэп — неготовность к подавлению, «правый уклон».

Сталину тогда не удалось добиться решающего перевеса на пленуме: позиции бухаринцев были еще сильны. Потому сталинская речь, широко обсуждавшаяся в партийных кругах, была опубликована лишь несколько лет спустя. Но встревоженный Бухарин сразу же сделал попытку предать эту полемику гласности.

13 июля «Правда», которой он руководил, опубликовала резолюцию по одному из докладов, куда вошли как сталинские тезисы, так и поправки бухаринцев. Благодаря этому в резолюции признавалось и пресловутое возрастание «сопротивления со стороны капиталистических элементов», и необходимость продолжать нэп.

14 июля в редакционной статье «Правды» (анонимной, но явно Бухарина) говорилось: «Решительное наступление на

капиталистические элементы, провозглашенное XV съездом, велось и будет вестись методами нэпа». Это должно было напомнить, что Троцкого на XV съезде громили именно как противника «методов нэпа». Отказ от них автор статьи сопоставлял с принятием уже осужденных троцкистских воззрений: «Партия не отступит от решений XV съезда ни на шаг, отвергая всякие попытки обойти их с той же решительностью, что и троцкистскую дорожку».

И все же на пленуме бухаринцев изрядно потеснили, а статья была понятна лишь посвященным, которые и так все знали. К осени давление на бухаринцев опять усилилось, в прессе все шире разворачивалась кампания по борьбе с «правой опасностью в литературе».

Осень 1928 года была для Ильфа и Петрова не из удачных.

Покровительствовавшего им Нарбута в сентябре сняли со всех постов, исключили из партии. Причиной тому были не «Двенадцать стульев». На фоне борьбы то с «левой оппозицией», то с «правым уклоном» в ЦК ВКП(б) шла своя интрига. Нарбут излишне увлекся полемикой со сторонниками Троцкого, у которых остались еще влиятельные друзья, и в результате им просто пожертвовали: наказали за якобы неожиданно вскрывшиеся политические «прегрешения» периода гражданской войны. Регинин остался завредом, у него вскоре появился новый начальник. Но для Ильфа и Петрова это все равно означало лишение главной опоры и защиты. В прессе тогда возобновились «кадровые перестановки», сменилось и руководство «Гудка», ушли многие сотрудники. В октябре был уволен Ильф, официальная причина — «сокращение штатов». Ушел вскоре и Петров.

Именно осенью, в сентябре-октябре, то есть через полтора-два месяца после издания «Двенадцати стульев» — обычный в таких случаях срок, — соавторы, вероятно, ожидали многочисленных рецензий. Сложилось все несколько иначе. Петров в черновых набросках воспоминаний об Ильфе писал: «Первая рецензия в «вечорке». Потом рецензий вообще не было». На эту фразу Петрова обычно ссылаются исследователи и мемуаристы, говоря о «молчании» критиков. Однако сама рецензия, весьма важная для понимания литературно-политического контекста, при этом не анализируется.

Она была опубликована в газете «Вечерняя Москва» 2 сентября 1928 года за подписью «Л.К.». Мы приводим ее полностью.

«Илья Ильф и Евг. Петров. "Двенадцать стульев". Роман. ЗИФ. 1928 г. Ц. 2 р. 50 к.

Роман читается легко и весело, хотя к концу утомляет кинематографическая смена приключений героев — прожженного

авантюриста Остапа Бендера и бывшего предводителя дворянства Ипполита Матвеевича, разыскивающих стул, в котором предводительская теща зашила бриллианты. **Утомляет потому, что роман, поднимая на смех несуразицы современного бытия и иронизируя над разнообразными представителями обывательщины, не восходит на высоту сатиры** *(здесь и далее выделено автором рецензии. — М.О., Д.Ф.)*. Это не более как беззаботная улыбка фланера, весело прогуливающегося по современному паноптикуму.

Разыскивать приходится двенадцать стульев, так как неизвестно, в каком из составлявших гарнитур помещен клад. Все стулья разбросаны по различным уголкам СССР и, разыскивая их поочередно, герои романа переносятся из затхлой атмосферы глухого городка в мир московской богемы, оттуда на курорт и т.д. Многие из зарисовок-шаржей очень хлестки. Так, хорошо показаны типы поэтической богемы. В романе много удачно использованных неожиданностей. И самая концовка его, рисующая, как накануне похищения последнего двенадцатого стула из клуба Ипполит Матвеевич, убивший из-за жадности своего компаниона, узнает, что сам клуб построен на ценности, найденные в этом роковом стуле, — выполнена очень эффектно.

Но читателя преследует ощущение какой-то пустоты. **Авторы прошли мимо действительной жизни — она в их наблюдениях не отобразилась**, в художественный объектив попали только уходящие с жизненной сцены типы, обреченные "бывшие люди". Когда авторы попытались изобразить студенческий быт — кроме бледных полутеней ничего не получилось. **Авторам, очевидно, не чужда наблюдательность и умение передавать свои наблюдения.** Жаль было бы, если бы они не пошли дальше многостраничного фельетона, каким по сути дела является роман "Двенадцать стульев"».

Казалось бы, в суждениях «Л.К.» нет ничего особо примечательного. Положительной, конечно, рецензию не назовешь, хотя и не вовсе разгромная. Но здесь важен политический контекст — упреки рецензента напоминают майские инвективы борцов с «правой опасностью»: не о «бывших людях» надо бы рассказывать читателям. Оно и понятно — с началом осени разворачивалась очередная атака на Бухарина: разоблачение «правых уклонистов» в литературе. Рецензия соответствовала общей направленности.

Вполне вероятно, что сентябрьский отзыв «вечорки» был первым, как писал Петров. Но единственным он точно не был. К примеру, в том же сентябре журнал «Книга и профсоюзы» опубликовал еще более резкую рецензию Г.Блока. Ее мы также приводим полностью, сохраняя особенности орфографии.

«Илья Ильеф и Евгений Петров. 12 стульев. Роман. ЗиФ. 1928 год. Тираж — 7000 экз., Стр. 422., Цена 2 р. 50 к.

"12 стульев" — коллективное произведение двух авторов, по своей тематике очень показательных для нового направления, все более крепнущего в нашей литературе. Ильф и Петров с задатками талантливых рассказчиков создали из своего творения милую, легко читаемую игрушку, где зубоскальство перемежается с анекдотом, а редкие страницы подлинной сатиры растворяются в жиже юмористики бульварного толка и литературщины, потрафляющей желудку обывателя.

В книге нет живых людей — есть условные категории героев, которые враждуют между собой, мирятся и стараются в действиях своих походить на настоящего человека. Великий комбинатор Бендер, своеобразный потомок Хлестакова, душа погони за бриллиантами, отец Федор, скинувший рясу для земных сокровищ, и много разного рода и звания — все они призваны веселить читателя.

Смех — самоцель. Неприглядные стороны жизни, наши промахи и несправедливости затушевываются комичными злоключениями, анекдотами и трюками. Социальная ценность романа незначительна, художественные качества невелики и вещь найдет себе потребителя только в кругу подготовленных читателей, любящих легкое занимательное чтение. Цена непомерно дорога, если принять во внимание, что "12 стульев" печатались в течение первого полугодия в журнале "30 дней"».

Вряд ли Ильф и Петров не заметили столь ядовитого, азартного и не слишком внимательного рецензента. Профессиональные журналисты следили за периодикой, особенно московской.

Можно привести еще один отзыв о романе, опубликованный 20 апреля 1929 года в восьмом номере двухнедельного журнала «Книга и революция». Статья — обзор журнала «30 дней» за 1928 год — была озаглавлена «Советский магазин» (от англ. magazine — иллюстрированный журнал): обозреватель доказывал, что сама концепция издания весьма неудачна, за образец взяты западные журналы, вот и получился даже не американский «магáзин», а некое подобие мелочной лавки, где товары в изобилии, но качеством не блещут, да и собраны бессистемно и безыдейно. «Если говорить о литературном отделе журнала, — писал рецензент, — более характерным для него окажется роман-хроника И.Ильфа и Е.Петрова "12 стульев", гвоздь, центральная вещь журнала, печатание которой растянулось на полгода. Редакция называет это произведение — "подражанием лучшим образцам классического сатирического романа"; к этому можно добавить, что подражание оказалось неудачным. За исключением несколь-

ких страниц, где авторам удается подняться до подлинной сатиры (напр., в образе Ляписа, певца "Гаврилы"), — серенькая посредственность. Социальный объект смеха — обыватель-авантюрист — ничтожен и не характерен для наших дней, не его надо ставить под огонь сатиры; впрочем, и самая сатира авторов сбивается на дешевое развлекательство и зубоскальство. Издевка подменена шуткой, заряда глубокой ненависти к классовому врагу нет вовсе; выстрел оказался холостым».

Десять лет спустя Петров не упомянул и об этом обзоре, хотя в 1929 году выпуск «Книги и революции» — «журнала политики, культуры, критики и библиографии» — возобновился после шестилетнего перерыва, потому издание было на виду, считалось достаточно авторитетным, всякое упоминание там — событие.

Маловероятно, чтобы Ильф и Петров не заметили эту публикацию своевременно или вообще не узнали о ней. Было, наконец, и кому подсказать. Например, Ю.К. Олеша, давний приятель и тоже бывший «гудковец», ознакомился с отзывами на «Двенадцать стульев» и печатно сформулировал свою точку зрения. Кстати, в той же «Вечерней Москве», которую имел обыкновение читать Петров, 27 апреля 1929, ровно через неделю после выхода обзора в «Книге и революции», «вечорка» опубликовала анкету «Год советской литературы», где известным писателям предложили назвать наиболее значительные художественные произведения из вышедших в 1928 году. Олеша назвал лучшим романом «Двенадцать стульев», добавив, что книга «оплевана критикой». Петров же об отзыве Олеши тоже не вспомнил.

Стало быть, говоря о приеме «Двенадцати стульев» критикой в течение года после издания, можно выделить две полярные точки зрения: книга «оплеванная» и книга, о которой критики не писали.

Первая точка зрения вполне обоснованна: отрицательные отзывы действительно были. Но и у второй, принятой большинством исследователей, есть некоторые основания. О романе, публиковавшемся в столичном ежемесячнике и выпущенном крупным столичным издательством, о самой популярной книге сезона, сразу буквально «разобранной на цитаты», должны были написать известные критики, их статьи должны были появиться в крупных столичных литературных журналах — «Красной нови», «Октябре», «Новом мире» и т.д. Не появились. Потому у современников не могло не сложиться впечатление, что «Двенадцати стульям» негласно объявлен бойкот. Уж очень громкое получилось молчание. Даже не молчание — замалчивание.

29 января 1929 года газета «Вечерний Киев» напечатала обзорную статью О.Э. Мандельштама «Веер герцогини», охарактеризовавшего поведение критиков как «совсем позорный и комический пример "незамечания" значительной книги. Широчайшие слои, — негодовал Мандельштам, — сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов Ильфа и Петрова, называемой "Двенадцать стульев". Единственным откликом на этот брызжущий веселой злобой и молодостью, на этот дышащий требовательной любовью к советской стране памфлет было несколько слов, сказанных т. Бухариным на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна. Доберутся, конечно, и до нее и отбреют как следует».

Возможно, Мандельштам впрямь не углядел, что уже добрались и отбрили. Не в том дело. Существенно, что поэт, зная или догадываясь о подоплеке «осторожного молчания», решил говорить с критиками и редакторами на языке, который считал им доступным: рецензии на «Двенадцать стульев» писать и печатать можно и нужно — это не просто насмешка, а «дышащий требовательной любовью к советской стране памфлет», его сам Бухарин одобрил.

Бухарин действительно одобрил. Пусть и не на «съезде профсоюзов», как писал Мандельштам, а на совещании рабочих и сельских корреспондентов, но бухаринское выступление, где обильно и с похвалой цитировался роман, было опубликовано в «Правде» 2 декабря 1928 года.

Я.С. Лурье — в уже упомянутой книге об Ильфе и Петрове — утверждает, что похвала Бухарина вызвала «волну рецензий»: «Хвалить книгу, удостоившуюся его внимания, было не обязательно (к концу 1929 года — даже совсем не обязательно), но игнорировать ее — неудобно».

Как раз тут с мнением авторитетного исследователя трудно согласиться. От похвалы Бухарина до апрельского отклика «Книги и революции» прошло почти полгода, а уж до «волны рецензий» — и того больше. Конечно, критики-профессионалы, в отличие от Мандельштама, «Правду» читали регулярно, однако бухаринская похвала их не вдохновила. Иначе б не раздумывали так долго. Да и руководство «Вечернего Киева» тоже сочло нужным сделать оговорку в специальном примечании: «Редакция, помещая интересную статью т. Мандельштама, не вполне соглашается с некоторыми ее положениями».

Что и понятно: Бухарин в ту пору утратил былое влияние. Формально он оставался членом Политбюро, партийным теоретиком, главным редактором «Правды», однако для «руководящих работников», для редакторов газет и журналов изменения были очевидны. В ЦК Бухарина тогда откровенно

травили, дискредитировали практически все им сказанное. В ноябре 1928 он вынужден был отречься от своих прежних суждений, и пленум ЦК единогласно осудил «правый уклон». В ноябре же Бухарин демонстративно подал в отставку. Ее, впрочем, отклонили. И выступление, упомянутое Мандельштамом, адресовано было не столько «рабселькорам», сколько партийной элите. Посвященные восприняли его как откровенно антисталинское. Следовательно, бухаринские похвалы мало что меняли в сложившейся ситуации.

Для редакций литературных журналов она была сложнейшей. «Двенадцать стульев» — роман откровенно «антилевацкий», цель публикации тогда легко просматривалась. При этом борьба с «левой оппозицией» уже закончилась, разгоралась борьба с «правым уклоном». Стало быть, хвалебные отзывы абсолютно неуместны, тут ненароком в «правые уклонисты» попадешь. Отрицательные отзывы тоже не вполне уместны — есть риск попасть в защитники «левых уклонистов». Потому несколько опубликованных отзывов можно считать исключением из общего правила, результатами редакторского недосмотра. Редакторам целесообразно было не спешить, дождаться какой-либо официальной оценки.

Ожидание затягивалось, и время рецензий истекло. Рецензия, как известно, жанр оперативный, своего рода репортаж — что, где, кем и когда напечатано. Нужна она в течение примерно полугода. Затем наступает черед солидных критических очерков, аналитических статей. Их тоже не было. В редакциях вообще избегали упоминаний о книге Ильфа и Петрова.

Однако к зиме 1929 года положение соавторов упрочилось.

Прежде всего, у них появился новый влиятельный покровитель, тоже давний знакомый — М.Е. Кольцов. Он, подобно Нарбуту, быстро делал карьеру. На исходе 1920-х годов Кольцов — не только один из популярнейших очеркистов и фельетонистов «Правды», но и довольно известный журналист-международник, тесно связанный с политической разведкой. Эти связи еще более окрепнут в 1930-е годы, когда Кольцов станет исполнителем наиболее деликатных сталинских поручений в области организации мирового общественного мнения. Ну а в ноябре 1928 года, готовя первый номер еженедельника «Чудак», Кольцов взял на работу в редакцию Ильфа и Петрова.

Некоторое представление о кольцовских планах дают письма, опубликованные в шестом номере журнала «Новый мир» за 1956 год. Новое издание, как сообщал Кольцов своему соредактору — А.М.Горькому, — должно было стать доказательством того, что «в СССР, вопреки разговорам о "казенной печати", может существовать хороший сатирический журнал

громящий бюрократизм, подхалимство, мещанство, двойственность в отношении к окружающей обстановке, активное и пассивное вредительство».

Идея журнала — с учетом специфики политической терминологии тех лет — была сформулирована четко. «Бюрократизм, подхалимство» — пропагандистские клише, использовавшиеся для обозначения пороков государственного аппарата. Их обличение в журнале — подтверждение свободы печати в СССР. «Двойственность в отношении к окружающей действительности», то есть советскому строю, «пассивное и активное вредительство» приписывались различного рода «уклонистам». В данном случае речь шла о возможности использования сатиры для дискредитации политических противников сталинской «генеральной линии партии».

Подобные инициативы могли реализовываться только при постоянной поддержке в самых высоких инстанциях. Поддержка и тогда была. 19 декабря 1928 года Кольцов — на приеме у Сталина. Неизвестно, что именно там обсуждалось, но «Журнал записи лиц, принятых генеральным секретарем ЦК ВКП(б)», зафиксировал: «М.Е. Кольцов, фельетонист, газета "Правда", по литературным вопросам».

Попасть в штат кольцовского журнала могли только те, за кого Кольцов ручался лично. Для авторов «антилевацкого» романа, приятелей опального Нарбута, это было большой удачей. В политическом аспекте у Ильфа и Петрова тоже многое изменилось к лучшему. К зиме 1928 года Сталин, успешно завершив очередной этап дискредитации Бухарина, счел нужным снизить активность «борьбы с правым уклоном» в литературе. А заодно — успокоить оппонента, приписав непосредственным исполнителям своих поручений «усердие не по разуму». 22 февраля 1929 года «Правда» напечатала установочную статью «Об одной путанице (к дискуссии об искусстве)». Ее автор, П.М. Керженцев, доказывал, что рассуждения о «правом уклоне» в литературе — нелепость. «Можно, утверждал он, говорить о "советских" и "антисоветских" фактах искусства», но недопустимо использование партийной терминологии в литературной полемике. Типично сталинская ирония: именно Керженцеву, еще 2 декабря 1928 года опубликовавшему в «Читателе и писателе» статью «Художественная литература и классовая борьба», где он призывал противостоять всему, «что можно назвать правым или соглашательским уклоном в нашей литературе», именно этому признанному обличителю литературных «правых уклонистов» пришлось теперь себя же опровергать. И не где-нибудь, а в главной партийной газете. А то впрямь возомнил бы себя специалистом по всевозможным уклонам.

Весной 1929 года Ильф и Петров, как принято говорить, на подъеме. Они работают и постоянно печатаются в престижном журнале, с ведома и одобрения советской цензуры готовится издание перевода «Двенадцати стульев» во Франции. Что же до отзыва «Книги и революции» о журнальном варианте романа, то удар наносился не по авторам «Двенадцати стульев», а по Нарбуту, прежнему главному редактору рецензируемого ежемесячника. С Нарбутом сводили счеты «задним числом» — прием, типичный для советской журнальной полемики, да и руководил «Книгой и революцией» все тот же Керженцев. Конечно, упоминая «Двенадцать стульев», обозреватель нарушал негласный запрет, но ведь игнорировать роман, печатавшийся в семи номерах, он не мог, почему и воспроизвел упреки, высказанные до него — в начальный период борьбы с «правым уклоном».

Однако той же весной ситуация опять изменилась: генеральный секретарь ЦК ВКП(б) активизировал антибухаринскую кампанию, и в результате главный сталинский оппонент лишился должности редактора «Правды» и других руководящих постов.

22 апреля на пленуме ЦК партии Сталин выступил с речью «О правом уклоне в ВКП(б)». Бухарину был приписан «отказ от марксизма», отказ от классовой борьбы именно в период ее обострения. Это обострение, по словам Сталина, выражалось прежде всего в постоянном «вредительстве» скрытых врагов советской власти, что теперь уже прямо связывалось с бухаринским попустительством: «Нельзя считать случайностью так называемое шахтинское дело. "Шахтинцы" сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых распространенных форм сопротивления против развивающегося социализма».

Понятно, что сказанное имело прямое отношение и к печати: любая критика режима, особенно публикация сатирического характера, могла восприниматься как сопротивление «буржуазной интеллигенции», ставшее возможным благодаря попустительству бухаринцев. Однако Сталин тут же выдвинул и другой лозунг. Нельзя, настаивал он, «улучшать наши хозяйственные, профсоюзные и партийные организации, нельзя двигать вперед дело строительства социализма и обуздания буржуазного вредительства, не развивая всвсю необходимую критику и самокритику, не ставя под контроль масс наши организации». Соответственно, сатирическая публикация могла быть признана как необходимой, так и контрреволюционной — по произволу авторитетного интерпретатора. Автори-

тет же был на стороне идеологов Российской ассоциации пролетарских писателей.

XVI конференция ВКП(б), проходившая с 23 по 26 апреля, закрепила победу Сталина и — в качестве развития установки на пресловутую самокритику — приняла решение о начале генеральной партийной чистки. Теперь каждому коммунисту предстояло отчитаться перед специальной «комиссией по чистке», а комиссия решала вопрос о его пребывании в партии. На той же конференции было принято решение провести «**чистку советского аппарата от элементов разложившихся, извращающих советские законы, сращивающихся с кулаком и нэпманом**». Этой чистке подлежали все (в том числе и беспартийные), кто занимал административные должности в аппарате государственных, профсоюзных и общественных учреждений и организаций. Проводилась она так же, как и партийная, — «чистящиеся» отчитывались перед специальными комиссиями. Нет необходимости доказывать, что, помимо «борьбы с бюрократизмом» и иными прегрешениями, задачей чисток было устрашение «уклонистов». От них пока что требовалось лишь публичное покаяние — «отказ от заблуждений», признание ошибочности бухаринских и троцкистских лозунгов.

В это время развернулась и дискуссия о статусе сатиры в СССР. Полемика шла, в частности, на страницах «Литературной газеты». Созданная в апреле 1929 года вместо еженедельника «Читатель и писатель», она изначально получила статус «проводника политики партии» при организации единого Союза писателей СССР. Дискуссия подразумевала не только литературные, но и — прежде всего — политические выводы.

В первом номере «Литературной газеты», вышедшем 22 апреля 1929 года, была опубликована статья популярного критика А.Лежнева «На путях к возрождению сатиры». Он настаивал, что сатира по-прежнему актуальна, поскольку возрастает «активность масс», жаждущих покончить с различными проявлениями социального зла, например, с бюрократизмом, а коль так, нужда в сатире «делается все более острой», хотя «объектов для нее стало гораздо меньше, чем было во времена ее расцвета», то есть в досоветский период. Как уведомляло редакционное примечание к статье, она печаталась «в порядке обсуждения». Очевидно, что оппоненты были уже наготове.

Мнение Лежнева наиболее жестко оспорил критик-рапповец В.И. Блюм — 27 мая «Литературная газета» опубликовала его статью «Возродится ли сатира?». Заявив, что сатира в СССР невозможна, критик подчеркивал: речь идет отнюдь не о газетных фельетонах или очерках, где принято сообщать

точные «адреса», то есть имена осмеиваемых, — подобного рода «адресная» сатира необходима и при социализме. Иное дело — «художественная», «обобщающая» сатира. В отличие от фельетона или очерка, она никогда не была средством борьбы с социальными бедами, никогда не способствовала ни перевоспитанию, ни отстранению от должности невежественных чиновников, казнокрадов и взяточников. Зато, по мнению Блюма, «художественная сатира» всегда была «острым оружием классовой борьбы. Сатирическое произведение **обобщением** наносило удар **чужому классу, чужой** государственности, **чужой** общественности *(здесь и далее выделено автором статьи. — М.О., Д.Ф.)*». С октября же 1917 года, утверждал Блюм, «**для нас** государство престало быть чужим». Потому «**продолжение традиции** дооктябрьской сатиры (против государственности и общественности) становится уже **прямым ударом по нашей государственности, по нашей общественности**», такая сатира способствует возникновению антисоветских настроений.

Подтекст выступления рапповца был тогда очевиден: сатира интерпретировалась как пресловутое сопротивление «буржуазной интеллигенции». Блюм отождествил сатиру в художественной литературе с «антисоветской агитацией», то есть с одним из «контрреволюционных преступлений», предусмотренных тогдашним уголовным законодательством.

Статьи действовавшего Уголовного кодекса РСФСР, что относились к «контрреволюционным преступлениям» (и аналогичные статьи УК других республик), давно уже стали для советских писателей весьма актуальным сочинением: отчеты о политических процессах регулярно публиковались в центральной периодике. Формулировки были, как говорится, на слуху. В частности, применительно к писателям речь могла идти о статье 58^{10}: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти», точнее — «изготовление или хранение литературы того же содержания». А за это предусматривались весьма серьезные санкции — вплоть до расстрела.

В случае привлечения к ответственности доказывать, что «совсем не это имелось в ввиду», было практически бесполезно: специально для подобных случаев Пленум Верховного суда СССР 2 января 1928 года принял постановление «О прямом и косвенном умысле при контрреволюционном преступлении», которое было опубликовано в периодике. Термин «прямой умысел» означал, что обвиняемый *«действовал с прямо поставленной контрреволюционной целью, т.е. предвидел общественно опасный характер последствий своих действий и желал этих последствий»*. Ну а термин «косвенный умысел» был

в ходу тогда, когда никаких доказательств «прямого умысла» следствие не находило: подразумевалось, что обвиняемый хоть и *«не ставил прямо контрреволюционной цели»*, однако *«должен был предвидеть общественно опасный характер последствий своих действий»*.

Впрочем, до суда дело вообще могло не дойти: инструкции Народного комиссариата внутренних дел разрешали внесудебную ссылку или высылку «лиц, причастных к контрреволюционным преступлениям», то есть ссылку или высылку не только самого писателя, но и его семьи, родственников, друзей, знакомых.

Доносительское выступление Блюма в центральной газете — на фоне принятых XVI конференцией ВКП(б) решений о чистках — могло быть началом очередной репрессивной кампании, к чему в СССР уже привыкли. Потому оно вызвало буквально панику в писательской среде. И вскоре на страницах «Литературной газеты» в полемику с Блюмом вступили несколько известных литераторов, настаивавших на том, что сатирик, обличая, например, бюрократов или мещан, вовсе не становится контрреволюционером.

15 июля «Литературная газета» вновь атаковала Блюма и его сторонников. В передовой статье «О путях советской сатиры» декларировалось, что сатира и впредь «будет стремиться к широким художественным обобщениям», так как сатирикам надлежит «низвергнуть и добить предрассудки, религию, национализм», пресловутые бюрократизм и мещанство, беспощадно осмеивать проявления «цивилизованного мещанства» — западные «обаятельные моды, соблазнительные навыки и привычки» и прочее.

В итоге редакционная статья, с одной стороны, отводила от сатириков обвинения в «антисоветской агитации», а с другой — формулировала для них вполне конкретные обязательные задачи, указывая приемлемые объекты осмеяния, точно устанавливая границы дозволенного. И хотя споры о сатире продолжались еще долго, пусть и без прежнего ожесточения, большинство выступавших в прессе признали мнение редакции «Литературной газеты» верным. Это и стало важнейшим политическим итогом дискуссии, инспирированной партийным руководством. Получилось, что писатели сами, не дожидаясь официальных партийных или правительственных директив, ввели для себя цензурные ограничения. И сами же определили, какого рода преступлением является попытка игнорировать подобную цензуру.

Для Ильфа и Петрова нападки на сатиру и сатириков были чреваты весьма серьезными последствиями, но соавторы не принимали до поры участия в споре. У них нашлись заступни-

ки. 17 июня 1929 года — в разгар дискуссии о сатире — «Литературная газета» опубликовала статью А.К. Тарасенкова «Книга, о которой не пишут». По мнению большинства советских исследователей, благодаря именно этой статье и было прервано «осторожное молчание» критиков. Однако советские исследователи не задавались вопросом, почему на активность критиков так повлияла статья Тарасенкова, почему она появилась именно в «Литературной газете», а не в другом издании.

Случайным совпадением это, конечно, не было. Редакция «Литературной газеты», выводя «Двенадцать стульев» за рамки дискуссии о сатире, давала Ильфу и Петрову своего рода справку о благонадежности, для чего была затеяна довольно сложная интрига.

Дело в том, что за подписью Тарасенкова «Литературная газета» напечатала **рецензию** на первое зифовское издание «Двенадцати стульев». Именно рецензию, с полагающимися типичной рецензии атрибутами — основной текст предваряло библиографическое описание книги: авторы, заглавие, жанр, издательство. Это не могло не удивить читателей: тогда было не принято рецензировать романы почти через год. Тем более — в еженедельниках, изданиях по определению оперативных.

Вот почему запоздалой рецензии дали заглавие «Книга, о которой не пишут», использовав его еще и как название новой рубрики. В редакционном примечании сообщалось: «Под этой рубрикой «Литературная газета» будет давать оценку книгам, которые несправедливо замолчала критика». По сути, это была **редакционная статья**. Редакция «Литературной газеты» отменяла все предшествующие оценки романа, их как бы и не было вообще. Рецензентам «намекали», что прежние суждения следует забыть.

«Намек» формулировался предельно жестко — не только посредством заглавия, но и первой же фразой: «Коллективный роман Ильфа и Петрова, как правильно отметил Ю.Олеша в своей недавней анкете в "Вечерней Москве", незаслуженно замолчан критикой». Вряд ли Тарасенков не понимал, что «незаслуженно замолчан» и «оплеван» (как на самом деле сказал Олеша в анкете) — далеко не одно и то же. Но Олеше спорить нужды не было: он ведь «правильно отметил», он ведь хотел, чтоб книгу оценили по достоинству, — и пожалуйста. Получалось, что и Мандельштам, говоривший о «незамечании», тоже прав был, ему тоже спорить незачем. Кроме того, начало первой фразы — слова «коллективный роман» — напоминали заинтересованному читателю о первом журнальном отклике, где рецензент несколько неуклюже назвал «Двенадцать стульев» «коллективным произведением двух авторов»

«Литературная газета» вводила новые правила игры, и теперь Тарасенков лихо опровергал прежних рецензентов, не называя их имен: кому нужно, тот сам догадается.

Современникам, особенно заинтересованным, догадаться было несложно. К примеру, снисходительный рецензент в «вечорке» писал, что Ильф и Петров *«прошли мимо действительной жизни, она в их наблюдениях не отобразилась»*, роман *«не восходит на высоту сатиры»*, обозреватель в «Книге и революции» называл роман *«холостым выстрелом»*, а у Тарасенкова — строго наоборот: для романа характерно *«насыщенное острое сатирическое содержание»*, это *«четкая, больно бьющая сатира на отрицательные стороны нашей действительности»*. Автор рецензии в журнале «Книга и профсоюзы», ставя в вину Ильфу и Петрову увлечение *«юмористикой бульварного толка и литературщиной»*, давал «коллективному произведению» чрезвычайно низкую оценку и в социальном аспекте, и в аспекте художественности, Тарасенков же настаивал: Ильф и Петров *«преодолевают штамп жанра»*, более того, «Двенадцать стульев» — одна из немногих безусловных удач советской литературы в области сатиры.

Напомнил он, опять же не называя имен, и об инвективах писателей, спешивших в мае 1928 года разглядеть литературную «правую опасность». Например, Ингулову, утверждавшему, что глаза правых уклонистов *«цепляются за лохмотья, отрепья революции, не видят ее "души", "нутра"»*, Тарасенков отвечал: *«Глазами живых, по-настоящему чувствующих нашу современность людей смотрят на мир Петров и Ильф»*, это *«глаза не врагов, а друзей»*. Получил отповедь и Гладков, предупреждавший, что склонность *«некоторых литераторов живописать так называемых лишних людей современности»* может привести к нежелательным социальным последствиям. Согласно Тарасенкову, авторы «Двенадцати стульев» окончательно и бесповоротно разоблачают всех «лишних» и «бывших»: с «приспособленца и рвача» Остапа Бендера «сорваны все поэтизирующие его покровы и одеяния», жестоко высмеяны и «халтурщики-поэты», и любители «претенциозно-"левых" исканий», а также «кумовство, карьеризм, интеллигентщина» и т. д. Но при этом, писал, Тарасенков, *«авторы на редкость обладают чувством меры и такта. Они прекрасно знают, где нужно дать теплую иронию друга, где насмешку, где сатиру»*.

Исходя из этого, настаивал Тарасенков, «роман должен быть всячески рекомендован читателю. Одна оговорка: вся история с попом "отцом Федором" чисто искусственно прилеплена к основному сюжету романа и сделана слабо. При повторном

издании "12 стульев" (которое уже предполагается ЗИФ'ом) лучше было бы ее выбросить».

Если бы не общий тон статьи, такая «оговорка» воспринималась бы как плохо — намеренно плохо — скрытая ирония: нельзя же без ущерба для романа «выбросить» одного из трех основных персонажей и сюжетную линию, с ним связанную. Однако здесь важно не то, что сказано, а то, зачем сказано, не семантика, а прагматика. «Оговорка» адресована не столько массовому читателю, сколько критикам. В отличие от Мандельштама, Тарасенкову (точнее, редакции) были известны доводы, способные успокоить осторожных коллег. Пусть предложенная правка нецелесообразна или даже вовсе бессмысленна. Важно, что некие недостатки отмечены, о них можно спорить, но это недостатки не политического характера. Политических, стало быть, не обнаружено вовсе. Критикам надлежало усвоить, что «Литературная газета» — в статье по сути **редакционной** — сообщает о готовящемся «повторном издании». Коль так, вопрос уже решен, вот-вот будет тираж — третья публикация, считая журнальную. Значит, смена главного редактора журнала «30 дней» и руководителя издательства «ЗИФ» действительно не связана с выпуском «Двенадцати стульев»: «идеологическая выдержанность» романа подтверждена год спустя.

«Литературная газета» защищала роман Ильфа и Петрова настойчиво и даже агрессивно. Такая защита — особенно в разгар дискуссии о статусе сатиры — не воспринималась как случайное совпадение. Зачем же понадобилось авторитетнейшему изданию выводить «Двенадцать стульев» за рамки дискуссии?

Можно, конечно, объяснить это усилиями покровителя — Кольцова. Но даже если так, намерения покровителя вполне соответствовали изменению политической ситуации. Дискуссия о сатире, проводившаяся на фоне борьбы с «шахтинцами», изрядно напугала литераторов, среди которых было немало симпатизирующих Бухарину. Разгром Бухарина продолжался, продолжалось и так называемое сворачивание нэпа. Потому окончательно утратил актуальность выдвинутый Бухариным в разгар нэпа знаменитый лозунг — «Обогащайтесь!» Он был адресован крестьянам, но трактовался гораздо шире.

В связи с этим сюжет «Двенадцати стульев» интерпретировался как опровержение бухаринского лозунга и развернутое доказательство тезиса, сформулированного В.И. Лениным: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». В романе даже нэпманы, чье частное предпринимательство легально, живут в постоянном страхе — стремление разбогатеть

вынуждает их нарушать закон, а значит, и ежедневно ожидать ареста. Стремление же главных героев романа разбогатеть нелегально, не участвуя в «социалистическом строительстве», — попросту безумно, убийственно. И вот буквально теряет рассудок Востриков, обезумевший Воробьянинов, полоснув бритвой по горлу компаньона, буквально «переступает через кровь», и буквально захлебывается собственной кровью великий комбинатор Бендер.

К новому изданию «Двенадцать стульев», как уже упоминалось, опять сократили, «почистили», но сюжет в основе своей не изменился. Задуманный как антитроцкистский, точнее, «антилевацкий», роман использовался теперь в борьбе с «правым уклоном». Был здесь и оттенок иронии, иронии в сталинском духе, придававший интриге некое изящество: бухаринский лозунг дискредитировался романом, который полгода назад удостоился бухаринской похвалы в «Правде».

Уместно предположить, что Тарасенков писал свою рецензию не в июне, а в мае, почему и назвал апрельское высказывание Олеши «недавним». Но и в мае редакторы «Литературной газеты» знали, что зифовское «повторное издание» не «предполагается» а давно подготовлено. Более того, роман переводили на французский язык, его публикация за границей доказывала, что СССР — страна подлинной демократии, сатира там не запрещена. К моменту публикации тарасенковской рецензии новый — сокращенный и «почищенный» — вариант «Двенадцати стульев» был подписан в печать. И вскоре действительно выпустили тираж. А 30 июня перевод «Двенадцати стульев» вышел во Франции.

Редакторы журналов адекватно восприняли мнение «Литературной газеты». Но осторожности, разумеется, не утратили. Ответом на тарасенковскую рецензию стали не статьи аналитического характера, не критические очерки о «Двенадцати стульях», а **рецензии**. Аналитические статьи о романе могли бы опять оказаться несвоевременными в политическом аспекте, с рецензий же спрос невелик: оповещение читателей — долг журнала.

Конечно, рецензировать как новинку роман, вышедший более года назад и в журнале, и книгой, да еще и неоднократно обруганный, — занятие странное. Тем не менее формальный повод был — второе зифовское издание. Его и рецензировали. Маститые критики, которым не пришлось высказаться раньше, в этой игре не участвовали — ретивость, как и раньше, проявляли мало кому известные литературные поденщики.

Уже в седьмом — июльском — номере «Октября» рецензент хоть и полемизировал с Тарасенковым (не называя имени), но не оспаривал главные выводы Он признавал роман «веселой,

энергично написанной книгой» и снисходительно резюмировал: «В целом, конечно, «Двенадцать стульев» — удача». Отметим, что эта рецензия публиковалась как срочный материал: на исходе июня 1929 года, когда появилось второе зифовское издание, июльский номер «Октября» был уже сверстан. Следовательно, пожелания «Литературной газеты» были восприняты редакцией «Октября» в качестве приказа, подлежащего немедленному исполнению. Журнал был рапповским, а руководство Российской ассоциации пролетарских писателей получало директивы непосредственно от ЦК ВКП(б).

Редакция рапповского же двухнедельного журнала «На литературном посту» была не столь оперативна, хотя и там не медлили: соответствующая рецензия на второе зифовское издание появилась в восемнадцатом (августовском) номере. Здесь автор тоже не во всем согласился с Тарасенковым, но, подобно своему коллеге из «Октября», признал книгу «бесспорно положительным явлением». Особо отмечен был «успех, выпавший на долю романа И.Ильфа и Е.Петрова у читателей». Тут, правда, возникла некая логическая неувязка: судить об успехе романа по результатам продажи тиража второго издания время еще не пришло, а первое издание и журнальный вариант, как и соответствующие отзывы на них, в рецензии не упоминались. Но таковы были правила игры, введенные «Литературной газетой»: никаких отзывов на «Двенадцать стульев» до июня 1929 года якобы не существовало.

Не нарушила правил игры и рапповская же «Молодая гвардия». В восемнадцатом (сентябрьском) номере была опубликована почти хвалебная рецензия, где указывалось, что «Двенадцать стульев» — «не только роман с сюжетной емкостью, он вместе с тем роман сатирический», почему «его принципиальная значимость (если учесть всю бедность и выхолощенность современной сатиры) двойная». При этом рецензент, подобно Тарасенкову, счел нужным упрекнуть коллег, заявив, что «книга Ильфа и Петрова прошла мимо нашей критики». И опять возникла все та же неувязка: судить об активности критиков по реакции на второе зифовское издание было еще рано, а первое издание и журнальная публикация в рецензии вообще не упоминались.

Еженедельник «Чудак», где работали Ильф и Петров, тоже поддержал своих сотрудников. В тридцать шестом (сентябрьском) номере появилась рецензия на опубликованную в серии «Библиотека "Огонька"» брошюру «Двенадцать стульев» — сокращенный вариант второго зифовского издания. Отзыв был откровенно панегирическим: «Это — лучшие главы из недавно вышедшего романа, имеющего выдающийся успех и уже переведенного на несколько иностранных языков. Как в

советской, так и в иностранной критике роман И.Ильфа и Е.Петрова признан лучшим юмористическим произведением, изданным в СССР. Действительно «Двенадцать стульев» изобилуют таким количеством остроумных положений, так ярко разработан сюжет, так полно и точно очерчены типы, что успех романа следует считать вполне заслуженным. Книжка, изданная в «Библиотеке "Огонек"», дает читателям полное представление о талантливом произведении молодых авторов».

Говоря о повсеместном признании романа, рецензент явно привирал — в духе поговорки «кашу маслом не испортишь». Зато и он следовал правилам игры, не упоминая ни журнальную публикацию, ни первую книгу. Речь шла лишь о «недавно вышедшем», то есть втором зифовском издании. Неосведомленному читателю оставалось только гадать, каким же образом новинку так быстро перевели и опубликовали за границей. Но рецензентом и редакцией принимались в расчет только осведомленные читатели.

Достаточно благожелателен был и ленинградский ежемесячник «Звезда», опять же рапповский, опубликовавший рецензию в десятом номере. «Гиперболический бытовизм "12 стульев" еще не сатира, но эта талантливая книга интересна как один из первых шагов на пути к советской сатирической литературе», — отмечал рецензент. Не обошелся он и без ставшего традиционным упрека в адрес коллег: «Книга Ильфа и Петрова, вышедшая уже во французском переводе и вызвавшая восхищение парижской прессы, прошла у нас совершенно незамеченной». Разумеется, ни первое зифовское издание, ни журнальный вариант столь же традиционно не упоминались.

Примеры можно приводить и дальше. Но пока подчеркнем еще раз: не выдерживает проверки версия отечественных исследователей, согласно которой критики, синхронно оробев, не желали замечать роман, а затем синхронно же осмелели год спустя. «Антилевацкий» роман был замечен, однако в редакциях авторитетных изданий заметили также изменение политической ситуации, потому широкое обсуждение романа не состоялось. Почти год спустя ситуация вновь изменилась, и «Литературная газета» затеяла интригу, явно поддержанную в самых высоких инстанциях. Вот почему редакция позволила Тарасенкову рецензировать популярный роман с таким опозданием и — вопреки очевидности — утверждать, что ранее о «Двенадцати стульях» вообще никто не писал. Потому и авторитетные журналы предложили читателям рецензии на третью публикацию «Двенадцати стульев», словно на первую. Роман срочно вывели за рамки дискуссии о сатире, представили в качестве «идейно выдержанного», авторов обезопасили от

последствий блюмовских инвектив, адресованных сторонникам Бухарина. Таковы были тогдашние правила игры.

Напомним, кстати, что в 1948 году Секретариат ССП объявил выговор сотруднику издательства «Советский писатель» А.К. Тарасенкову, «допустившему выход в свет книги Ильфа и Петрова без ее предварительного прочтения». Да, тому самому, чья рецензия на «Двенадцать стульев» цитировалась выше. Маловероятно, чтобы о ней не знал бывший рапповец Фадеев. Просто в 1929 году развивалась одна интрига, а в 1948 — другая. Правила игры не менялись, обсуждаемая книга была для Фадеева картой в игре, так же как для Тарасенкова, Блюма и прочих игроков.

Что касается Блюма, то с ним Ильф и Петров свели счеты лично, используя блюмовские же приемы. 8 января 1930 года в Политехническом музее состоялся, можно сказать, заключительный диспут о сатире. Председательствовал там Кольцов. 13 января заметку о диспуте поместила «Литературная газета», а вскоре журнал «Чудак» опубликовал во втором номере (январском) фельетон Ильфа и Петрова «Волшебная палка».

«Уже давно, — писали соавторы, — граждан Советского Союза волновал вопрос: "А нужна ли нам сатира?" Мучимые этой мыслью, граждане спали весьма беспокойно и во сне бормотали: "Чур меня! Блюм меня!" Для их успокоения и был организован диспут в Политехническом. С участием Блюма. "Она не нужна, — сказал Блюм, — сатира". Удивлению публики не было границ. На стол президиума посыпались записочки: "Не перегнул ли оратор палку?" В. Блюм растерянно улыбался. Он смущенно сознавал, что сделал с палкой что-то не то. И действительно. Следующий же диспутант, писатель Евг. Петров, назвал Блюма мортусом из похоронного бюро. Из его слов можно было заключить, что он усматривает в действиях Блюма факт перегнутия палки».

Ну а завершилось все — по словам Ильфа и Петрова — полным разгромом мавра, сделавшего свое дело. «"Лежачего не бьют!" — сказал Мих. Кольцов, закрывая диспут. Под лежачим он подразумевал сидящего тут же В.Блюма. Но, несмотря на свое пацифистское заявление, немедленно начал добивать лежачего, что ему и удалось. "Вот видите! — говорили зрители друг другу. — Ведь я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось"».

Весьма характерно здесь сочетание «усматривает в действиях Блюма факт перегнутия». Оно отсылало искушенных современников к терминологии правовых документов — Уголовного кодекса и постановлений Пленума Верховного суда (*«должен был предвидеть общественно опасный характер последствий своих действий»*). Ильф и Петров недвусмысленно

напоминали ретивому оппоненту, что сатира признана необходимой, а значит, ее противнику, бросающемуся политическими обвинениями, то есть препятствующему выполнению государственного задания, можно — при случае — и вернуть его обвинения. Как говорится, палка о двух концах.

На исходе 1930-х годов, когда Петров писал о единственной рецензии в «вечорке», он вряд ли забыл о критических откликах на первое издание «Двенадцати стульев». Набрасывая план воспоминаний об Ильфе, Петров следовал правилам игры, предложенной «Литературной газетой» в 1929 году. Тем более что правила эти приняли в свое время оба соавтора. Своеобразной поддержкой Тарасенкову был их фельетон «Мала куча — крыши нет», опубликованный в четвертом (январском) номере «Чудака» за 1930 год:

«Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора. Молчит Аллегро. Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодиловы сомнения грызут критиков.

— Кто его знает, хорошая это книга или плохая? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей? Засмеют. Ужасное положение!

И только через два года критики узнают, что книга, о которой они не решились писать, вышла уже пятым тиражом и рекомендована главполитпросветом для сельских библиотек.

Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о дайте чернила! Где оно, мое вечное перо? И верные перья начинают скрипеть».

Связь фельетона с историей публикации романа была для современников очевидна. В фельетоне книга, о которой критики не решались писать, через два года «вышла уже пятым тиражом и рекомендована главполитпросветом для сельских библиотек». Роман Ильфа и Петрова через год вышел в третий раз и был признан «Литературной газетой» вполне «идеологически выдержанным». Дабы и вовсе не оставалось сомнений, авторы заставили каждого из осмеиваемой троицы лицемерно сожалеть, что роман почему-то «прошел мимо нашей критики»...

Почти двадцать лет спустя отечественные мемуаристы и литературоведы, по-прежнему работавшие в условиях цензурных ограничений, не вышли за рамки легенды, предложенной «Литературной газетой» и поддержанной авторами «Двенадцати стульев». Легенда эта позволяла соблюдать запреты на упоминание о высланном и убитом Троцком и, конечно же, о расстрелянном в 1938 году Бухарине — оба почти полвека числились во «врагах народа».

Часть III

Реальные препятствия и мнимые трудности

Еще одна легенда, утвердившаяся в 1960-е годы, — долгая и трудная работа над «Золотым теленком».

На первый взгляд она выглядит гораздо убедительней тех, что рассматривались выше. В самом деле, между началом публикации «Двенадцати стульев» и началом публикации «Золотого теленка» — три года. И если соавторы потратили на второй роман хотя бы половину или даже треть этого времени, получается все же больше, нежели четыре месяца, потраченные на «Двенадцать стульев». Стало быть, ясно, что без трудностей не обошлось.

Но это — на первый взгляд. А при ближайшем рассмотрении выясняется, что никакой ясности тут нет и не было. Неясно, в частности, когда роман был начат, когда закончен, что конкретно мешало соавторам быстрее работать. Есть архивные материалы, есть публикации, но свидетельства противоречивы.

Если следовать документам, относящимся непосредственно к периоду работы над романом, то картина складывается вполне определенная.

2 августа 1929 года французский литературный еженедельник «Le merle» напечатал перевод статьи И.Ильфа и Е.Петрова «Двойная автобиография». Рукопись статьи хранится в архиве соавторов, она датирована 25 июля 1929 года. На родине Ильфа и Петрова статья была опубликована тридцать два года спустя[8]. Соавторы уведомляли читателей: «Сейчас мы пишем роман под названием "Великий комбинатор"». Понятно, что Ильф и Петров обращались к тем, кто знал о существовании «Двенадцати стульев». Книга уже вышла во французском переводе, тираж был раскуплен, речь шла о продолжении бестселлера. Потому еженедельник опубликовал статью с портретами авторов и рецензией на роман. Кроме того, в архиве Ильфа и Петрова хранится рукопись первой части романа «Великий комбинатор»[9]. По объему — примерно треть «Золотого теленка».

Сюжетная идея «Великого комбинатора» была развитием прежней: Остап Бендер «в погоне за сокровищами». Что касается конкретных методов добычи «сокровищ», то, перебрав

[8] Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 1. С. 23-24.

[9] Ильф И., Петров Е. Великий комбинатор/Подг. текста, вступ. ст. М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана//Литературное обозрение. 1997. № 6.

несколько вариантов, авторы остановились на шантаже и вымогательстве — профессионализм Бендера в подобного рода малопочтенных занятиях был известен читателям по «Двенадцати стульям». На этот раз великий комбинатор заставлял поделиться награбленным «подпольного миллионера», малосимпатичного казнокрада. Рукопись первой части «Великого комбинатора», хоть и с изменениями, в новый роман — «Золотой теленок» — вошла почти целиком. На ее титульном листе есть датировка: *«начато — 2 августа 1929 г.»* и *«окончено — 23 августа 1929 г.»*.

Здесь, конечно, явное противоречие. 25 июля соавторы заканчивают статью, где сообщают, что работают над продолжением «Двенадцати стульев», но приступают к работе лишь неделю спустя, аккурат в день публикации статьи. Однако дело даже не в этом. Такое бывает: в июле собрались работать, о чем и рассказали, в августе приступили, даты совпали случайно. Важно другое: треть нового романа, если верить датировке, написана за три недели — быстрее, чем первая часть «Двенадцати стульев». Темп рекордный. Неясно, при чем тут трудности.

Говоря о трудностях, исследователи обычно ссылаются на один источник — уже цитировавшиеся черновики книги об Ильфе, над которой Петров работал в конце 1930-х — начале 1940-х годов. «Писать было очень трудно, — сетует Петров, рассказывая о создании "Золотого теленка", — денег было мало. Мы вспоминали о том, как легко писались "12 стульев" и завидовали собственной молодости. Когда садились писать, в голове не было сюжета. Его выдумывали медленно и упорно».

Даже при минимально критическом отношении к этому источнику очевидно, что, живописуя тяготы, мемуарист несколько увлекся. Особенно, когда противопоставил «Двенадцать стульев» «Золотому теленку». Напомним, что в предисловии к «Записным книжкам» Ильфа, которые были опубликованы в 1939 году, Петров рассказывал о работе над «Двенадцатью стульями» совсем иначе. «Мы, — утверждал мемуарист, — с детства знали, что такое труд. Но никогда не представляли себе, что такое писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью». Так что одно из двух: либо, «Двенадцать стульев» — результат тяжелого труда, либо наоборот, первый роман был написан легко, как сообщается в черновиках книги об Ильфе.

Можно, конечно, считать, что такие оценки, как «легко» и «трудно» — всегда субъективны. Пока соавторы писали «Двенадцать стульев», они находили муки творчества неимоверными, зато по сравнению с «Золотым теленком» прежняя работа показалась легкой. Но именно здесь неприемлемы подобные

допущения. Обе оценки даны Петровым (хоть и со ссылкой на мнение Ильфа) примерно в одно время — на рубеже 1930-х—1940-х годов.

Приведенная Петровым трогательная подробность — как соавторы «завидовали собственной молодости» — тоже неубедительна. Выходит, когда Ильфу исполнилось тридцать, а Петрову, соответственно, двадцать четыре, оба еще были молоды, и вот полутора лет не минуло, а соавторы уже сильно постарели.

Доверия не вызывает и другая жалоба Петрова — «денег было мало»: значит, в 1927 году, когда два газетчика работали над первым романом, денег им хватало, а в 1929 году, когда печатались гораздо чаще, популярным писателям вдруг перестали платить или же их потребности выросли непомерно. Так ведь не было этого.

Но, возможно, трудности начались, когда первая часть романа была завершена?

Такое предположение тоже неуместно. Если верить Петрову, муки творчества начались именно тогда, когда «садились писать». А после завершения первой части трудности вообще не мешали работе над романом: ее попросту прервали. Как сообщает Петров, соавтор купил фотоаппарат, увлекся фотографией, из-за чего «работа над романом была отложена на год». В общем, если и были трудности, так не те, что описывал Петров. Тех — быть не могло.

Как показывает уже рассматривавшаяся выше история «Двенадцати стульев», Петров сочинял небылицы о себе и своем соавторе не из любви к искусству, а лишь тогда, когда по причинам политическим не мог рассказать правду. Описывая историю создания «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», он не выдумывал все заново, но по необходимости уводил читателя от опасных тем. Похоже, что опасным был и разговор о конкретных сроках создания «Золотого теленка».

С учетом этих обстоятельств оставим пока вопрос о характере трудностей и обратимся к вопросу о сроках.

Набрасывая план книги об Ильфе, Петров указал, что начало работы над новым романом совпало с «началом пятилетки». Речь шла, конечно, о первой пятилетке, а назывался роман «Великий комбинатор». Как известно, «первый пятилетний план развития народного хозяйства» был утвержден XVI партийной конференцией в апреле и V Всесоюзным съездом — в мае 1929 года. Рукопись первой части «Великого комбинатора» датирована августом. Соотнося даты, исследователи — в большинстве своем — и пришли к выводу: роман был начат не ранее весны и не позднее лета 1929 года. Остается выяснить, когда именно.

Вряд ли продолжение «Двенадцати стульев» планировалось изначально или, по крайней мере, когда последние главы романа были переданы в редакцию. Описание убийства Бендера столь натуралистично, что никаких сомнений в исходе у читателя не должно было возникнуть. Значит, авторы приняли решение «реанимировать» великого комбинатора не раньше января—февраля 1928 года, когда публикация началась.

Яновская, в 1960-е годы исследовавшая записные книжки Ильфа, пришла к выводу, что работа над новым романом началась еще в период журнальной публикации «Двенадцати стульев», то есть задолго до лета или весны 1929 года. В принципе, это даже не особенно противоречит воспоминаниям Петрова о «начале пятилетки» — если воспринимать их в историческом контексте. Считается, что первая пятилетка началась в 1929 году, когда план был утвержден. Однако это не вполне точно. План был разработан по директивам XV партийного съезда, проходившего в декабре 1927 года. А тогда планы составлялись на так называемые хозяйственные годы, то есть с 1 октября предыдущего по 1 октября последующего. Соответственно, начало первой пятилетки — осень 1928 года. В это время, вероятно, соавторы уже писали новый роман.

Впрочем, не так и важно, на исходе или в начале 1928 года соавторы приступили к «Великому комбинатору». В любом случае до 25 июля 1929 года, когда пошла в печать «Двойная автобиография», у них был немалый срок. Стало быть, датировку рукописи «Великого комбинатора» нельзя понимать буквально. Весь 1929 год Ильф и Петров постоянно публиковались в периодике, и вряд ли при такой нагрузке соавторы побили бы свой прежний рекорд — написали треть нового романа за три недели. Да и за четыре недели — вряд ли. 2 августа они — судя по рукописи — принялись редактировать и переписывать набело черновики первой части. Завершили же 23 августа, что вполне реально. Эти даты и поставили на титульном листе.

Беловой вариант рукописи был перепечатан на машинке, как это водится при передаче в редакцию. Один из машинописных экземпляров частично сохранился. Есть в рукописи расчеты, свидетельствующие, что авторы уже готовили журнальную публикацию, распределяли главы по журнальным номерам.

Можно с уверенностью сказать, что к августу 1929 года была готова не треть второго романа, а гораздо больше. И публикация ожидалась довольно скоро. Потому как вряд ли, едва завершив первую часть, Ильф и Петров анонсировали бы «Великого комбинатора» в иностранном еженедельнике. Немалая ведь ответственность — по советским меркам, особенно тог-

дашним. А легкомыслием соавторы не отличались. Напротив, были весьма практичны. Вряд ли, если б вопрос об издании в СССР не был решен, Ильф и Петров стали бы срочно редактировать рукопись, перепечатывать на машинке да еще и распределять главы по журнальным номерам. Три недели ударного труда, деньги, уплаченные за перепечатку, — и все наугад, без каких-либо предварительных договоренностей? Профессионалы не могли себе это позволить. Такое делается, когда договоренности есть, решения приняты, роман практически завершен или, по крайней мере, близок к завершению.

Опять же, если к 23 августа 1929 года была готова только первая часть, а затем работа прервалась на год, выходит, что соавторы вернулись к роману во второй половине августа 1930 года. Публикация же «Золотого теленка» началась в январе 1931 года — четыре месяца спустя. За это время соавторы должны были бы не только заново отредактировать первую часть, перепечатать ее на машинке и выправить, но написать, отредактировать, перепечатать и выправить еще две других. Это маловероятно, даже если не принимать во внимание, сколько всего прочего Ильфом и Петровым тогда написано и опубликовано. Но допустим, все так и было — завершили к началу 1931 года, затем сдали в редакцию журнала. Сколько же оставалось редакции на согласование с цензурными инстанциями, подготовку рукописи к публикации, когда художник успел бы сделать иллюстрации, а редактор и корректор — прочесть роман? Вероятность таких трудовых подвигов — с точки зрения журнальной технологии — уже рассматривалась нами применительно к истории «Двенадцати стульев». Лишь при наличии практически завершенных черновиков соавторы и редакция успевали бы подготовить издание в столь сжатые сроки. Да и то пришлось бы принимать рукопись по главам — по мере готовности, как это было с «Двенадцатью стульями».

Можно, конечно, предложить и другое объяснение: работа над романом фактически не прерывалась, а на исходе 1930 года соавторы лишь добавили несколько эпизодов, несколько сняли, отредактировали роман заново да изменили заглавие. Но это опять же сути не меняет: описывая историю создания романа, Петров видел необходимость хоть как-то обосновать задержку публикации.

Правда, в архиве Ильфа и Петрова нет черновиков второй и третьей части «Великого комбинатора». Но это не значит, что они и не существовали: черновиков «Двенадцати стульев» тоже ведь практически нет. Есть лишь последний беловой автограф романа, который и перепечатывали на машинке. Ситуация с «Золотым теленком» аналогична: сохранился только последний беловой автограф второй и третьей части.

Так что все-таки произошло, почему роман опубликован лишь в 1931 году?

Вернемся к хронологии.

Итак, не позднее весны 1928 года (согласно авторитетному мнению Яновской) Ильф и Петров уже приступили к новому роману. Понятно, что анонс в периодике вряд ли имел смысл до завершения публикации «Двенадцати стульев». Но после завершения, когда и книжный тираж разошелся с рекордной скоростью, реклама продолжения «Двенадцати стульев» была бы целесообразна — с коммерческой точки зрения. И новый роман следовало бы выпустить как можно скорее. Однако все сложилось иначе. Профессиональные литераторы более года игнорировали коммерческую целесообразность — не анонсировали новый роман, хотя работа шла довольно быстро. Затем сообщили о новой книге исключительно иностранным читателям, практически игнорируя соотечественников. И, набело переписав первую часть романа, отредактировав ее, перепечатав на машинке, подготовив для журнальной публикации, вдруг прервали работу. Выглядит это по меньшей мере странно.

Однако при учете политического контекста все вполне объяснимо.

Сначала об анонсе, точнее, о его отсутствии. Пока шла журнальная публикация, завершились уже упомянутые выше майская кампания по борьбе с «правой опасностью в литературе» и «шахтинский процесс». Затем последовала антибухаринская кампания лета—осени 1928 года, обусловившая специфическое отношение к «Двенадцати стульям». Все это время анонсы были явно неуместны. Правда, зимой 1929 года ситуация изменилась, а к весне она и вовсе была благоприятной, но тут подоспел апрельский пленум ЦК партии, опять активизировалась борьба с «правым уклоном», разгорелась дискуссия о статусе сатиры. И хотя 17 июня «Литературная газета» вывела «Двенадцать стульев» за рамки дискуссии, все же было бы преждевременно сразу анонсировать продолжение сатирического романа.

И вот 30 июня во Франции издан роман Ильфа и Петрова. 15 июля «Литературная газета» публикует передовицу «О путях советской сатиры». Итог дискуссии в целом подведен, сатирики могут вздохнуть с облегчением. Вероятно, тогда Ильф и Петров и собирались анонсировать новый роман — статья «Двойная автобиография», где упомянут «Великий комбинатор», датирована 25 июля. Неделю спустя она уже опубликована во Франции. 2 августа соавторы садятся редактировать и переписывать набело первую часть «Великого комбинатора».

Дата начала правки и переписывания далеко не случайно совпала с датой публикации «Двойной автобиографии». Нет со-

мнений, что статья во французском еженедельнике была на родине авторов заранее согласована с цензурой. Цель в данном случае ясна: тираж французского перевода «Двенадцати стульев» разошелся быстро, статья — реклама нового романа, перевод которого на французский, надо полагать, тоже был предусмотрен заранее. Французское издание «Двенадцати стульев», как уже отмечалось выше, должно было стать доказательством свободы слова и печати в «стране социализма». Когда его планировали, издатели не могли предусмотреть столь быстрых политических перемен в СССР. За границей все шло своим чередом, хотя на родине авторов отношение к роману не раз менялось.

Наконец ситуация опять стабилизировалась. И публикация «Двойной автобиографии» стала своего рода сигналом: роман, рекламируемый во Франции, нужно срочно готовить к изданию в СССР. Потому к 23 августа первая часть романа набело переписана. Затем рукопись перепечатана на машинке, главы распределены по журнальным номерам. На все это должно было уйти около недели. Значит, работа над новым романам прервалась на исходе августа 1929 года. Потому что Ильф — если верить мемуарам Петрова — купил фотоаппарат.

Верить, конечно, не следует. А.И. Ильф, дочь Ильфа, опубликовавшая его записные книжки, указывает, что фотоаппарат был куплен не в августе, а «в самом конце 1929 года»[10]. Но какой-либо роли это не играет. Понятно, что Петров просто не желал упоминать об истинных причинах перерыва в работе. Это отмечала Яновская еще в начале 1960-х годов. По ее словам «увлечение фотографией не мешало Ильфу вместе с Петровым писать рассказы для "Чудака" (некоторые из этих рассказов были позже использованы для романа или даже полностью включены в него). И любовь к фотографии не исчезла, когда Ильф и Петров через некоторое время вернулись к "Золотому теленку". Думается, был здесь какой-то кризис, какие-то сомнения и колебания, а внешние обстоятельства послужили предлогом (в важность которого могли поверить и сами авторы), чтобы временно уйти от застопорившейся работы».

Для тех, кто знал политический контекст рубежа 1920-х—1930-х годов (а таких в 1960-е годы оставалось немало), намек был предельно прозрачен. Ничего больше Яновская, публиковавшая свое исследование в СССР, и не могла б добавить.

Со второй половины августа 1929 года начался очередной — четырехмесячный — этап дискредитации Бухарина как партийного теоретика. Соответственно и антибухаринские публикации «Правды» становились все более частыми и резкими.

[10] См.: Ильф И. Записные книжки: Первое полное издание: Составление и комментарии А.И.Ильф. М., 2000. С. 251.

А 24 августа — на следующий день после того, как Ильф и Петров закончили редактуру первой части нового романа, — «Правда» напечатала статью «Об ошибках и уклоне тов. Бухарина». Бывший главный редактор назван там «лидером правых уклонистов». Обвинения, выдвинутые «Правдой», повторили почти все газеты и журналы. Бухаринские установки в области экономики и политики, связанные с продолжением нэпа, были объявлены «уклонистскими», необычайно опасными в период «обострения классовой борьбы».

Разумеется, литературу тоже не могли обделить вниманием. Традиционно именно с литературных вопросов — «сфера идеологии» — политическая полемика и начиналась. Главным образом поэтому и стала актуальна подготовка новой резолюции ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы». Прежняя, принятая в 1925 году стараниями Бухарина, была довольно либеральна к так называемым «попутчикам» — писателям, признавшим советскую власть, но не вполне согласившимся с партийными задачами и методами их решения. Термин этот, заимствованный Луначарским из лексикона немецкой социал-демократии конца XIX века, был впервые использован в 1920 году и вскоре стал практически официальным благодаря статьям Троцкого о литературе. Бухаринская резолюция указывала на необходимость «терпимости» и «тесного товарищеского сотрудничества» с «попутчиками». В них видели «буржуазных специалистов», «спецов», полезных, но отнюдь не бесспорно надежных — наподобие бывших российских офицеров в Красной армии или инженеров в советской промышленности.

Новая резолюция должна была утвердить и узаконить рапповское первенство, передать под рапповский контроль всю печать, способствовать «писательской консолидации» — ликвидации объединений «попутчиков», созданию единого Союза советских писателей, полностью управляемого партийными директивами. Что способствовало дискредитации Бухарина и как организатора прежней — нэповской — литературной политики. В экономике с «бухаринским либерализмом», то есть «отказом от классовой борьбы», негласно связывали «шахтинское дело» и — как реакцию — чистку партии, чистку советского аппарата. Аналог должен был появиться и в литературе.

26 августа 1929 года — через два дня после антибухаринской статьи в «Правде» — «Литературная газета» напечатала статью рапповца Б.Волина «Недопустимые явления» — об издании за границей повести Б.А. Пильняка «Красное дерево» и романа Е.И. Замятина «Мы». Так началась широкомасштабная травля — печально знаменитое «дело Пильняка и Замятина».

Стоит отметить, что тогда не было принципиальной новизны в самом факте иностранных публикаций. Даже и в эмигрантских издательствах или периодике. Тем более, что советские издатели обычно не связывали себя нормами авторского права в отношении иностранцев, почему и соблюдение прав советских литераторов за границей определялось почти исключительно произволом иностранных издателей. Однако Волин предложил иную интерпретацию: Пильняк напечатал роман за границей, потому как не нашлось «оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей советской литературы». Аналогичное обвинение выдвигалось и против Замятина.

Выбор объектов травли весьма характерен: оба — знаменитости, у обоих в высшем партийном руководстве давние приятели и покровители, о чем знали все коллеги-литераторы. При этом Пильняк считался вполне советским писателем, Замятина же, прославившегося еще в предреволюционные годы, называли «внутренним эмигрантом». В этом диапазоне — от вполне советского Пильняка до почти не советского Замятина — мог найти себя каждый «попутчик»: лидер конструктивистов И.Л. Сельвинский или же лидер недавних лефовцев В.В. Маяковский, теоретик формализма В.Б. Шкловский или классик символизма Андрей Белый, не говоря уж о литераторах рангом пониже. И каждому объяснили, что, во-первых, опасность есть всегда, связи тут не помогут, а во-вторых, вопрос о заграничных публикациях будет решаться теперь без участия авторов, зато обязательно их участие в травле любого, кто будет объявлен врагом.

Статья Волина заканчивалась призывом: «Мы обращаем внимание на этот ряд совершенно неприемлемых явлений, компрометирующих советскую литературу, и надеемся, что в их осуждении нас поддержит вся советская общественность».

Общественность, по обыкновению, была наготове. За статьей Волина тут же последовали аналогичные «разоблачительские» выступления в печати и на специально созывавшихся собраниях писательских объединений. А первую полосу следующего номера «Литературной газеты», вышедшего 2 сентября, открывали аннотации публикуемых статей, весьма походившие на лозунги: «Против буржуазных трибунов под маской советского писателя. Против переклички с белой эмиграцией. Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Пильняка». В том же номере секретариат РАПП обратился «ко всем писательским организациям и одиночкам — с предложением определить свое отношение к поступкам Е.Замятина и Б.Пильняка». Никакой двусмысленности не допускалось. Каждому литератору

надлежало высказаться. Это и был аналог чистки. «Жизнь формулирует перед попутчиками вопрос резко и прямо: либо за Пильняка и его покрывателей (так! — М.О., Д.Ф.), либо против них».

Истерия нарастала стремительно. 9 сентября «Литературная газета» сообщала на первой полосе: «Писательская общественность единодушно осудила антиобщественный поступок Пильняка». Красноречивы были и заголовки статей, посланных писательскими организациями в редакцию: «Повесть Пильняка — клевета на Советский Союз и его строительство», «Не только ошибка, но и преступление». Это было конкретизовано в лозунге-аннотации на первой полосе 16 сентября: «Против обывательских привычек прикрывать и замазывать антисоветский характер перекличек с белой эмиграцией и сведения их к "ошибкам" и "недоразумениям"».

Чем это чревато современникам, не нужно было объяснять. Писателю, которого признали «клеветником», грозила статья 58[10] или внесудебная ссылка. Соответственно, демонстративный отказ от участия в «литературной чистке», иначе говоря, травле, и равным образом — приятельские отношения с «клеветником» могли быть интерпретированы в качестве «пособничества контрреволюционной деятельности». Со всеми вытекающими последствиями.

20 сентября Волин напечатал в восемнадцатом номере «Книги и революции» статью «Вылазка классового врага в литературе», а И.А. Батрак в десятом номере журнала «Земля Советская» опубликовал статью «В лагере "попутчиков"», где о Пильняке и Замятине было сказано прямо: «Здесь примерно шахтинское дело литературного порядка».

Вздорность обвинений, как и отсутствие доказательств, не смущали разоблачителей. Многие даже не скрывали, что с криминальными сочинениями не ознакомились. Да и не в самих сочинениях было дело. Волинская статья в «Книге и революции» содержала предельно ясную формулировку цели: «Резолюция ЦК 1925 г. "О политике партии в области художественной литературы" должна быть внимательно просмотрена и дополнена директивами, которые соответствовали бы эпохе социалистического наступления, выкорчевывания остатков капитализма и все более и более обостряющейся классовой борьбе в нашей стране и, следовательно, в литературе». «Попутчикам», подобно «уклонистам» в ВКП(б), надлежало покаяться и признать правильность «генеральной линии», то есть «гегемонию пролетарских писателей».

Как известно, «разоблачаемые» сначала пытались оправдываться, потом Пильняк покаялся и был прощен (до поры), Замятин же при посредничестве Горького добивался и в итоге

получил подтвержденное лично Сталиным разрешение на выезд из СССР. Но это и доказывало, что участь любого писателя, объявленного рапповцами врагом, предрешена: унизительное покаяние, согласие со всеми требованиями «разоблачителей», а иначе — окончание профессиональной деятельности в СССР как результат репрессий или изгнания. «Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы — все уравнялось, исчезло в дыму этого литературного побоища, — вспоминал Замятин три года спустя. — Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах газет проходили целые процессии флагеллантов: Пильняк бичевал себя за признанную криминальной повесть («Красное дерево»), основатель и теоретик формализма Шкловский — отрекался навсегда от формалистической ереси, конструктивисты каялись в том, что они впали в конструктивизм, и объявляли свою организацию распущенной, старый антропософ Андрей Белый печатно клялся в том, что он в сущности антропософический марксист»[11].

В связи с этим положение Ильфа и Петрова существенно осложнилось. Благодаря вмешательству «Литературной газеты» они были избавлены от нападок, но на фоне вялотекущей полемики о допустимости сатиры в СССР «дело Пильняка и Замятина» могло привлечь нежелательное внимание к авторам опубликованного за границей сатирического романа. Шутка тех лет — «лучше попасть под трамвай, чем под кампанию» — оставалась для Ильфа и Петрова напоминанием о конкретной опасности. В этой ситуации явно не стоило анонсировать в СССР продолжение «Двенадцати стульев». Так что причиной перерыва в работе над романом — точнее, над завершением романа — было вовсе не увлечение Ильфа фотографией.

В «деле Пильняка и Замятина» истерия пошла на убыль только на исходе октября 1929 года: приучив большинство писателей к самобичеваниям и травле, партийное руководство произвело очередной маневр, признав, что в ходе кампании были допущены некоторые «перегибы». Вину за них, как водится, свалили на исполнителей. Сделавший свое дело Волин был переведен на работу в Нижний Новгород (но не надолго), понизили в должности и некоторых других руководителей кампании. В фельетоне «Три с минусом», что был опубликован «Чудаком» в 41 (ноябрьском) номере, Ильф и Петров, описав одно из «разоблачительских» собраний литераторов как

[11] Подробнее см.: Галушкин А.Ю. «Дело Пильняка и Замятина»: Предварительные итоги расследования//Новое о Замятине. М., 1997. С. 89—148.

школьный урок, высмеяли и Волина, «первого ученика», и невпопад каявшихся коллег: «В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом». Формально соавторы следовали правилам игры, откликнувшись на «злобу дня», хотя и с опозданием, а то, что объектом сатиры были вовсе не Пильняк и Замятин, особо в глаза не бросалось.

Кстати, опасность тогда еще не миновала: истерия разоблачений «правых уклонистов» набирала силу. И хотя в ноябре 1929 года Бухарина вывели из Политбюро, а в декабре с небывалым размахом отмечался «во всесоюзном масштабе» день рождения Сталина, к своему пятидесятилетию ставшего полновластным хозяином СССР, антибухаринская кампания на том не завершилась. Для рекламы нового сатирического романа — время опять неподходящее. Тем более что в феврале 1930 года угроза нависла над покровителем Ильфа и Петрова: Кольцов проявил излишнюю самостоятельность, публикуя в «Чудаке» фельетоны о партийных руководителях достаточно высокого уровня, и журнал закрыли. Формальный предлог — «слияние» с другим сатирическим еженедельником, «Крокодилом».

Впрочем, на этот раз Кольцов отделался легко и быстро наверстал упущенное. Да и антибухаринская истерия, то есть борьба с «правым уклоном», пошла на убыль. 3 марта 1930 года в «Правде» была напечатана статья Сталина «Головокружение от успехов», где победитель привычно осудил «левацкие перегибы» в политике вообще и коллективизации сельского хозяйства в частности, отрекся от ряда радикальных лозунгов, ранее использованных для шельмования Бухарина, ну и, конечно, возложил вину на непосредственных исполнителей.

Вероятно, в период этой очередной «оттепели» соавторы и вернулись к сюжетной схеме «Великого комбинатора».

Восемь ранее написанных глав были существенно переработаны, роман получил новое заглавие, появилось совсем другое начало, возник ряд новых эпизодов. Например, связанных с пресловутой «чисткой советского аппарата», грозившей «вычищенным» весьма серьезными последствиями — вплоть до запрета занимать когда-либо и хоть где-нибудь любую административную должность, лишения трудового стажа и права на пенсию. Появилась также история поездки на строительство Туркестано-Сибирской магистрали (Турксиба). Некоторые эпизоды Ильф и Петров исключили. На этот раз они проявили крайнюю осторожность, ведь «правый уклон» — по оказии — им всегда могли инкриминировать. И в срок соавторы опять не укладывались: отдельные главы переделывались в 1931 году, когда публикация уже шла.

Кстати, злоключения романа не кончились в тот момент, когда рукопись попала в редакцию, где продолжения «Двенадцати стульев», надо полагать, давно ждали. Журнальная публикация прерывалась дважды, а отдельное издание вышло лишь три года спустя. Причем позже, чем американское издание «Золотого теленка». Но это — уже другая история.

В данном случае важно понять, почему, несмотря на нестабильность политической ситуации, очевидную опасность, Ильф и Петров решили продолжить дилогию в 1928 году, почему «Золотой теленок» был все же опубликован в 1931 году и даже не в штыки встречен критикой.

Начнем с того, что свое решение о смерти Бендера соавторы объяснили случайным стечением обстоятельств, а вовсе не логикой развития характера. В предисловии к «Золотому теленку» Ильф и Петров дали версию, охотно повторяемую исследователями. Сначала соавторы спорили, убивать ли Бендера, потом выбор определился жребием: «В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп — и через полчаса великого комбинатора не стало, он был прирезан бритвой».

Так ли было, нет ли, неважно. Даже если и не так, все равно понятно, что вопрос об участи главного героя актуален тогда, когда пора «ставить последнюю точку». А с последними главами «Двенадцати стульев» соавторы очень торопились: журнальная публикация уже шла, роман надлежало закончить как можно скорее. Хоть как-то, лишь бы скорее.

Поражение всех «охотников за бриллиантами» было изначально предрешено. При этом ни Востриков, ни Воробьянинов особого сочувствия читателей и не должны были вызывать. Алчные, неумные, трусоватые — жалеть некого. Потому, волею авторов, они полностью осознают свое поражение, буквально сходят с ума от горя и обиды. Иное дело — великий комбинатор: веселый, остроумный, отважный, щедрый и великодушный, даже не лишенный своеобразного благородства. К нему соавторы были более милостивы: Бендер предательски убит. Он умер во сне, а засыпая, предвкушал скорую победу. Он не успел узнать о своем поражении.

Великий комбинатор умер непобежденным. Вот почему рано или поздно у читателей возникал вопрос: а если бы Воробьянинов и Бендер сразу вели поиск правильно, мечта исполнилась бы? «Идеологически выдержанный» ответ был очевиден и однозначен: все равно никогда не исполнилась бы. Все равно никому — даже и великому комбинатору — не выиграть у советской власти, никто в СССР не может и не сможет

воспользоваться богатством, приобретенным незаконно. Что и предстояло обосновать художественно.

Вряд ли Ильф и Петров были воодушевлены такой задачей. Но сослаться на необходимость ее решения было можно, и этим вполне обосновывался «социальный заказ» продолжения дилогии. В 1928 году соавторы приступили к роману о победе и окончательном поражении великого комбинатора. Бендер добывал богатство — и не мог его тратить, потому что деньги сами по себе мало что значили: все жизненные блага в СССР распределялись соответственно «вкладу в строительство социализма». Победив, авантюрист вынужден был скрывать свою победу. Ему не купить собственный дом или автомобиль. Ему постоянно приходится уходить от вопроса о причинах богатства. Это и есть его поражение. Что и требовалось доказать.

Правда, завершение и публикацию романа приходилось откладывать — политическая ситуация постоянно менялась. И все же пришло время, когда продолжение «Двенадцати стульев» было вновь востребовано. На исходе 1930 года новый роман соответствовал, с одной стороны, очередной «антилевацкой» кампании, а с другой — способствовал дискредитации бухаринского лозунга относительно уместности обогащения. Критикам пришлось учитывать эти обстоятельства.

В архиве Ильфа и Петрова сохранились два варианта финала «Золотого теленка». Ранний свидетельствует о прежнем, скажем так, милостивом отношении соавторов к великому комбинатору. Бендер, убедившись, что в СССР он не может легально пользоваться обретенным богатством, избавляется от него и — женится на девушке, любовью которой пренебрег ранее.

Такой финал тоже оставлял место для сомнений. Да, в СССР обладатель незаконно нажитого богатства не может им воспользоваться. А вне СССР?

Второй вариант финала разрешал любые сомнения. Великий комбинатор проиграл все. В погоне за богатством он потерял друзей, а разбогатев, узнал, что любимая девушка вышла замуж. Не помогло и бегство из СССР: перейдя границу, великий комбинатор был ограблен, едва не убит и еле сумел вернуться. Этот вариант и стал окончательным.

Разумеется Петров не имел возможности ни описать политический контекст создания романа в мемуарах, ни даже рассказать о помощи Кольцова — арестованного и расстрелянного в 1938 году «врага народа». Пришлось опять сочинить небылицу, которую впоследствии подхватили исследователи, тоже не имевшие возможности описывать реальный литературный процесс.

Эпилог

Завершив дилогию, Ильф и Петров выполнили «социальный заказ». Вот только сделали они это по-своему, и результаты получились несколько неожиданные. Да, соавторы доказали: Бендер не решил задачу личного обогащения незаконными способами, потому что в СССР она такими способами неразрешима вообще, а из СССР незаконно обретенное богатство вынести не удастся — отнимут. Неважно, с какой стороны государственной границы, но обязательно отнимут. И все же роман не был вполне советским. Главный герой самим фактом своего существования протестовал, отрицал советскую власть.

Даже его поражение тут ничего не меняло. Великий комбинатор оставался самым обаятельным героем дилогии. И единственным его недостатком было упорное нежелание «строить социализм». Потому что Бендер находил это занятие скучным. Тесно ему было в СССР, тесно и скучно. Соответствующую фразу редакторы могли бы и вычеркнуть из романа, все равно она бы подразумевалась. Но если сильному, умному и смелому, веселому и великодушному, изобретательному и щедрому скучно и тесно в «стране социализма», то нежелательные — с точки зрения «идеологической выдержанности» — ассоциации тоже сами собой подразумевались. Хотели того соавторы или же нет.

Вот почему «разоблачение» романов — и в 1948 году, и раньше — не только результат интриг, но и закономерность.

Тем не менее романы были опять востребованы во второй половине 1950-х годов. И опять по причинам политическим. Именно тогда целенаправленно создавался миф о 1920-х и начале 1930-х годов как «ленинской эпохе», именуемой (с легкой руки К.Г. Паустовского) «временем больших ожиданий», эпохе расцвета, насильственно прерванного по злой сталинской воле. Надлежало убедить население, что массовые репрессии — результат «культа личности Сталина», отклонение от правильного пути, а ранее все шло хорошо и правильно, была замечательная литература, была сатира и т. д. Романы Ильфа и Петрова, книги ряда других писателей, в том числе и репрессированных, стали символами даже не самой эпохи, «времени больших ожиданий», а свободы слова в ту эпоху. Доказательством правильности пути, на который страна — по уверениям идеологов — уже возвращалась.

Эдиционные принципы

Для предлагаемого издания за основу взята рукопись романа «Золотой теленок» (РГАЛИ. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 36-38). Этот

вариант романа сверен с публикациями. В ряде случаев учтена чисто стилистическая правка авторов. Полностью игнорируются сокращения и правка идеологического характера. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

В разделе «Приложения» помещены первый вариант финала романа, от которого авторы впоследствии отказались (глава тридцать четвертая «Адам сказал, что так нужно»), и первая часть романа «Великий комбинатор», ранее впервые опубликованная в шестом номере журнала «Литературное обозрение» за 1997 год.

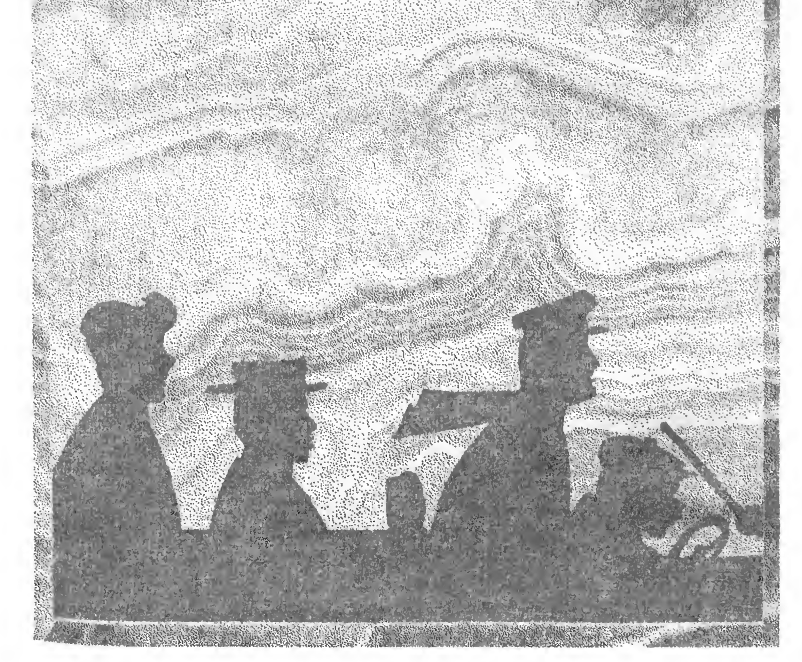
За оказанную помощь благодарим В.Т. Бабенко, Н.А. Богомолова, А.Ю. Галушкина, В.В. Нехотина, Р.М. Янгирова.

М.П. Одесский, Д.М. Фельдман

От издательства

В тексте романа курсивом выделены разночтения и фрагменты, исключенные из варианта, входившего в ранее издававшиеся собрания сочинений Ильфа и Петрова.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК



Переходя улицу, оглянись по сторонам.

(Правило уличного движения)

От авторов

Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными: «Как это вы пишете вдвоем?»

Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп — и через полчаса великого комбинатора не стало, *он* был прирезан бритвой.

Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:

— Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры! Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, *чтоб* не украли знакомые.

И вдруг единообразие вопросов было нарушено.

— Скажите, — спросил нас некий строгий гражданин, из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, — скажите, почему вы пишете

смешное? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?

После этого он *долго* убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.

— Смеяться грешно! — говорил он. — Да, смеяться нельзя. И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь *и* эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!

— Но ведь мы не просто смеемся, — возражали мы. — Наша цель — *сатира*, сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.

— Сатира не может быть смешной, — сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.

Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А паразиты никогда!»

Все рассказанное — не *выдумки*. Выдумать можно было бы и посмешнее.

Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранджу, а сам с утра *до вечера* будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма.

И все время, *пока* мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина.

— А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин?

И в конце концов мы постановили:

а) роман написать по возможности веселый,

б) буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, — просить прокурора республики *т. Крыленко* привлечь *упомянутого* гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.

И.Ильф, Е.Петров

Часть первая

ЭКИПАЖ АНТИЛОПЫ

Глава *первая*

О том, как Паниковский нарушил конвенцию

Пешеходов надо любить.

Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить *114* вкусных питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен *пешеходом*. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить *улицы* только на перекрестках, то есть именно в тех мес-

тах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей.

Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины *живым*, — его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.

И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, *Бойль-Мариотт*, Лобачевский *и* Гутенберг, *они, выделившие из своей среды таких завзятых пешеходов, как Пушкин, Вольтер, Мейерхольд* и Анатоль Франс, — принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого, в сущности, *нет! До* чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода!

Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью: «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить.

Или другой, европейский могикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он *пошел бы просто* так, без бочки, но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования и про него *ничего* не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же (позор, позор!) выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера».

Так деградировал пешеход.

И только в маленьких русских городах пешехода еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении.

Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке.

Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц; бросилось ему в глаза облезлое *кавказское* золото церковных куполов. Флаг *клубничного цвета* трещал над официальным зданием. У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.

— Храм *Спаса* на картошке, — негромко сказал пешеход.

Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом: «Привет 5й окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся Бульваром Молодых Дарований.

— Нет, — сказал он с огорчением, — это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.

Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома — цели своей прогулки.

В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное *обугленное* крыло экипажа и размахивая вздутой папкой с тисненой надписью «Musique», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок — пожилой мужчина с висячим, как банан, носом — сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась набок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад».

Вскоре стали слышны и прочие слова.

— Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! — крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.

— А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист! — *отвечал* Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.

— Вы опять про оклад *жалования!* Придется поставить вопрос о рвачестве.

— Плевал я на оклад! Я даром буду работать! — кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. — Захочу — и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «Свобода, равенство и

братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.

Тут Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:

— Квартира — свинюшник, театра нет, оклад... Извозчик! Пошел на вокзал!

— *Тпрру-у!* — *З*авизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под *узды*. — Я, как секретарь секции инженеров и техников... Кондрат Иванович! Ведь завод *остается* без специалистов!.. Побойтесь бога!.. Общественность этого не допустит, инженер Талмудовский!.. У меня в портфеле *протоколы...*

И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Musique».

Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Талмудовский поднялся на ноги и что есть силы закричал:

— Пошел на вокзал!

— Куда? Куда? — залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. — *Вы* дезертир трудового фронта!..

Из папки «Musique» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то лиловыми «слушали-постановили».

Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал:

— Нет, это не Рио-де-Жанейро!

Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома.

— Вам кого? — спросил его секретарь, сидевший за столом, рядом с дверью. — Зачем вам к председателю? По какому делу?

Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал *заявлять*, что прибыл по срочному, казенному делу.

— По личному, — сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. — К вам можно?

И (нет запятой!) не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу.

— Здравствуйте, вы меня *узнаете*?

Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке *и таких* же брюках, заправленных в сапоги на высоких *скороходовских* каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.

— Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.

— Я тоже похож на своего отца, — нетерпеливо сказал председатель, — *вам* чего, товарищ?

— Тут все дело в том, какой отец, — грустно заметил посетитель. — Я сын лейтенанта Шмидта.

Председатель смутился и *приподнялся.* Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным *усатым* лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя.

Когда-то, в царские времена, меблировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели: плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на *биллиардных* ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах *появились* предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, *специальные* кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с Фудзиямой и вишней в цвету и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.

«А шкафчик-то типа «Гей, славяне!», — подумал посетитель, — *тут* много не возьмешь. Нет, это не Рио-де-Жанейро».

— Очень хорошо, что вы зашли, — сказал наконец председатель. — Вы, вероятно, из Москвы?

— Да, проездом, — ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью Ленинградского древтреста.

Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал:

— Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?

— Смутно, смутно, — ответил посетитель. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.

— Простите, а как ваше имя?

— Николай... Николай Шмидт.

— А... по батюшке?

«Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.

— Да-а, — протянул он, уклоняясь от прямого ответа, — теперь многие не знают имен героев. Угар *НЭПа*. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки...

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным *то*, что он забыл имя очаковского героя.

«Действительно, — думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо *гостя*, — глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь».

— Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.

— Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, — сказал посетитель, — мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения... Сын революционера и вдруг просит денег у частника, у нэпмана...

Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный? — подумал он. — Хлопот с ним не оберешься».

— И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, — сказал вконец запутавшийся председатель.

Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».

Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного, серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря. Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.

— Кто здесь главный? — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми *глазами*.

— Ну, я, — сказал председатель.

— Здоров, председатель! — гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. — Будем знакомы! Сын лейтенанта Шмидта.

— Кто? — спросил глава города, тараща глаза.

— Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта! — повторил пришелец.

— А вот же товарищ сидит — сын товарища Шмидта. Николай Шмидт.

И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.

В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас.

Его фигура в летней рубашке «Парагвай», *штанах с матросским клапаном* и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.

— Вася! — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. — Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

— Узнаю! — воскликнул прозревший Вася. — Узнаю брата Колю!

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.

Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило *уксусное* выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от Истпарта, подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустились на козетку и, не спуская льстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.

— До чего удивительная встреча! — фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.

— Да, — сказал председатель замороженным голосом. — *Бывает*.

Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям и ласково спросил:

— Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?

— Да, я *там* жил, — пробормотал второй сын лейтенанта, — у нее.

— Что ж ты мне так редко писал? Я очень беспокоился.

— Занят был, — угрюмо ответил рыжеволосый.

И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей), — второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос.

— А ты почему не писал?

— Я писал, — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. — *Заказные* письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть. — И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек. Но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.

Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на «Очакове»». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова навострил уши.

Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.

За углом исполкомовского дома они остановились.

— Кстати, о детстве, — сказал первый сын, — в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

— Почему? — радостно спросил второй сын знаменитого отца.

— Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, — жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?

— Я думал...

— Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы — мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?

Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.

— Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познакомимся. Как-никак — мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию.

— Балаганов, — представился рыжеволосый, — Шура Балаганов.

— О профессии не спрашиваю, — учтиво сказал Бендер, — но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?

— Две, — свободно ответил Балаганов.

— Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, — мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, — это к тому же бесцельная трата сил и энергии.

Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.

— Смотрите, — сказал он, указывая на зеленые глубины Бульвара Молодых Дарований. — Видите, вон идет человек в соломенной *шляпке*.

— Вижу, — высокомерно сказал Остап. — Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?

— Это Паниковский, — сказал Шура, — *сын* лейтенанта Шмидта.

По аллее, в тени августейших лип, *склонясь* немного набок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.

— Как, еще один сын? — сказал Остап. — Это становится забавным.

Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы *обоими* руками и правильно установил ее на голове, обдернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.

— У лейтенанта было три сына, — заметил Бендер, — два умных, а третий — дурак. Его нужно предостеречь.

— Не надо, — сказал Балаганов, — пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.

— Что это *еще* за конвенция такая?

— Подождите. *Потом* скажу. Вошел, вошел!..

— Я человек завистливый, — сознался Бендер, — но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем, посмотрим.

Сдружившиеся дети *лейтенанта* вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.

За туманным, немытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к сальному пиджаку, он остановился *перед столом* и долго шевелил толстыми губами.

После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик.

Со словами «*Все* назад!» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.

— Снимите шляпы, — сказал Остап, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.

— Прах покойного, — комментировал Остап, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.

— После непродолжительной гражданской панихиды... — начал Остап.

В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

— ...*Т*ело было предано земле, — закончил Бендер.

Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.

— Ну, теперь расскажите, — промолвил Остап, — каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.

Глава *вторая*

Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта

Хлопотливо проведенное утро *закончилось.*

Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями: «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. *д.*», «Закрыто на обеденный перерыв», просто «Закрыто», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрыто для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отозвалась только одной *сухой* табличкой: «Дежурная няня». Затем, один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным

коленкором. Особенно хорош был бас-геликон. Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом. И чтобы в дни отдыха родители водили *бы* к нему детей и *говорили*: «Вот, деточка, павильон геликона. Геликон сейчас спит. А когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими *чайными* глазами.

В другое время Остап Бендер обратил бы *вниманье* и на свежесрубленные, величиной *с* избу, балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодцеватой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец; но сейчас ему было не до того. Он хотел есть.

— Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? — спросил он Балаганова.

— Это вы насчет денег? — сказал Шура *Балаганов*. — Денег у меня нет уже целую неделю.

— В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, — наставительно сказал Остап. — Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Ну, ладно, не горюйте, *я* все-таки унес в своем клюве три талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда.

Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой «Бывший друг желудка» висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей.

— Конечно, — с горечью сказал Остап, — по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда! Придется отдать свое тело на растерзание частникам.

— Частники любят наличные деньги, — возразил Балаганов глухо.

— Ну, ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас *ряд* мелких услуг.

Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедали в летнем кооперативном саду *«Искра»*, где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:

Пиво отпускается только членам профсоюза.

— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов.

— Тем более, — добавил Остап, — что местные квасы *изготавливаются* артелью частников, сочувствующих советской власти. А теперь расскажите, в чем провинился головорез Паниковский. Я люблю рассказы о мелких жульничествах.

Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал *свой* рассказ. Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения.

Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами.

Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги, или о том, что Средне-Азиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожихах. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнает, что есть на свете эксперт-товаровед с *шестидесятилетним* стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции.

Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой.

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, *находится* в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, *и они* не могли извлечь из своей профессии тех выгод, *которые она несомненно могла принести.*

Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.

По всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. *Отряды мифических родственников усердно разрабатывают природные богатства страны: добросердечие, раболепство и низкопоклонничество.*

От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.

Одно время предложение *лже*-родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.

— И вы убоялись *все* возрастающих трудностей? — насмешливо спросил Остап.

Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование.

Выход из этого напряженного положения был один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. *Незнакомым передал* через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот наконец ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик — у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от *18 до 52* лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые.

В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают наконец конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных *участка по* числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда *уже* заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. *Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.*

— А что, разве это такая плохая республика? — невинно спрашивал Балаганов. — Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!

— Знаем, знаем! — кричали разволновавшиеся дети. — У немцев возьмешь!

Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену.

Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

— Нашли дураков! — визгливо кричал Паниковский. — Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

— Как! Всю возвышенность? — *язвил* Балаганов. — А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

— Ну, не всю возвышенность, — настаивал жадный Паниковский, — хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи!

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита, — все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.

Веселые возгласы, глухие стоны и *грязные* ругательства сопровождали жеребьевку.

Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему *досталась бесплодная и мстительная республика* немцев *Поволжья.* Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

— Я поеду! — кричал он. — *Н*о предупреждаю, если *немцы* плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.

Балаганов, которому достался золотой *Арбатовский* участок, *примыкавший к Республике Немцев*, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.

Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы, на работу.

— И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию! — закончил свое повествование Шура Балаганов. —

Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.

Против ожидания рассказчика, дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторанного сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали.

К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!» Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час — три рубля. За конец — по соглашению. Пассажиров в машине не было.

Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через решетку *сада* и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:

— Такси свободен! Прошу садиться!

Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!». И даже самое приглашение шофера подействовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально смотрели ему вслед. Через пять минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем *сидении* и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему.

Остап проводил ее взглядом и сказал:

— Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я *просто* хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.

— Идите к черту! — грубо сказал Балаганов.

— Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына это не пижонство?

— Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! — вскричал Балаганов.

— Вы пижон, — повторил Остап, — *и* сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два*!* А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить.

— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово *ответил* Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?

— Пять тысяч, — быстро ответил Балаганов.

— В месяц?

— В год.

— Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.

— Может, все-таки возьмете частями? — спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить *и* по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с *точеным*, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий *вишневый* шрам. Глаза сверкали грозным весельем.

Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И действительно, откашлявшись, он смущенно спросил:

— Зачем же вам так много денег... и сразу?

— Вообще-то мне нужно больше, — сказал Остап, — пятьсот тысяч — это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.

— У вас там родственники? — спросил Балаганов.

— А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?

— Нет, но мне...

— У меня нет родственников, товарищ Шура, — я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.

Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.

Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.

— Это вырезка из *Малой советской энциклопедии*. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей»...

так... «значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана»... Вот, вот!.. «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, *чарльстон* «*У* моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах! Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. *Что я каменщик, каменщик в фартуке белом?..* Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?

— Где же вы возьмете пятьсот тысяч? — тихо спросил Балаганов.

— Где угодно, — ответил Остап. — Покажите мне только *богатого* человека, и я отниму у него деньги.

— Как? Убийство? — *Еще* тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.

— Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой *Сухаревской* конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев. *Но* я чту *уголовный* кодекс. Это моя слабость.

— Как *же думаете* отнять деньги?

— Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к *уголовному* кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума.

— Да что вы! — воскликнул Балаганов. — Есть очень богатые люди!

— А вы их знаете? — немедленно сказал Остап. — Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. *Но* как найти такого *ловкача*?

Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его.

— Как приятно, — сказал он *раздумчиво*, — работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер — популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке, где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием и уже в передней после первых же приветствий отнимаешь деньги. И все это, имейте в виду, по-хорошему, вежливо: «Алло, сэр, не волнуйтесь! Придется вас маленько побеспокоить. *Ол-райт*! Готово». И все. Культура! Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Только не надо стрелять в люстру, это лишнее. А у нас... боже, боже, в какой холодной стране мы живем. У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком, и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!

— Значит, вы думаете, — спросил Балаганов, погодя, — что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то...

— Не продолжайте, я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то, совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить *вороным* наганом по голове. И вообще, ничего дурацкого не будет. Ах! Если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.

— Это очень хорошо! — Балаганов доверчиво усмехнулся. — Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каемкой!

Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова.

— Сам принесет? — спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. — На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах! Вы это бросьте, Бендер! На пятьсот тысяч можно и у нас хорошо прожить.

— Бесспорно, бесспорно, — весело сказал Остап, — прожить можно. Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же пятисот тысяч нет.

На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил:

— Я знаю такого миллионера. *Может выйти дело.*

С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания.

— Идите, идите, — сказал он, — я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

— Честное слово, мосье Бендер!..

— Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не *месье*, а ситуайен, что значит — гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?

— Он живет в Черноморске.

— Ну, конечно, так и знал! Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь... могу себе представить! Нет, это чепуха!

— Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне *сидеть* в тамошнем допре...

Через десять минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, *блестит* медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному:

«Ну-с, снимайте бурнус!»

— У меня всегда так, — сказал Бендер, блестя глазами, — миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется пятью рублями... Как, вы сказали, фамилия подпольного миллионера?

— Корейко, — ответил Балаганов.

— Да, да, Корейко. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?

— Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам *уже* говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, *видимо*, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.

— То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете *все дело* мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: «Бедность не порок».

Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил:

— Есть у меня седые волосы?

Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:

— Никак нет.

— Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседеете, Балаганов.

Балаганов вдруг глуповато хихикнул.

— Как вы говорите? Сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?

— Мне на блюдечке, — сказал Остап, — а вам на тарелочке.

— А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.

— Рио-де-Жанейро, *это хрупкая* мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор, — не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!

Глава третья

Бензин ваш — идеи наши

За год до того как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич.

К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Он беспрестанно нарушал *уголовный* кодекс РСФСР, а именно статью 162-ю, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества (кража). Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему *также* не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, *а равно, хотя и без указанных условий, совершенное* на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).

Но Козлевичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства, и тогда, когда он

обходился без них: *его* ловили на вокзалах, пристанях, на пароходах и в гостиницах. В вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами.

Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься *честным* накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит» и усердно работал в механической мастерской *Исправдома*. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович, *46* лет, происходящий из крестьян б.Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком.

После двух лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за сто девяносто рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выискивать на базарах недостающие части, латать *сиденье*, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «*Лорен-Дитрих*». В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с *лорендитрихской* фабричной маркой. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал.

В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывезти свое детище в свет, на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов «*Рено*». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчичью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию.

Арбатов, лишенный автомобильного *хозяйства*, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда.

Адаму Казимировичу *представлялось*, как трудолюбиво, весело и, главное, честно он будет работать на ниве автопроката. *Представлялось* ему, как ранним *собачьим* утром дежурит он у вокзала в ожидании московского поезда. Завернувшись в рыжую коровью доху и подняв на лоб авиаторские консервы, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами. Где-то

сзади жмутся обмерзшие извозчики. Они плачут от холода и трясут толстыми синими юбками. Но вот слышится тревожный звон станционного колокола. Это — повестка. Пришел поезд. Пассажиры выходят на *привокзальную* площадь и с довольными гримасами останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в арбатовское захолустье уже проникла идея автопроката. Трубя в рожок, Козлевич мчит пассажиров в Дом крестьянина. (нет абзаца!) Работа есть на весь день, все рады воспользоваться услугами механического экипажа. Козлевич и его верный «*Лорен-Дитрих*» — непременные участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Но больше всего работы летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за город целые семьи. Раздается бессмысленный смех детей, ветер дергает шарфы и ленты, женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофера и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в *Северо-Американских* Соединенных штатах (верно ли, в частности, то, что Форд ежедневно покупает себе новый автомобиль).

Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Арбатове. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, *флагами* и *штандартами*.

Сначала подвел железнодорожный график. Скорые и курьерские поезда проходили станцию Арбатов без остановки, с ходу принимая жезлы и сбрасывая *почту*. Смешанные поезда приходили только дважды в неделю. Они привозили народ все больше мелкий: ходоков и башмачников с котомками, колодками и прошениями. Как правило, смешанные пассажиры машиной не пользовались. Экскурсий и торжеств не было, а на свадьбы Козлевича не приглашали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков, которые в таких случаях вплетали в лошадиные гривы бумажные розы и хризантемы, что очень нравилось посаженым отцам.

Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни трепещущих *шаферов*, ни веселого лепета.

В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-Кооперативной площади, подошли четверо мужчин. Долго и молчаливо они вглядывались в автомобиль. Потом один из них, горбун, неуверенно спросил:

— Всем можно кататься?

— Всем, — ответил Козлевич, удивляясь робости арбатовских граждан. — Пять рублей в час.

Мужчины зашептались. До шофера донеслись *страстные* вздохи и слова: «Прокатимся, товарищи, после заседания? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека не дорого. Чего ж неудобного?..»

И впервые поместительная машина приняла в свое коленкоровое лоно арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затянули: «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Козлевич взял *вторую* скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле на лунный тракт.

«Что день, то короче к могиле наш путь», — томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами:

«По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом».

— Стой! — закричал вдруг горбун. — Давай назад! Душа горит!

В городе седоки захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку.

Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством горбуна продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние: лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака.

Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз бедовый горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон-первач и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах. А ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно.

В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьян-

ских, ни текстиля, ни *риса*. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги, сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и *мутно* мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь», никелированный дамский бюст, *который* был усеян разноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя; шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец».

Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела.

Новые пассажиры, подобно первым, *явились* под покровом темноты. Они тоже *начали* с невинной прогулки за город, но мысль о водке *возникла* у них, едва только машина *сделала* первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали *авто-телегу* Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь.

Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.

Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали *свою жизнь* почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину *уголовного* кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.

Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший *узко-судебный* интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».

После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение несколь-

ких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им во время ночных поездок.

Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

— Воздух-то какой! *Прокатаемся*, что ли?

Должностные лица высовывались на улицу и, под грохот ундервудов, отвечали:

— Сам катайся! Душегуб!

— Почему же душегуб? — чуть не плача, спрашивал Козлевич.

— Душегуб и есть, — отвечали служащие, — под выездную сессию подведешь!

— А вы бы на свои катались! — запальчиво кричал шофер. — На собственные деньги!

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.

Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:

— Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью!

Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно *украшали* сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и *дразнил* врага монотонным чтением карманного уголовного требника:

«Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается...»

Совслуж трусливо убегал, высоко подкидывая зад, сплющенный от долгого сидения на конторском табурете.

— Лишением свободы, — кричал Козлевич вдогонку, — на срок до трех лет!

Но все это *если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное.* Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло.

В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине, с отвращением глядя на глупый поло-

сатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что *не заметил даже* двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной.

— Оригинальная конструкция, — сказал наконец один из них, — заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной *машинки* Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка.

— Отойди! — угрюмо сказал Козлевич.

— То есть как это «отойди»! Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу!»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно эх-прокатиться?

И первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.

— Пожалуйте, — сказал он, — куда везти?

— На этот раз — никуда, — *заметил* Балаганов, — денег нету! Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.

— Все равно, садись! — закричал Козлевич отчаянно. — *Повезу* даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!

— Ну, что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. — У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?

— Тут все такие, — ответил шофер, выводя машину на главную улицу, — государственные преступники!

Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого *барахтается* сейчас его зеленый автомобиль.

— Куда теперь ехать? — с тоской закончил Козлевич. — Куда податься?

Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал:

— Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть

автомобиль — и вы не знаете, куда ехать! У нас дела похуже — у нас автомобиля нет. *И все-таки* мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?

— Куда? — спросил шофер.

— В Черноморск, — сказал Остап. — У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?

Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел *краски*. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета.

— А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей, — *убеждал он*. — По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш — идеи наши!

Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал:

— Бензину мало!

— На пятьдесят километров хватит?

— Хватит на восемьдесят.

— В таком случае все в порядке. *Как я* вам уже *сообщал*, что в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через шестьдесят километров вас *будет* прямо на дороге поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?

— Нравится, — застенчиво ответил Козлевич.

Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно.

— И эту бочку, — закончил Остап, — вы получите совершенно бесплатно. Скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.

— Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетете?

Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и так же тихо ответил:

— Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. *Они никому не нужны*. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.

Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая, якобы, лежит на дороге.

— Объявляю большой скоростной пробег Арбатов—Черноморск открытым! — торжественно сказал Остап. — *Командиром* пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... *Как* ваша фамилия?.. Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись

«Эх, прокачу!» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы.

Через два часа *зеленая* машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. *Командир* пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных.

— Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку?

— *«Лорен-Дитрих»*, — ответил Козлевич.

— Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш *«Лорен-Дитрих»* отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название — *Антилопа. Антилопа-Гну*. Кто против? Единогласно.

Зеленая *Антилопа*, скрипя всеми своими частями, *помчалась* по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и вылетела на рыночную площадь.

Там взору экипажа *Антилопы* представилась *бытовая* картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с *криками* бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и *тогда* на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.

— Паниковский бежит! — закричал Балаганов.

— Вторая стадия кражи гуся, — холодно заметил Остап. — Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.

О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в *преследовавших сильнейшее* раздражение.

— *166* статья, — наизусть сказал Козлевич. — Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.

Балаганов захохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие.

Машина выбралась на шоссе, прорезав галдящую толпу.

— Спасите! — закричал Паниковский, когда *Антилопа* с ним поравнялась.

— Бог подаст! — ответил Балаганов, свешиваясь за борт.

Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли.

— Возьмите меня! — вопил Паниковский, из последних сил держась рядом с машиной. — Я хороший!

Голоса преследователей сливались в общий недоброжелательный гул.

— Может, возьмем гада? — спросил Остап.

— Не надо, — жестоко ответил Балаганов, — пусть в другой раз знает, как нарушать конвенции!

Но Остап уже принял решение.

— Брось птицу! — закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: — Малый ход!

Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и как ни в чем не бывало пошел обратно в город.

— Влезайте, — предложил Остап, — черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем.

Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно.

— Полный ход! — скомандовал Остап. — Заседание продолжается!

Балаганов надавил *резиновую* грушу, и из медного рожка вырвались старомодные, веселые, внезапно обрывающиеся звуки:

Матчиш прелестный танец.
Та-ра-та...
Матчиш прелестный танец.
Та-ра-та...

И *Антилопа-Гну* вырвалась в дикое поле навстречу бочке с авиационным бензином.

Глава *четвертая*

Обыкновенный чемоданишко

Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома *№ 16*. Очутившись на тротуаре, выложенном голубоватыми каменными плитами, он остановился и негромко сказал:

— Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал.

Произнеся эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но Малая Касательная улица была совершенно пуста.

Июньское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую *ералашь*. В конце улицы, внизу, за крышами домов, пылало литое, тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался.

Был тот промежуток между пятью и шестью часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам, в городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке; в такую минуту хочется плакать и ве-

рить, что простокваша в самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина; но уже доносится далекий гром, это выгружаются из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах, из фабричных труб грянет дым. А потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются *граечным* звоном мириады будильников (фирмы «Павел Буре» потише, треста *«Точный механик»* позвончее); и замычат спросонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда.

Но было еще рано, служащие еще спали под *фикусами*. Человек в сандалиях прошел весь город, почти никого не встретив на пути. Он шел под акациями, которые в Черноморске несли некоторые общественные функции: на одних висели синие почтовые ящики с ведомственным гербом — *конвертом и молнией*, к другим же были прикованы жестяные лоханочки с водою для собак.

На Приморский вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда оттуда выходили молочницы. Больно ударившись несколько раз об их железные плечи, он подошел к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах, взглянул на квитанцию и тут же выкинул предъявителю его чемодан. Предъявитель в свою очередь расстегнул кожаный кошелечек, со вздохом вынул оттуда десятикопеечную монету и положил ее на багажный прилавок, сделанный из шести старых, отполированных локтями рельсов.

Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел *его* со всех сторон и даже потрогал рукою его белый портфельный замочек. Это был обыкновенный чемоданишко, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй. В таких вот чемоданишках пассажиры помоложе содержат нитяные носки *«СКЭТЧ»*, две перемены толстовок, один волосодержатель, трусики, брошюру «Задачи комсомола в деревне» и три крутых сдавленных яйца; *кроме* того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завернутый в газету «Экономическая жизнь». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки из клетчатой материи, известной под названием «*Столетие* Одессы», подтяжки на роликах, домашние туфли с язычками, флакон *с тройным одеколоном* и белое марсельское одеяло. Надо заметить, что и в этом случае в углу имеется кое-что завернутое в

«Экономическую жизнь». Но это уже не грязное белье, а бледная вареная курица.

Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в белый тропический вагон трамвая, доставивший его на другой конец города — к Восточному вокзалу. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение и получил квитанцию от величавого багажного смотрителя.

Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он вмешался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность. Человек в сандалиях был служащим, а служащие в Черноморске почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Никто не носил шляп и картузов. Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные, дыбом поднятые патлы, а еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина, на которой очень хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово.

Учреждение, в котором служил человек в сандалиях, называлось *ГЕРКУЛЕС* и помещалось в бывшей гостинице. Вертящаяся стеклянная дверь с медными пароходными поручнями втолкнула его в большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро справок. Оттуда уже выглядывало смеющееся женское лицо. Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед *стариком-швейцаром* в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:

— Ну, что, старик, в крематорий пора?

— Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь, — в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению.

В Черноморске *собрались* строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова — крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено; но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» *или* «Пропустите ста-

ричка вперед, ему в крематорий пора». И, удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень *нравилась*, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес.

Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат: «Чистка *ГЕРКУЛЕС'а* начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе.

До начала занятий оставалось еще пятнадцать минут, но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезоимениц-кий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борисохлебский и Лапидус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном. Об этом напоминали потолок в *дубовых резных* кессонах и расписанные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались менады, наяды и дриады.

— Вы слышали новость, Корейко? — спросил вошедшего Лапидус-младший. — Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены!

— Какая новость? Здравствуйте, товарищи! — произнес Корейко. — Здравствуйте, Анна Васильевна.

— Вы даже *представить себе* не можете! — с удовольствием сказал Лапидус-младший. — Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом.

— Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!

— До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал *ненормальнейший*, — вступил в разговор Борисохлебский. — Это факт. Мне *звонила его жена. У него* серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.

— Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва, — зловеще заметил старик Кукушкинд, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки.

— Не каркайте! — сказала Чеважевская. — Вечно он тоску наводит.

— Все-таки жалко Берлагу, — отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу.

Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лапидус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных; заговорили о маньяках, рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших.

— Вот у меня, — воскликнул Сахарков, — был сумасшедший дядя, который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он *подымал?..*

— Надо только удивляться, — жестяным голосом сказал старик Кукушкинд, неторопливо протирая очки полой пиджака, — надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом, — старик засопел, — Исааком...

— И Иаковом? — насмешливо спросил Сахарков.

— Да! И Яковом! — внезапно завизжал Кукушкинд. — И Яковом! Именно Яковом! Живешь в такое нервное время... Вот когда я работал в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич», тогда не было никакой чистки...

При слове «чистка» Лапидус-младший встрепенулся, взял Корейко об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стеклышками были выложены два готических рыцаря.

— Самого интересного про Берлагу вы еще не знаете, — зашептал он, — Берлага здоров, как бык.

— Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?

— Нет, в сумасшедшем.

Лапидус тонко улыбнулся.

— В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.

— У него, *вероятно*, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент?

— Да. *И* родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция. Люди устраивались как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику... Я лично не вижу в этом ничего *плохого*.

— Надо было знать, — холодно сказал Корейко.

— Вот я и говорю, — быстро подхватил Лапидус, — таким не место в советском учреждении.

И, посмотрев на Корейко расширенными глазами, он удалился к своему столу.

Зал уже наполнился служащими, из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие селедочным серебром, счеты с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Тезоименицкий сорвал с календаря вчерашний листок, *начался* новый

день, и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом.

Уселся за свой стол и Корейко. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контокоррентную книгу.

Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих *ГЕРКУЛЕС'а*, был человек в последнем приступе молодости, ему было *38* лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом *даже* походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат: не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат.

— Робкий он какой-то, — говорил о нем начальник финсчета, — какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то чересчур. Только объявят подписку на заем, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А весь оклад-то *46* рублей. Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги.

Была у Александра Ивановича удивительная особенность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило *Александра Ивановича* от репутации туповатого парня.

— *Слушай*, Александр Иванович, — спрашивал сосед, — сколько будет *836* на *423*?

— *353.628*, — отвечал Корейко, помедлив самую малость.

И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейко никогда не ошибается.

— Другой бы на его месте карьеру сделал, — *говорил* и Сахарков, и Дрейфус, и Тезоименицкий, и Музыкант, и Чеважевская, и Борисохлебский, и Лапидус-младший, и старый дурак Кукушкинд, и даже бежавший в сумасшедший дом бухгалтер Берлага, — а этот *шляпа*. Всю жизнь будет сидеть на своих сорока шести рублях.

И, конечно, сослуживцы Александра Ивановича, да и сам начальник финсчета товарищ Арников, и не только он, но даже *начальник ГЕРКУЛЕС'а товарищ Огонь-Полыхаев, и личная его секретарша Серна Михайловна, ну, словом, все* — были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал зачем-то с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали не брюки «*Столетие* Одессы», не бледная курица и не какие-нибудь «Задачи комсомола в деревне», а десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.

В 1915 году мещанин Саша Корейко был *двадцатитрехлетним* бездельником из числа тех, которых по справедливости *называли* гимназистами в отставке. Реального училища он не окончил, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и *потому* он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика:

— Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых и раненых! Слава богу!

В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей. *А* дальше все будет чрезвычайно хорошо. Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской *победы*, в асфальтовом углу, образованном выступом дома, у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплющенным окурком. На *улицу* Полтавской *победы* Саша ходил каждый день, но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеком и тупо смотрел на висевшую у парадного хода эмалированную дощечку: «Податной инспектор Ю.М.*Бомбе*». И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые.

Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство.

Но тогда он был еще глуп и молод. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали.

Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. *Дело его затерялось, и молодой человек был выпущен только потому, что никто не знал, в чем он обвиняется.*

От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело *его* требует скрытности, темноты и постепенности.

Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием.

В то беспокойное время все сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше: дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее: зимы были холодней, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его. И молодые люди без определенных занятий кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену:

Залетаю я в буфет,
Ни копейки денег нет,
Разменяйте десять миллио-нов...

Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто.

Тиф валил людей тысячами, Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок.

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал и Александр Иванович.

Глава *пятая*

Подземное царство

Оранжевые сапоги вынырнули в Москве, в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха.

А в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями, двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках *и шубках*, подбитых *черным* мехом *«Лира»; в* моду входили остроносые готические штиблеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками; *слово* «гражданин» начинало теснить привычное слово «товарищ»; какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах *уанстэп* «Дикси» и даже фокстрот «*Цветы* солнца»; *над* городом стоял крик лихачей, и в большом доме Наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов.

Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужественности и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на *самого* его обладателя.

Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов «Реванш»». Артель располагала двумя комнатами. В первой — висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной *кишкой*, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на *антресоль* и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье, жидкость совершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний.

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до *химикалиев*. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.

По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и *долго* стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке.

Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в

клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:

— А кой тебе годик?

— Двенадцатый миновал, — ответил мальчик.

И залился такими *рыданьями*, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на *Счет Прибылей и Убытков* и именно в тот раздел этого *Счета*, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам.

В тот самый день, когда комиссия вела многозначительную беседу с мальчиком в конторе «Реванша», Александр Иванович Корейко высадился из спального вагона прямого сообщения в небольшой виноградной республике, отстоявшей от Москвы на три тысячи километров.

Он растворил окно в номере гостиницы и увидел городок в оазисе с бамбуковым водопроводом, с дрянной глиняной крепостью, городок, отгороженный от песков тополями и полный азиатского шума.

На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает и постройка, от которой зависит будущность республики, может остановиться.

И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством.

Его встретили не особенно ласково; но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу.

— Вашему строительству, — говорил он, — не хватает денег. Я их достану.

И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.

— Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.

Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгод-

ный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.

Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.

— Ничего, — утешал он строителей, — запомните: с этой минуты вы будете только получать.

Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье фотографы. Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль *на плечи* и рассудительно сказал:

— Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.

Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.

Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие — на новой постройке больше платили.

Через полгода на всех железнодорожных остановках появились агенты-распространители в полосатых штанах. Они торговали открытками, изображавшими скалы виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, театрах, кино, на пароходах и курортах барышни-овечки вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышная — каждый выигрыш являл собою открытку с видом электрического ущелья.

Слова Корейко сбылись — доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Четвертую часть он брал себе по договору, столько же присваивал, ссылаясь на то, что еще не от всех агентских караванов поступила отчетность, а остальные средства употреблял на расширение благотворительного комбината.

— Нужно быть хорошим хозяином, — тихо говорил он, — сначала как следует поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы.

К этому времени экскаватор *«Маршан»*, снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Работа на электростанции прекратилась. Строительство обезлюдело. Возились там одни лишь фотографы и мелькали черные шали.

Дело расцвело, и Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов.

Как водится, однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света, здание подсобного предприятия и задал стрекача.

— Гм, — сказал председатель *комиссии*, ковыряя палкой в трещинах фундамента. — Где же электростанция?

И он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали «гм». Электростанции не было.

Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном разгаре. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой, многокрасочной, словно карты из рукава шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенкса в черной полумаске на толстой самоварной морде, очаровательной Лиа де Путти и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса.

И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы. А Александр Иванович прибавил к своему капиталу полмиллиона рублей.

Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только *начинала* жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в *советской* стране немыслима. И с улыбкой превосходства он глядел на *жалкие остатки нэпманов*, догнивающих под вывесками: «Торговля товарами камвольного треста Б.А.Лейбедев», «Парча и утварь для церквей и клубов» или «Бакалейная лавка Х.Робинзон и М.Пьятница».

Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной *лжеартели* «Там бубна звон».

Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу; все, на чем

государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем, всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги.

Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку — еда очень невкусная. *И* хороший веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов.

Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем; Александр Иванович *выпил* стакан *белого* кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.

Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо *подготавливающего* свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать; все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма.

И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого *жалования*, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами.

Глава *шестая*

Антилопа-Гну

Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге.

Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью.

— Послушайте, студент, — обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором, — как же вы посмели нарушить *Сухаревскую* конвенцию, этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги *Наций.*

Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону.

— И вообще, — продолжал Остап, — у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены: *за* вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.

— Жалкие, ничтожные люди, — сердито забормотал Паниковский.

— Вот как? — сказал Остап. — А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником? Джентльменом? Тогда вот что: если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом.

— Почему? — раздраженно спросил новый пассажир.

— Потому что они у вас совершенно черные. Не от грязи ли?

— Вы жалкий, ничтожный человек! — быстро заявил Паниковский.

— И это вы говорите мне, своему спасителю? — кротко спросил Остап. — Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво.

Балаганов не понял, что означает «статус-кво». *Но* ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены: гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу.

— Студент, идите *обратно* в Арбатов, — сухо сказал Остап, — там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем.

— Я больше не буду! — взмолился Паниковский. — Я нервный!

— Станьте на колени, — сказал Остап.

Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги.

— Хорошо, — *сказал* Остап, — *ваша* поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно, до первого нарушения дисциплины, с возложением на вас обязанностей прислуги за все.

Антилопа-Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница.

Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги.

— Товарищи! — сердито крикнул он. — *Считаю* торжественное заседание открытым. Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты...

Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.

— Все в Автодор! — поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. — Наладим серийное производство советских автомашин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!

И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг:

— *Автомобиль не роскошь*, а средство передвижения!

За исключением Остапа, все *антилоповцы* были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая,

они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым наклонением головы то вправо, то влево.

— Улучшайте дороги! — закричал он на прощание. — Мерси за прием!

И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле.

— Они за нами не погонятся? — озабоченно спросил Паниковский. — Почему толпа? Что случилось?

— Просто люди никогда не видели автомобиля, — сказал Балаганов.

— Обмен впечатлениями продолжается, — отметил Бендер. — *Слово* за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?

Шофер подумал, пугнул звуками матчиша собаку, сдуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника. *П*раздники такого рода, — разъяснил водитель *Антилопы*, — часто бывают у селян.

— Да, — сказал Остап. — Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. Ах, дети, милые дети лейтенанта Шмидта, почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное.

Остап вынул из кармана «Известия» и громким голосом прочел экипажу Антилопы заметку об автомобильном пробеге Москва—Самара—Москва.

— Сейчас, — самодовольно сказал он, — мы находимся на линии автопробега, приблизительно в полутораста километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю?

Нижние чины Антилопы молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком.

— Значит, вы не поняли? Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну, хорошо, выскажусь более подробно, хотя это и не в моих правилах. Первое — крестьяне приняли *Антилопу* за головную машину автопробега. Второе — мы не отказываемся от этого звания. *Более* того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, *намекая* именно на то, что мы голов-

ная машина. Третье... Впрочем, хватит с вас и двух пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.

Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура».

— Ну, хватит эмоций! — сказал Остап. — Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым. Стоп!

Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры *давно* уже уселись в кружок у самой дороги, а старая *Антилопа* все еще кипятилась: иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье.

Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что казалось, горит целая деревня. Огонь, сопя, кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря:

— Не делайте из еды культа!

После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевичем, *заснули, осыпаемые звездной пылью.*

— Ну-с, — сказал на рассвете Остап Козлевичу, — приготовьтесь как следует, *такого* дня, какой предстоит сегодня, ваше механическое корыто еще не видело и никогда не увидит.

Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку. Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая, запустил руки в мотор и стал копаться в его *стальных* кишечках. Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей: мешочков, пульсирующих жилок, клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровое кофе «Желудин» и пописывает в *учрежденческой* стенгазете под псевдонимом «Антихрист».

— Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете? — неожиданно сказал Остап.

Старик вздрогнул и обернулся.

— Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой, холодный номер гостиницы «Марсель» (это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. *Голодным* и *небритым* вы будете лежать на деревянном топчане. *И* никто к вам не придет, Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы, *вероятно,* не родили из экономии, а жен *бросили.* Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ — заведующий гостиницей — уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба... Как ваше имя и отчество?

— Михаил Самуэлевич, — ответил пораженный Паниковский.

— ...о выдаче бесплатного гроба для *гр.* М.С.Паниковского. Впрочем, не надо слез, годика два вы еще протянете. Теперь — к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода.

Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву.

— Моя правая рука, — сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. — Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха.

Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «*распорядитель*». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями.

Весь экипаж *Антилопы-Гну* с уважением смотрел на саквояж. А оттуда появлялись все новые предметы.

— Вы — голуби, — говорил Остап, — вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата.

Кроме халата, в саквояже оказался и стетоскоп.

— Я не хирург, — заметил Остап, — *я* невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души.

Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в *шалварах* и чалме. На афише было написано:

!!! ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ *!!!*
знаменитый бомбейский брамин *(йог)*
— сын *Парвы* —
Иоканаан Марусидзе
(*заслуженный* артист союзных республик)
номера по опыту Шерлока Холмса.
Индийский факир. — *Курочка невидимка.* —
Свечи с Атлантиды. — Адская палатка. —
Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. —
Материализация духов и раздача слонов
Входные билеты от 50 к. до 2 р.

Грязная, захватанная руками чалма появилась вслед за афишей.

— Этой забавой я пользуюсь очень редко, — сказал Остап. — Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те же вопросы: «Почему в продаже нет животного масла?» или «Еврей ли вы?»

В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки.

— Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом, — сказал Остап.

И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись:

***Автопробегом по* бездорожью и разгильдяйству!**

Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры *Антилопы* приосанились. Балаганов *натянул* на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на два сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках *Антилопы* заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников.

— Влево по борту — деревня! — крикнул Балаганов, полочкой *приставляя* ладонь ко лбу. — Останавливаться будем?

— Позади нас, — сказал Остап, — идут пять первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорей снимать сливки. Посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович!

— На приветствия отвечать? — озабоченно спросил Балаганов.

— Отвечать поклонами и улыбками. Ртов *попрошу* не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите.

Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство *носило* довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью — не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: «Привет Лиге Времени и ее основателю дорогому товарищу Керженцеву», «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона», «Чтоб дети *ваши* не угасли, пожалуйста, организуйте ясли». Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно *церковнославянским* шрифтом с одним и тем же приветствием: «Добро пожаловать!»

Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.

— Гип, гип, ура! — закричал Остап.

Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.

— Как с бензином? — спросил Остап. — До Удоева хватит? Нам только тридцать километров сделать. А там — все отнимем.

— Должно хватить, — с сомнением ответил Козлевич.

— Имейте в виду, — сказал Остап, строго оглядывая свое войско, — мародерства *я* не допущу. Никаких нарушений закона! Командовать парадом буду я.

Паниковский и Балаганов сконфузились.

— Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли.

Тридцать километров *Антилопа* пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все *эти* усилия, а также кри-

ки и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов.

Собравшиеся с громкими криками *кинулись* навстречу прибывшему из мглы веков *«Лорен-Дитриху»*. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками и их во что бы то ни стало *надо* было вернуть к жизни.

Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского *вида* и спросил:

— Как остальные машины?

— Отстали, — равнодушно ответил Остап. — Проколы, поломки, энтузиазм населения. Все это задерживает.

— Вы в командорской машине? — не отставал шофер-любитель. — Клептунов с вами?

— Клептунова я снял с пробега, — сказал Остап недовольно.

— А профессор *Двуптих*? На «*Паккарде*»?

— На «*Паккарде*».

— А писательница Вера Круц? — любопытствовал полушофер. — Вот бы на нее посмотреть. На нее и на *Арапопорта*. Он тоже с вами?

— Знаете, — сказал Остап, — я утомлен пробегом...

— А вы на «*Студебеккере*»?

— Можете считать нашу машину «*Студебеккером*», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «*Лорен-Дитрих*». Вы удовлетворены?

Но шофер-любитель удовлетворен не был.

— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «*Лорен-Дитрихов*». Я читал в газете, что идут два «*Паккарда*», два «*Фиата*» и один «*Студебеккер*».

— Идите к чертовой матери со своим «*Студебеккером*»! — заорал Остап. — Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «*Студебеккер*» в последний момент заменен «*Лорен-Дитрихом*», а он морочит голову. *«Студебеккер»! «Студебеккер»!*

Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:

— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «*Студебеккера*» ему подавай!

Делал он это с той целью, чтобы раз навсегда избавиться от опасных расспросов.

Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей *лейтенанта* к одному месту.

— Я рад, товарищи, — заявил Остап в ответной речи, — нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь!

Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам *Командора*, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался высшей очистки, беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех четырех колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционный склады удоевского отделения Автодора.

Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали, *и деньги, в сущности, еще не были нужны.*

— О карманных деньгах не надо думать, — сказал Остап, — они валяются на дороге, и мы будем *их* подбирать по мере надобности.

Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали — тысяча лет и тысяча километров грунтовой и шоссейной дороги.

За эту тысячу лет на магистрали Удоев—Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, *приезжали* мужики, с песнями тащились странники.

Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, *и* были усмирены карто-

фельные бунты, *люди* научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы — пароход и паровоз. Затрубили автомашины.

А дорога осталась такой же, какой она была при Соловье-разбойнике.

Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, — протянулась отечественная дорога мимо деревень, *городов*, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.

Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки, и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.

Но месячному свету дано уже другое *назначение*. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого *сверчковода*, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.

Глава седьмая

Сладкое бремя славы

Командор пробега, водитель машины, бортмеханик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно.

Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он — вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же *бы* на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».

Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее *приготовленными* авточастями, а в одном посаде поднесли *даже* хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая ку-

сочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру. После него брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Ночь антилоповцы провели в деревушке, окруженные заботами деревенского актива. Они увезли оттуда большой кувшин топленого молока и сладкое воспоминание об одеколонном запахе сена, на котором спали.

— Молоко и сено, — сказал Остап, когда *Антилопа* на рассвете покидала деревню, — что может быть лучше? Всегда думаешь — «Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена». А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в *вашей* жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили.

Спутники Бендера смотрели на него с уважением. Их приводила в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь.

— Хорошо жить на свете! — сказал Балаганов. — Вот мы едем, мы сыты! Может быть, нас ожидает счастье...

— Вы в этом твердо уверены? — спросил Остап. — Счастье ожидает *вас* на дороге? Может быть, еще машет крылышками от нетерпения? Где, *говорит, он,* адмирал Балаганов? Почему его так долго нет? Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: «Ах, Америка — это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи? Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще весь экипаж *Антилопы* экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега.

Остап с сожалением оглядел своих спутников и продолжал:

— Шляпа Паниковского меня решительно смущает. Вообще, он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные *тесемки*, эта волосатая грудь под галстуком. Проще надо одеваться, Паниковский. Вы почтенный старик. Вам *нужен глухой* черный сюртук и касторовая шляпа. Балаганову *подойдет* клетчатая ковбойская *рубашка* и кожаные краги. И он сразу же приобретет вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, ниспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как *подошел* бы к его одухотворенному, слегка испачканному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз. Да, *девушки*, вам надо экипироваться.

— Денег нет, — сказал Козлевич, оборачиваясь.

— Шофер прав, — любезно *отметил* Остап, — денег действительно нет. Нет этих маленьких металлических кружочков, кои я так люблю.

Антилопа-Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. Большая рыжая сова сидела у самой дороги, склонив голову набок и глупо вытаращив желтые незрячие глаза. Встревоженная скрипом *Антилопы*, птица выпустила крылья, *вспорхнула* над машиной и вскоре улетела по своим скучным совиным делам. Больше ничего заслуживающего внимания на дороге не произошло.

— Смотрите, — закричал вдруг Балаганов, — *автомобиль*!

Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, *Антилопа* приблизилась к встречной машине.

Закрытый серый «*Кадиллак*», слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.

— Терпите бедствие? — спросил Остап, вежливо *приподымая* фуражку.

Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу.

Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточки рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинотрестовского плаща, был соотечественник.

— Терпите бедствие? — повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев.

Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге, в *130* километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине Европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.

— Скажите, — перебил он, — эти двое не из Рио-де-Жанейро?

— Нет, — ответил соотечественник, — они из Чикаго. А я *переводчик* из «Интуриста».

— *Что* же они здесь делают, на распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета «Красный мак», от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына-*двурушника*»? Не понимаю! Зачем вы их сюда завезли?

— А ну их к черту! — со скорбью сказал переводчик. — Третий день уже носимся по деревням как угорелые! Замучили меня совсем. Много я имел дела с иностранцами, но таких еще не видел.

И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников.

— Все туристы как туристы. *Носятся* по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины, *а* эти двое отбились. Стали по деревням ездить.

— Это похвально, — сказал Остап, — *широкие* массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни!

Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.

Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:

— Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня.

При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.

— Вот видите! — сказал переводчик. — Слова этого спокойно слышать не могут.

— Да. Тут какая-то тайна, — сказал Остап. — *Или* извращенные вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков.

— Все это гораздо проще, чем вам кажется, — сказал переводчик, — *они* ищут рецепт *изготовления* хорошего самогона.

— Ну конечно! — закричал Остап. — Ведь у них *сухой закон*. Все понятно. Достали рецепт? Ах, не достали? Ну, да. Вы бы еще на трех автомобилях приехали! Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепта, смею вас уверить.

Переводчик стал жаловаться на иностранцев.

— Поверите ли, на меня стали бросаться. *Расскажи*, да расскажи, *в чем* секрет самогона. А я не самогонщик! Я член союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама.

— А вам очень хочется обратно в Москву, *к* маме?

Переводчик жалобно вздохнул.

— В таком случае заседание продолжается! — промолвил Бендер. — Сколько дадут ваши шефы за рецепт? Полтораста дадут?

— Дадут двести, — зашептал переводчик. — А у вас в самом деле есть рецепт?

— Сейчас же вам продиктую, то есть, сейчас же по получении денег. Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши, *даже* из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую *кишмишевку* или сливянку. Одним словом — любой из полутораста самогонов, рецепты которых мне известны.

Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской *технологии* изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап, со своей стороны, заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача.

— О! — закричали американцы. — *Pervatch! Pervatch!*

Они уже слышали это слово в одной *знакомой* почтенной семье из Чикаго. И там о *pervatch'е* были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там *pervatch* и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал.

В устах разомлевших туристов грубое слово *первач* звучало нежно и заманчиво.

Американцы легко отдали двести рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами заатлантической республики, измученными *сухим законом*. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны.

— Видите, — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. — Все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились.

И он затрещал пачкой кредиток.

— Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая. Но опрятность, честность — вот что дорого. Двести рублей! В пять минут! И я не только не нарушил законов, но даже *всем* сделал приятное. Экипаж *Антилопы* снабдил денежным довольствием. Старухе-маме возвратил сына-переводчика. И, наконец, утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы, как-никак, имеем торговые связи.

Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска.

— *Городок* очень маленький, — сказал Бендер, — это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. *Потому* попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский! Вы начинаете забывать свои обязанности! Восстановите плакат на прежнем месте.

Понаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на два часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню.

Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги.

Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина:

Штанов нет.

— Фу, как грубо! — сказал Остап, входя. — Сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: «Брюк нет». Прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам. *А тут — «штанов нет».*

В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа с дырочками. Козлевичу пришлось удовольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые, по замыслу Бендера, должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного: куртку с золотыми насосами в петлицах и волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго ломался и прыгал перед волнистым зеркалом.

— Не понимаю, — сказал наконец Остап, — чем вам не нравится костюм пожарного? Он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. А ну, повернитесь-ка, сынку! Отлично! Скажу вам прямо. Это подходит вам больше, чем запроектированный мною сюртук и шляпа.

На улицу вышли в новых нарядах. *Себе Остап ничего не купил.*

— Мне нужен смокинг, — сказал он, — но здесь его нет. Подождем до лучших времен. *Не так ли, друг брандмейстер?*

Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров *Антилопы*. Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения и еврейские анекдоты, чем чрезвычайно расположил к себе публику. Конец речи он посвятил разбору давно назревшей автопроблемы.

— Автомобиль, — воскликнул он трубным голосом, — не роскошь, а...

В эту минуту он увидел, что председатель комиссии по встрече принял из рук подбежавшего мальчика телеграмму. Произнося слова: «не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. То, что он прочел, поразило его. Он думал, что впереди еще целый день. Его сознание мгновенно зарегистрировало ряд деревень и городов, где *Антилопа* воспользовалась чужими *матерьялами* и средствами.

Председатель еще шевелил усами, силясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове спрыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу. *Антилопа* зеленела на пере-

крестке. К счастью, пассажиры сидели на местах и, скучая, дожидались того момента, когда Остап велит перетаскивать в машину дары города. Это обычно бывало после митинга.

Наконец до председателя дошел смысл телеграммы. Он поднял глаза и увидел убегающего командора.

— Это жулики! — закричал он *страдальческим голосом.*

Он всю ночь трудился над составлением приветственной речи, и теперь его авторское самолюбие было уязвлено.

— Хватай их, ребята!

Крик председателя достиг ушей антилоповцев. Они нервно засуетились. Козлевич пустил мотор и одним махом взлетел на свое сиденье. Машина прыгнула вперед, не дожидаясь Остапа. Впопыхах антилоповцы даже не сообразили, что оставляют своего командора в опасности.

— Стой! — кричал Остап, делая гигантские прыжки. — Догоню — всех уволю!

— Стой! — кричал председатель, *адресуясь к Бендеру.*

— Стой, дурак! — кричал Балаганов Козлевичу. — Не видишь, шефа потеряли!

Адам Казимирович нажал педали. *Антилопа* заскрежетала и остановилась. Командор кувыркнулся в машину с отчаянным криком: «Полный ход!» Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, он терпеть не мог физической расправы. Обезумевший Козлевич перескочил на третью скорость, машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов. Все это произошло в одно *мгновенье.* Пока Козлевич снова тормозил, на Балаганова уже пала тень набегающей толпы. Уже протягивались к нему здоровеннейшие ручищи, когда задним ходом подобралась к нему *Антилопа,* и железная рука командора ухватила его за ковбойскую рубаху.

— Самый полный! — завопил Остап.

И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина забренчала всеми своими частями и быстро унеслась, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей.

Первый километр жулики тяжело дышали. Дороживший своей красотой Балаганов рассматривал в *карманном* зеркальце малиновые царапины на лице, полученные при падении. Паниковский дрожал в своем костюме пожарного. Он боялся мести командора. И она пришла немедленно.

— Это вы погнали машину, прежде, чем я успел сесть? — спросил командор грозно.

— Ей-богу... — начал Паниковский.

— Нет, нет, не отпирайтесь. Это ваши штуки. Значит, вы еще и трус к тому же? Я попал в одну компанию с вором и

трусом? Хорошо! Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне вы — простой топорник.

И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы.

После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.

— Дело плохо! В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Но до него еще часа три пути. Я уверен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду понатыкал свои столбы с проволоками. Паниковский! Берегите свою черепную лоханку!

Командор не ошибся.

В первой же деревне им предложили остановиться. Козлевич усилил ход. Несколько сажен за ними на неоседланной кобыле вяло скакал рослый веселый парень, по-видимому, деревенский милиционер, и что-то кричал.

Дальше на пути лежал городок, названия которого антилоповцы так никогда и не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его при случае недобрым словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном. Антилопа повернула и, как слепой щенок, стала тыкаться в стороны в поисках обходной дороги. Но ее не было.

— Пошли назад! — сказал Остап, ставший очень серьезным.

И тут же жулики услышали очень далекое комариное пение моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Назад двигаться было нельзя, и антилоповцы снова кинулись вперед.

Козлевич нахмурился и быстрым ходом подвел машину к самому бревну. Граждане, стоявшие вокруг, испуганно отхлынули в разные стороны, ожидая катастрофы. Но Козлевич неожиданно уменьшил ход и медленно перевалился через препятствие. Когда Антилопа пересекала город, прохожие сварливо ругали седоков, но Остап, обычно восприимчивый ко всякого рода оскорблениям, даже не отвечал.

К Гряжскому шоссе Антилопа подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва только успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздались взрывы и пальба моторов и в столбах света показалась головная машина. Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну.

Полотнища *ослепляющего* света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь.

— Да, — сказал Остап. — *Теперь* я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно!

Глава восьмая

Кризис жанра

В четвертом часу *ночи* затравленная *Антилопа* остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудились спешившимся антилоповцам. Очевидно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.

— Райская долина, — сказал Остап. — Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь.

— Сейчас как раз раннее утро, — заметил Паниковский, льстиво заглядывая в глаза командора.

— Молчать, золотая рота! — закричал Остап. — Вот неугомонный старик! Шуток не понимает!

— Что делать с *Антилопой*? — спросил Козлевич.

— Да, — сказал Остап, — в город на этой зеленой лоханке *не* въедешь. Арестуют. Придется стать на путь наиболее передовых стран. В Рио-де-Жанейро, например, краденые автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманных побуждений — дабы прежний хозяин не огорчался, видя, что на его машине разъезжает посторонний человек. *Антилопа* снискала себе кислую славу, ее нужно перекрасить.

Решено было войти в город пешим порядком и достать красок, а для машины подыскать надежное убежище за городской чертой.

Остап быстро пошел по дороге вдоль обрыва и вскоре увидел косой бревенчатый домик, маленькие окошечки которого поблескивали речною синевой. Позади домика стоял сарай, показавшийся *Остапу* подходящим для сокрытия *Антилопы*.

Пока великий комбинатор размышлял о том, под каким предлогом удобнее всего проникнуть в домик и сдружиться с его обитателями, дверь отворилась и на крыльцо выбежал почтенный господин в солдатских подштанниках с черными жестяными пуговицами. На бледных парафиновых щеках его помещались приличные седые бакенбарды. Подобная физиономия в конце прошлого века была бы заурядной. В то время большинство мужчин *выращивали* на лице такие вот казенные, верноподданные волосяные приборы. Но сейчас, когда под бакенбардами не было ни синего вицмундира, ни штатского *ордена* с муаровой ленточкой, ни петлиц с золотыми звездами тайного советника, — это лицо казалось ненатуральным.

— О, господи! — зашамкал обитатель бревенчатого домика, протягивая руки к восходящему солнцу. — Боже, боже! Все те же сны! Те же самые сны!

Произнеся эту жалобу, старик заплакал и, шаркая ногами, побежал по тропинке вокруг дома. Обыкновенный петух, собиравшийся в эту минуту пропеть в третий раз, вышедший для этой цели на середину двора *и уже раскрывший рот, в испуге* кинулся прочь; сгоряча он сделал несколько поспешных шагов и даже уронил перо, но вскоре опомнился, вылез на плетень и уже с этой безопасной позиции сообщил миру о наступлении утра. Однако в голосе его чувствовалось волнение, вызванное недостойным поведением хозяина домика.

— Снятся, проклятые! — донесся до Остапа голос старика.

Бендер удивленно разглядывал странного человека с бакенбардами, которые можно найти теперь разве только на министерском лице швейцара консерватории.

«Что это за рак-отшельник?» — подумал Остап.

Между тем необыкновенный господин завершил свой круг и снова появился у крыльца. Здесь он помедлил и со словами — «Пойду попробую еще раз» — скрылся за дверью.

— Люблю стариков, — прошептал Остап, — с ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы.

Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик.

— Чур меня, чур! — воскликнул он с шаляпинскими интонациями в голосе. — Все тот же сон! А-а-а!

Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа. Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.

— Что? Кто? Что такое? — закричал беспокойный старик. — Что?

Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс.

— Я вам сочувствую! — воскликнул он.

— Правда? — спросил хозяин домика, приникая к плечу Бендера.

— Конечно, правда. — ответил Остап. — Мне самому часто снятся сны.

— А что вам снится?

— Разное.

— А какое все-таки? — настаивал старик.

— Ну, разное. Смесь. То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран». Позавчера мне, например, снились похороны микадо, а вчера — юбилей Сущевской пожарной части.

— Боже! — произнес старик. — Боже! Какой вы счастливый человек! Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или... даже министр?

Бендер не стал упрямиться.

— Снился, — весело сказал он. — Как же? Генерал-губернатор. В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял, в узорных шальварах.

— Ах, как хорошо, — сказал старик. — А не снился ли вам приезд государя-императора в город Кострому?

— В Кострому? Было такое сновиденье. Позвольте, когда же это, ну да, 3 февраля сего года. Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора?

— Ах ты, господи! — заволновался старик. — Что ж это мы здесь стоим. Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?

— Ну, что вы! — добродушно сказал Остап. — Какой же я партиец? Я беспартийный монархист. Слуга царю, отец солдатам. В общем, взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать!..

— Чайку, чайку не угодно ли? — бормотал старик, подталкивая Бендера к дверям.

В домике оказалась одна комната с сенями. На бревенчатых стенах висели портреты господ в форменных сюртуках. Судя

по петлицам, господа эти служили в свое время по министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые беспокойные часы своей жизни.

— И давно вы живете таким анахоретом? — спросил Остап.

— С весны, — ответил старик. — Моя фамилия — Хворобьев. Здесь, думал я, начнется новая жизнь. А ведь что вышло? Вы только поймите!..

Федор Никитич Хворобьев был монархистом и ненавидел советскую власть. Эта власть была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. Это вызывало в нем отвращение.

До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово *Пролеткульт* и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. Он возненавидел слово *сектор*. О, этот сектор! Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а в том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное математическое понятие, обозначающее часть площади криволинейной фигуры, будет так опошлено.

На службе Хворобьева бесило многое: заседания, стенгазеты, займы. Но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были стенгазеты, займы, заседания. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах: о *жаловании*, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд».

Никуда нельзя было уйти от советского строя. Когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы:

«...Тогда мы постановили вывести его из состава правления...»

«...А я так и сказал: на ваше РКК примкамера есть, примкамера...»

И, тоскливо поглядывая на плакаты, призывающие граждан выполнить пятилетку в четыре года, Хворобьев с раздражением повторял:

— Вывести! Из состава! Примкамера! В четыре года! Хамская власть!

Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и, вместо чистого *воскресения*, днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за

городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила покоя.

По целым дням просиживал монархист-одиночка над обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном: о молебнах по случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное.

«Что-то теперь делается в этом проклятом Пролеткульте?» — думал он.

После Пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды: демонстрации первомайские и октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора.

— Все отняла у меня советская власть, — думал бывший попечитель учебного округа, — чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. *Это* сны, ниспосланные человеку богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть!

В первую же после этого ночь бог *прислал* Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в *учрежденческом* коридоре, освещенном керосиновой лампочкой. Сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Хворобьева нужно нагрузить!» Он хочет бежать, но не может.

Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился богу, указав ему, что, как видно, произошла досадная неувязка, и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного, товарища, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть для начала царский выход из Успенского собора.

Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел *лицо* председателя месткома товарища Суржикова.

И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему: членские взносы, стенгазеты, *МОПРЫ*, совхоз «Гигант», торжественное открытие первой фабрики-кухни, председатель общества друзей кремации и большие советские перелеты.

Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть крайнего правого депутата Государственной *Думы* Пуришкевича, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь про-

стенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста.

— Все те же сны! — заключил Хворобьев плачущим голосом. — Проклятые сны!

— Ваше дело плохо, — сочувственно сказал Остап, — как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живете в *советской* стране, то и сны у вас должны быть советские.

— Ни минуты отдыха! — жаловался Хворобьев. — Хоть что-нибудь! Я уже на все согласен. Пусть не Пуришкевич! Пусть хоть Милюков. Все-таки человек с высшим образованием и монархист в душе. Так нет же! Все эти советские антихристы!

— Я вам помогу, — сказал Остап, — *мне* приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон — это пустяки. Главное — это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени. Я, видите ли, турист-спортсмен, сейчас мне надо произвести небольшую починку своего автомобиля, так что разрешите закатить его к вам в сарай. А насчет причины вы не беспокойтесь. Я ее устраню на обратном пути. Дайте только пробег окончить.

Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил милому и отзывчивому молодому человеку воспользоваться сараем. Он набросил поверх сорочки пальто, надел на босу ногу калоши и вышел вслед за Бендером во двор.

— Так, значит, можно надеяться? — спрашивал он, семеня за своим ранним гостем.

— Не сомневайтесь, — небрежно отвечал командор, — как только советской власти не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите!..

Через полчаса *Антилопа* была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Козлевича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.

Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны.

Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и надписью «Ответ Керзону», полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.

Бендер и Балаганов подпали под влияние утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свидание с невестами *в маркизетовых платьях.*

Внезапно дорогу братьям преградил человек со складным мольбертом и полированным ящиком для красок в руках. Он имел *несколько* взбудораженный вид, словно бы только что выскочил из горящего здания, успев спасти *от* огня лишь мольберт и ящик.

— Простите, — звонко сказал он, — тут только что должен был пройти товарищ Плотский-Поцелуев. Вы его не встретили? Он здесь не проходил?

— Мы таких никогда не встречаем, — грубо сказал Балаганов.

Художник толкнул Бендера в грудь, сказал «пардон» и устремился дальше.

— Плотский-Поцелуев! — ворчал великий комбинатор, который еще не завтракал. — У меня самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза-Горгонер, и я не делал из этого шума, не бегал по улицам с криками: «Не видали ли вы часом гражданки Медузы-Горгонер. Она, дескать, здесь прогуливалась». Подумаешь! Плотский-Поцелуев!

Не успел Бендер закончить своей тирады, как прямо на него выскочили два человека с черными мольбертами и полированными этюдниками. Это были совершенно различные люди. Один из них, как видно, держался того взгляда, что художник обязательно должен быть волосатым, и по количеству растительности на лице был прямым заместителем Генриха Наваррского в СССР. Усы, кудри и бородка очень оживляли его плоское лицо. Другой был просто лыс, и голова у него была скользкая и гладкая, как стеклянный абажур.

— Товарища Плотского... — сказал заместитель Генриха Наваррского, задыхаясь.

— Поцелуева! — добавил абажур.

— Не видели? — прокричал Наваррский.

— Он здесь должен прогуливаться, — объяснил абажур.

Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было *зев* для произнесения ругательства, и с оскорбительной вежливостью сказал:

— Товарища Плотского, *урожденного Поцелуева,* мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интересует, то поспешите. Его *уже* ищет какой-то трудящийся, по виду художник-пушкарь.

Сцепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники *побежали* дальше. *А в* это время из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо. Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление». Разобраться в про-

фессии толстяка было нетрудно. Он придерживал рукою большой стационарный мольберт. В ногах у извозчика лежал полированный ящик, в котором, несомненно, помещались краски.

— Алло! — крикнул Остап. — Вы ищете *Плотского*-Поцелуева?

— Так точно, — подтвердил жирный художник, жалобно глядя на Остапа.

— Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь! — закричал Остап. — Вас обошли уже три художника! В чем тут дело? Что случилось?

Но лошадь, гремя подковами по диким булыжникам, уже унесла четвертого представителя изобразительных искусств.

— Какой культурный город! — сказал Остап. — Вы, вероятно, заметили, Балаганов, что из четырех встреченных нами граждан четверо оказались художниками. Любопытно!

Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой, Балаганов шепнул Остапу:

— Вам не стыдно?

— Чего? — спросил Остап.

— Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами?

— Ах, вы об этом? — сказал Остап. — Признаюсь, немного стыдно. Глупое положение, конечно. Но что ж делать. Не бежать же в исполком и просить там красок на проведение *Дня Жаворонка!* Они-то дадут, но ведь мы потеряем целый день!

Сухие краски в банках, стеклянных цилиндрах, мешках, бочонках и прорванных бумажных пакетах имели заманчивые цирковые цвета и придавали москательной лавке праздничный вид.

Командор и бортмеханик придирчиво стали выбирать краски.

— Черный цвет — слишком траурно, — говорил Остап. — Зеленый *уже* не подходит. Это цвет рухнувшей надежды. Лиловый — нет! Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый — пошло, голубой — банально, красный — слишком верноподданно. Придется выкрасить *Антилопу* в желтый цвет. Будет *немножко* ярковато, но красиво.

— А вы кто будете? Художники? — спросил продавец, подбородок которого был слегка *закрашен* киноварью.

— Художники, — ответил Бендер. — *Баталисты* и маринисты.

— Тогда вам не сюда нужно, — сказал продавец, снимая с прилавка пакеты и банки.

— Как не сюда! — воскликнул Остап. — А куда же?

— Напротив.

Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску через дорогу. Там была изображена коричневая лошадиная голова, и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».

— Все правильно, — сказал Остап, — твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат — художник? Не вижу никакой связи.

Однако связь оказалась, и очень существенная. Остап ее обнаружил уже в самом начале объяснения приказчика.

Город всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, *когда* в город приехал новый художник Феофан *Копытто*.

Первая его работа вызвала в городе большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан *Копытто* оставил станковистов далеко позади. Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник *Копытто* перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала.

С течением времени *Копытто* стал употреблять также и другие злаки. Имели *громкий* успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюрморты из пшена.

Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание окрплана. Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он *остался* верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.

— Овсом оно, конечно, способнее! — воскликнул Остап. — А Рубенс-то с Рафаэлем дураки — маслом старались! Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски.

Расплачиваясь с разговорчивым продавцом, Остап спросил:

— *Да. Кстати. Кто* такой Плотский-Поцелуев? А то мы, знаете, не здешние, не в курсе *дел*.

— Товарищ *Плотский*-Поцелуев — известный работник центра, наш горожанин. Теперь из Москвы в отпуск приехал.

— Все понятно, — сказал Остап, — *спасибо* за информацию. До свидания!

На улице молочные братья завидели диалектических станковистов. Все четверо, с лицами грустными и томными, как у цыган, стояли на перекрестке. Рядом с ними торчали мольберты, составленные в ружейную пирамиду.

— Что, служивые, плохо? — спросил Остап. — Упустили Плотского-Поцелуева?

— Упустили! — *Застонали* художники. — Из рук ушел.

— Феофан перехватил? — спросил Остап, обнаруживая хорошее знакомство с предметом.

— Уже пишет, халтурщик, — ответил заместитель Генриха Наваррского. — Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра.

— А где ателье этого деляги? — полюбопытствовал Остап. — Хочется бросить взгляд.

Художники, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану *Копытто*. Феофан работал у себя в садике, на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский-*Поцелуев*, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель на трехчервонной бумажке, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его *на холст. Копытто* хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.

— Сколько вы получите за эту картину? — застенчиво спросил *Поцелуев.*

Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:

— Что ж. Рублей двести пятьдесят музей за нее даст.

— Однако дорого.

— А овес-то нынче, — сказал *Копытто* певуче, — не укупишь. Он дорог, овес-то!

— Ну, как яровой клин? — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. — Посевкампания, я вижу, проходит удачно! На сто процентов? Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами *и,* заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, — был такой грех. Но идеологически, повторяю, картина была замечательно выдержана. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней *уже и* не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Но художник успел отхватить за выдумку тысячи полторы. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ *Копыт-*

то. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай.

Диалектические станковисты сочувственно захохотали. Но Феофан не смутился.

— Это звучит парадоксом, — заметил он, возобновляя посевные манипуляции.

— Ладно, — сообщил Остап, прощаясь, — сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые! Бросьте свои масляные краски. Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек! *В наш век пара и электричества!* Замечательная идея!

Весь день антилоповцы красили свою машину. К вечеру она стала неузнаваемой и блистала всеми оттенками яичного желтка.

На рассвете следующего дня преображенная *Антилопа* покинула гостеприимный сарай и взяла курс на юг.

— Жалко, что не удалось попрощаться с хозяином. Но он так сладко спал, что его не хотелось будить. Может, ему сейчас наконец снится сон, которого он так долго ожидал: митрополит Двулогий благословляет чинов министерства народного просвещения в день трехсотлетия дома Романовых.

И в ту же минуту сзади, из бревенчатого домика, послышался знакомый уже Остапу плачевный рев.

— Все тот же сон! — вопил старый Хворобьев. — Боже, боже!

— Я ошибся, — заметил Остап, — *ему*, должно быть, приснился не митрополит Двулогий, а широкий пленум литературной группы «Кузница и усадьба». Однако черт с ним! Дела призывают нас в Черноморск!

Глава девятая

Снова кризис жанра

Чем только не занимаются люди!

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена *Волховская* гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «*Уйди-уйди*», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «*Полпред*». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир *далек* от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.

Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база *коммунистической* идеологии. На пузыре «*Уйди-уйди*» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфин-

план. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук «Мечта ударника», *толстовка «Гладковка»*, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».

В области ребусов, шарад, шарадоидов, логогрифов и загадочных картинок пошли новые веяния. Работа по старинке вышла из моды. Секретари газетных и журнальных отделов «В часы досуга» или «Шевели мозговой извилиной» решительно перестали брать товар без идеологии. И пока великая страна шумела, пока строились тракторные заводы и создавались грандиозные зерновые фабрики, старик Синицкий, ребусник по профессии, сидел в своей комнате и, устремив остекленевшие глаза в потолок, сочинял шараду на модное слово «индустриализация».

У Синицкого была наружность гнома. Таких гномов обычно изображали маляры на вывесках зонтичных магазинов. Вывесочные гномы стоят в красных колпаках и дружелюбно подмигивают прохожим, как бы приглашая их поскорее купить шелковый зонтик или трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Длинная желтоватая борода Синицкого опускалась прямо под стол, в корзину для бумаг.

— Индустриализация! — горестно шептал он, шевеля бледными, как сырые котлеты, старческими губами.

И он привычно *разделял* это слово на шарадные части.

— Индус. Три. Али. За...

Все *это* было прекрасно. Синицкий уже представлял себе пышную шараду, значительную по содержанию, легкую в чтении и трудную для отгадки. *Сомнения* вызывала только последняя *часть* «ция».

— Что же это за «ция» такая, — напрягался старик, — *вот* если бы «акция»! Тогда отлично вышло бы: индустриализакция.

Промучившись полчаса и не *надумав*, как поступить с капризным окончанием, Синицкий решил, что конец придет сам собой, и приступил к работе. Он начал писать свою поэму на листе, вырванном из бухгалтерской книги, с *жирной* надписью «дебет».

Сквозь *большую* стеклянную дверь балкона видны были цветущие акации, латаные крыши домов и резкая синяя черта морского горизонта. Черноморский полдень заливал город кисельным зноем.

Старик подумал и нанес на бумагу начальные *строчки*:

Мой первый слог сидит в чалме,
Он на *востоке* быть обязан.

— Он на *востоке жить* обязан! — с удовольствием произнес старик.

Ему понравилось то, что он сочинил, трудно было только найти рифмы к словам «обязан» и «чалме». Ребусник походил по комнате и потрогал руками бороду. Вдруг его осенило.

Второй же слог известен мне,
Он с цифрою как будто связан.

С «Али» и «*за*» тоже удалось легко справиться.

В чалме сидит и третий слог,
Живет он тоже на *востоке*.
Четвертый слог поможет бог
Узнать, что это есть предлог.

Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. Но никогда еще почтенному ребуснику не было так трудно работать, как сейчас. Он отстал от жизни, был политически неграмотен, и молодые конкуренты легко его побивали. Они приносили в редакции задачи с такой прекрасной идеологической установкой, что старик, читая их, плакал от зависти. Куда ему было угнаться за такой, например, задачей:

Задача-арифмоид

На трех *станциях Воробьево*, *Грачево* и *Дроздово* было по равному количеству служащих. На станции Дроздово было комсомольцев в шесть раз меньше, чем на двух других вместе взятых, а на станции Воробьево партийцев было на 12 человек больше, чем на станции Грачево. Но на этой последней беспартийных было на 6 человек больше, чем на первых двух. Сколько служащих было на каждой станции и какова была *там* партийная и комсомольская прослойка?

Очнувшись от своих горестных мыслей, старик снова взялся за листок с надписью «дебет», но в это время в комнату вошла девушка с мокрыми стрижеными волосами и черным купальным костюмом на плече.

Она молча *прошла* на балкон, развесила на облупленных перилах сырой костюм и глянула вниз. Девушка увидела бедный двор, который видела уже много лет, — нищенский двор, где валялись разбитые ящики *из-под макарон*, бродили перепач-

канные углем коты и *жестянщик* с громом чинил ведро. В нижнем этаже домашние хозяйки *растабарывали* о своей тяжелой жизни.

И разговоры эти девушка слышала *не первый* раз, и котов она знала по *именам*, и *жестянщик*, как ей показалось, чинил это самое ведро уже много лет подряд. Зося Синицкая вернулась в комнату.

— Идеология заела, — услышала она бормотание деда, — а какая в ребусном деле может быть идеология? Ребусное дело...

Зося заглянула в старческие каракули *деда* и сейчас же крикнула:

— Что ты тут написал? Что это такое? «Четвертый слог поможет бог узнать, что это есть предлог». Почему — бог? Ведь ты сам говорил, что в редакции не принимают *теперь* шарад с церковными выражениями.

Синицкий ахнул. Крича: «Где бог, где? Там нет бога!», он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок.

— Есть бог, — промолвил он печально. — Оказался. Опять маху дал! Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая.

— А ты вместо «бог» поставь «рок», — сказала Зося.

Но испуганный Синицкий отказался от «рока».

— Это тоже мистика! Я знаю! Ах, *маху дал*, маху дал! Что же это будет, Зосенька?

Зося равнодушно посмотрела на *деда* и посоветовала сочинить новую шараду.

— Все равно, — сказала она, — *слова* с окончанием «ция» у тебя не *выходят*. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»?

— Как же! — *оживился* старик. — *Я* еще третьим слогом поставил «кац» и написал так: «А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея». Не взяли эту шараду. Сказали — *слабо*, не подходит. Маху дал.

И старик, усевшись за свой стол, начал разрабатывать большой, идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась.

Зося принялась накрывать к обеду. Она переходила от буфета с зеркальными иллюминаторами к столу и выгружала посуду. Появилась фаянсовая суповая чашка с отбитыми ручками, тарелки с цветочками и без цветочков, пожелтевшие вилки и даже компотница, хотя к обеду никакого компота не предполагалось. Вообще дела Синицких были плохи. Ребусы и шарады приносили в дом больше волнений, чем денег. С домашними обедами, которые старый ребусник давал

знакомым гражданам и которые являлись главной статьей домашнего дохода, тоже было плохо. Подвысоцкий и Болце уехали в отпуск, Стульян женился на гречанке и стал обедать дома, а Побирухина вычистили из учреждения по второй категории, и он от волнения потерял аппетит и отказался от обедов. Теперь он ходил по городу, останавливал знакомых и произносил одну и ту же полную скрытого сарказма фразу: «Слышали новость? Меня вычистили по второй категории!» И некоторые знакомые сочувственно отвечали: «Вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс». А некоторые ничего не отвечали, косили на Побирухина огненным глазом и проносились мимо, труся портфелями. В конце концов из всех нахлебников остался один, да и тот не платил уже неделю, ссылаясь на задержку жалования.

Недовольно задвигав плечами, Зося отправилась в кухню, а когда вернулась, за обеденным столом сидел последний столовник — Александр Иванович Корейко.

В обстановке внеслужебной Александр Иванович не казался человеком робким и приниженным. Но все же настороженное выражение ни на минуту не сходило с его лица. Сейчас он внимательно разглядывал новый ребус Синицкого. Среди прочих загадочных рисунков был там нарисован нуль, из которого сыпались буквы «Т», елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался провернутой вверх запятой.

— Этот ребус трудненько будет разгадать! — говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. — Придется вам посидеть над ним, Александр Иванович.

— Придется, придется, — ответил Корейко с усмешкой, — только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а. Есть. Готово. «В борьбе обретешь ты право свое»?

— Да, — разочарованно протянул старик, — как это вы так быстро угадали? Способности большие! Сразу видно человека первого разряда.

— Второго разряда, — поправил Корейко. — А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?

— Для печати.

— И совершенно напрасно, — сказал Корейко, с любопытством поглядывая на борщ, в котором плавали золотые медали жира. Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское. — «В борьбе обретешь ты право свое» — это эсеровский лозунг. Для печати не годится.

— Ах ты, боже мой! — застонал старик. — Царица небесная! Опять маху дал! Слышишь, Зосенька? Маху дал! Что же теперь делать?

Старика успокаивали, *но он был безутешен.* Кое-как пообедав, он немедленно поднялся, собрал *изготовленные* за неделю загадки, надел лошадиную соломенную шляпу и сказал:

— Ну, Зосенька, пойду в «Молодежные ведомости». Немножко беспокоюсь за алгеброид, но, в общем, деньги я там достану. *До свидания, Александр Иванович.*

В комсомольском журнале «Молодежные ведомости» старика часто браковали, корили за отсталость, но все-таки не обижали, и журнал этот был единственным местом, откуда к старику бежал тоненький денежный ручеек. Синицкий захватил с собой шараду, начинающуюся словами: «Мой первый слог на дне морском», два колхозных логогрифа и один алгеброид, в котором, путем очень сложного умножения и деления, доказывалось преимущество советской власти перед всеми другими властями.

Когда ребусник ушел, Александр Иванович мрачно принялся рассматривать Зосю. Александр Иванович столовался у Синицких сначала потому, что обеды были *там* дешевые и вкусные. К тому же основным правилом он поставил себе ни на минуту не забывать о том, что он мелкий служащий. Он *тыкал всем в глаза своей мнимой бедностью и* любил поговорить о трудности существования в большом городе на мизерное *жалование.* Но с некоторых пор цена и вкус обедов потеряли для него то отвлеченное и показательное значение, которое он им придавал. Если бы от него потребовали, и он мог сделать это не таясь, то платил бы за обед не шестьдесят *пять* копеек, как он это делал теперь, а три или даже пять тысяч рублей.

Александр Иванович, подвижник, сознательно изнурявший себя финансовыми веригами, запретивший себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный тем, что из боязни потерять миллионы он не может открыто истратить ста рублей, — влюбился со всей решительностью, на которую способен человек сильный, суровый и *обозленный* бесконечным ожиданием.

Сегодня наконец он *решился* объявить Зосе о своих чувствах и предложить свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хорек, и свое сердце, стянутое сказочными обручами.

— Да, — сказал он, — такие-то дела, Зося Викторовна[12].

Сделав это сообщение, гражданин Корейко схватил со стола *длинную* пепельницу, на которой был написан дореволюционный лозунг: «Муж, не серди свою жену», и стал внимательно в нее вглядываться.

---

[12] В рукописи разночтение: Зося Адамовна и Зося Викторовна. Исправлено по последнему варианту. *(Прим. ред.)*

Тут необходимо разъяснить, что нет на свете такой девушки, которая не знала бы по крайней мере за неделю о готовящемся изъявлении чувств. Поэтому Зося Викторовна озабоченно вздохнула и остановилась перед зеркалом. У нее был тот спортивный вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки. Проверив это обстоятельство, она уселась против Александра Ивановича и приготовилась слушать. Но Александр Иванович ничего не сказал. Он знал только две роли: бедного служащего и подпольного миллионера. Третьей роли он не знал.

— Вы слышали новость? — спросила Зося. — Побирухина вычистили.

— У нас тоже чистка началась, — ответил Корейко. — Многие полетят. Например, Лапидус-младший. Да и Лапидус-старший тоже хорош...

Здесь Корейко заметил, что идет по тропинке бедного служащего. Свинцовая задумчивость снова овладела им.

— Да, да, — сказал он, — живешь так в одиночестве, не зная наслаждений.

— Чего, чего не зная? — оживилась Зося.

— Не зная женской привязанности, — заметил Корейко спертым голосом.

Не видя никакой поддержки со стороны Зоси, он развил свою мысль.

Он уже стар. То есть не то чтоб стар, но не молод. И даже не то чтоб не молод, а просто время идет, годы проходят. Идут года. И вот это движение времени навевает на него разные мысли. О браке, например. Пусть не думают, что он какой-то такой. Он хороший, в общем. Совершенно безобидный человек. Его надо жалеть. И ему даже кажется, что его можно любить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Честно и откровенно. Почему бы одной девушке не пойти за него замуж.

Выразив свои чувства в такой несмелой форме, Александр Иванович сердито посмотрел на внучку ребусника.

— А Лапидуса-младшего действительно могут вычистить? — спросила Зося.

И, не дождавшись ответа, заговорила по существу дела. Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было девятнадцать лет, а сейчас уже двадцать. А еще через год будет двадцать один. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший. Лучше многих. И, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие? — она и сама не знает. В общем, она в данный

момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания! А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь *46 рублей в месяц.*

— Какие там сорок шесть рублей! — страшным голосом сказал вдруг Александр Иванович, подымаясь во весь рост. — У меня... *Мне...*

Больше он ничего не сказал. Он испугался. Начиналась роль миллионера, и это могло бы кончиться только гибелью. Страх его был так велик, что он *даже* начал бормотать что-то о том, что не в деньгах счастье.

Но в это время за дверью послышалось чье-то *сопение*. Зося выбежала в коридор.

Там стоял дед в своей большой шляпе, сверкающей соломенными кристаллами, *он* не решался войти. От горя борода его разошлась, как веник.

— Почему так скоро? — крикнула Зося. — Что случилось?

Старик возвел на нее глаза, полные слез.

Испуганная Зося схватила старика за колючие плечи и быстро потащила в *квартиру*. Полчаса лежал Синицкий на диване и дрожал.

— Что же случилось? — допытывалась Зося. — Ты не волнуйся. Расскажи толком.

После долгих уговоров дед приступил к рассказу.

Все было прекрасно. *Погода благоприятствовала путешествию Синицкого.* До самой редакции «Молодежных ведомостей» он добрался без всяких приключений. Заведующий отделом «Умственных упражнений» встретил ребусника чрезвычайно вежливо.

— Руку подал, Зосенька, — вздыхал старик. — Садитесь, говорит, товарищ Синицкий. И тут-то он меня и огорошил. А ведь наш-то отдел, говорит, закрывают. Новый редактор прибыл, заявил, что наши читатели не нуждаются в умственных упражнениях, а нуждаются они, Зосенька, в специальном отделе шашечной игры. Что ж будет? — спрашиваю. Да ничего, говорит заведующий, не пойдет ваш материал и только. А шараду мою очень хвалил. Прямо, говорит, пушкинские строки, в особенности это место: «Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог».

Старик ребусник долго еще содрогался на диване и жаловался на *засилье* советской идеологии.

— Опять драма! — воскликнула Зося.

Она нацепила шляпку и направилась к выходу. Александр Иванович двинулся за ней, хотя понимал, что идти не следовало бы. *Когда они проходили по длинному коридору коммунальной квартиры, густо начиненной людьми и вещами, вслед от-*

крывались двери, и горящие глаза соседей светились в полумраке.

На улице Зося взяла Корейко под руку *и сказала*:

— Мы все-таки будем дружить. Правда?

— Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж, — откровенно буркнул Корейко.

— *Вот упрямый человек, — сказала Зося, — успеется!*

В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод толпились молодые люди без шляп, в белых рубашках с закатанными выше *локтей* рукавами. Синие сифоны с металлическими кранами стояли на полках. Длинные стеклянные цилиндры с *сиропами* на вертящейся подставке мерцали аптекарским светом. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гуляющих.

— В кино хочется, — капризно сказала Зося, — орехов хочется, *зельтерской* с сиропом.

Для Зоси Корейко готов *был* на все. Он решился бы даже слегка нарушить свою конспирацию, потратив рублей пять на кутеж, *но сейчас* в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей бумажками, достоинством по двадцать пять червонцев каждая. Но если бы даже он сошел с ума и решился бы обнаружить хотя бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кинематографе нельзя было *бы* разменять.

— Зарплату задерживают, — сказал он в полном отчаянии, — выплачивают крайне неаккуратно.

В эту минуту от *толпы* отделился молодой человек в прекрасных сандалиях на босу ногу. *Он приветствовал Зосю поднятием руки под углом в 45 градусов.*

— Привет, привет, — сказал он, — у меня две контрамарки в кино. Хотите, *Зося*? Только моментально.

И молодой человек в замечательных сандалиях увлек Зосю под тусклую вывеску кино «Камо грядеши», *быв. «Кво вадис».*

Эту ночь *конторщик* не спал дома. До самого утра он шатался по городу, тупо рассматривал карточки голеньких младенцев в стеклянных витринах фотографов, взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались милицейские свистки, и поворачивался красный маячный огонек.

— Проклятая страна! — бормотал Корейко. — Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино*!*

Сейчас Зося уже казалась ему невестой.

К утру побелевший от бессонницы Александр Иванович забрел на окраину города. Когда он проходил по Бессарабской

улице, ему послышались звуки матчиша. Удивленный, он остановился.

Навстречу ему, *оттуда, где кончается улица и начинается поле,* спускался с горы *большой* желтый автомобиль. За рулем, согнувшись, сидел усталый шофер в хромовой тужурке. Рядом с ним дремал широкоплечий малый, свесив набок голову в стетсоновской шляпе с дырочками. На заднем *сидении* развалились еще двое пассажиров: пожарный в полной выходной форме и атлетически сложенный мужчина в морской фуражке с белым верхом.

— Привет первому черноморцу! — крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо *Корейки.* — Теплые морские ванны еще работают? Городской театр функционирует? Уже объявили Черноморск вольным городом?

Но Остап не получил ответа. Козлевич открыл глушитель, и *Антилопа* утопила первого черноморца в облаке голубого дыма.

— Ну, — сказал Остап *оглянувшемуся* Балаганову, — заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!

Часть вторая

ДВА КОМБИНАТОРА

Глава десятая

Телеграмма от братьев Карамазовых

С некоторого времени подпольный миллионер почувствовал на себе чье-то неусыпное внимание. Сперва ничего определенного не было. Исчезло только привычное и покойное чувство одиночества. Потом стали обнаруживаться признаки более пугающего свойства.

Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого *ГЕРКУЛЕС'а* его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:

— Дай миллион, дай миллион, дай миллион!

После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный *нищий-полуидиот*, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенной душой.

С этой вот встречи началась чертовщина.

В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел:

«Графиня изменившимся лицом бежит пруду».

— Какая графиня? — ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре.

Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес был правильный. Фамилия тоже. Малая Касательная Александру Корейко «графиня изменившимся лицом бежит пруду».

Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке.

В *17 ч. 35 м.* того же дня прибыла вторая депеша:

«Заседание продолжается зпт миллион поцелуев».

Александр Иванович побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки. Но в ту же ночь принесли еще две телеграммы-молнии:

«грузите апельсины бочках братья *карамазовы*».

И вторая:

«*лед* тронулся тчк командовать парадом буду я».

После этого с Александром Ивановичем произошел на службе обидный казус. Умножая в уме по просьбе Чеважевской *285 на 13*, он ошибся и дал неверное произведение, чего с ним никогда в жизни не *бывало*. Но сейчас ему было не до арифметических упражнений. Сумасшедшие телеграммы не выходили из головы.

— Бочках, — шептал он, устремив глаза на старика Кукушкинда, — *братья* Карамазовы. Просто свинство какое-то.

Он пытался успокоить себя мыслью, что это милые шутки каких-то друзей, но эту версию живо пришлось отбросить. Друзей у него не было. Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные и шутили только раз в *году* — первого апреля. Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: *печатали* на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол. И каждый раз в течение семи лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало. Кроме того, не такие это были богачи, чтобы тратиться на депеши.

После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капиталистические акулы» с подзаголовком: «*Биографии* американских миллионеров».

В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза *книжицы* была очеркнута синим карандашом и гласила:

«Все крупные современные состояния *в Америке* нажиты самым бесчестным путем».

Александр Иванович на всякий случай решил пока что не наведываться на вокзал к заветному чемодану. Он находился в весьма тревожном расположении духа.

— Самое главное, — говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», — это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским *ножиком*. Да, да. Побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «*Мысленно* вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Все это — суперфосфат, удобрение. Пусть поволнуется. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты.

Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных. Балаганов, Паниковский и Козлевич чинно сидели в красных плюшевых креслах с бахромой и кистями. Они стеснялись. Их смущал широкий образ жизни *командора и гравюра* «Явление Христа народу. Сами они вместе с *Антилопой* остановились на постоялом дворе и приходили в *гостиницу за* получением инструкций.

— Паниковский, — сказал Остап, — вам было поручено встретиться сегодня с нашим подзащитным и вторично *спросить* у него миллион, сопровождая эту просьбу идиотским смехом. *Ну?*

— Как только он меня увидел, он перешел на противоположный тротуар, — самодовольно ответил Паниковский.

— Так. Все идет правильно. Клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам с постели и жалобно лепечет: «Мама, мама*!*» Еще немного, самая чепуха, последний удар кисти — и он окончательно дозреет. С плачем он полезет в буфет и вынет оттуда тарелочку с голубой каемкой...

Остап подмигнул Балаганову. Балаганов подмигнул Паниковскому; Паниковский подмигнул Козлевичу, и, хотя честный Козлевич ровно ничего не понял, *но* тоже стал мигать обоими глазами. И долго еще в номере гостиницы «Карлсбад» шло дружелюбное перемигивание, сопровождавшееся смешками, цоканьем языков и даже вскакиванием с красных плюшевых кресел.

— *Отставить* веселье, — сказал Остап. — Пока что тарелочка с деньгами в руках Корейко, если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка.

Затем Бендер услал Паниковского и Козлевича на постоялый двор, предписав держать *Антилопу* наготове.

— Ну, Шура, — сказал он, оставшись вдвоем с Балагановым, — телеграмм больше не надо. Подготовительную работу можно считать законченной. Начинается активная борьба. Сейчас мы пойдем смотреть на драгоценного *баранчика* при исполнении им служебных обязанностей.

Держась в прозрачной тени акаций, молочные братья прошли городской сад, где толстая струя фонтана оплывала, как свеча, миновали несколько зеркальных пивных баров и остановились на углу улицы Меринга. Цветочницы с красными матросскими лицами купали свой нежный товар в эмалированных мисках. Нагретый солнцем асфальт шипел под ногами. Из голубой кафельной молочной выходили граждане, вытирая на ходу измазанные кефиром губы.

Толстые макаронные буквы деревянного золота, составлявшие слово *ГЕРКУЛЕС*, заманчиво светились. Солнце прыгало по саженным стеклам вертящейся двери. Остап и Балаганов вошли в вестибюль и смешались с толпой деловых людей.

Глава *одиннадцатая*

Геркулесовцы

На всех четырех этажах бывшей гостиницы шла кипучая работа. Но как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из *ГЕРКУЛЕС'а* гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось.

Как завхозы ни замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «Кабинеты», то вдруг на матовой стеклянной двери машинного бюро замечались водяные знаки «Дежурная горничная», то обнаруживались нарисованные на *стенках* указательные персты с французским текстом *«Pour les dames»*. Гостиница перла наружу. Служащие помельче занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время *экономные попики*, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коммивояжеры с *черными* усиками. Там еще пахло *свечами* и стояли розовые железные умывальники. В номерах почище, куда заезжали *биллиардные* короли и провинциальные драматические артисты, разместились заведующие секциями, их помощники и завхоз. Здесь уже было получше: стояли платяные шкафы с зеркалами и пол был обшит рыжим линолеумом. В роскошных номерах с ваннами и альковами гнездилось начальство. В белых ваннах валялись *какие-то* дела, а в полутемных альковах висели диаграммы и схемы, наглядно

рисовавшие структуру *ГЕРКУЛЕС'а*, а также связь его с периферией. Тут сохранились дурацкие золоченые диванчики, ковры и ночные столики с мраморными досками. В некоторых альковах стояли даже панцирные никелированные кровати с шариками. На них тоже лежали дела и всякая нужная переписка. Это было чрезвычайно удобно, так как бумажки всегда *были* под рукой.

В одном из таких номеров, в номере пятом, останавливался *как-то* знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали, и номер *пятый пользовался* в учреждении дурной славой. Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на *низовую* работу. Хорошо еще, если без выговора! А то бывало и с выговором, бывало *и* с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно.

— Демонский *нумер!* — в один голос утверждали потерпевшие. — Ну кто мог подозревать?

И на голову писателя, автора страшного «Рассказа о семи повешенных», падали ужаснейшие обвинения, будто бы именно он, *творец известной пьесы «Дни нашей жизни», был* повинен в том, что *тов.* Лапшин принял на службу шестерых родных братьев-богатырей, что *тов.* Справченко в заготовке древесной *лозы* понадеялся на самотек, чем эти заготовки и провалил, и что *тов.* Индокитайский проиграл в *«шестьдесят шесть»* 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу *государству* и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, — ничто ему не помогло. Тень покойного писателя была неумолима, и осенним вечером Индокитайского повели на отсидку. Действительно, нехороший был этот номер пятый.

Начальник всего *ГЕРКУЛЕС'а тов.* Полыхаев, *видный мужчина, стриженный бобриком,* помещался в бывшем зимнем саду, и секретарша его, Серна Михайловна, то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикомор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления. А с недавнего времени в комнате № 262, где некогда помещалась малая буфетная, засела комиссия по чистке в числе восьми ничем не выдающихся с виду товарищей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно каждый день и все читали какие-то служебные бумаженции.

— *Смотрят на бумажки, как баран на аптеку,* — *горделиво острили старые геркулесовцы,* — *а сами и читать толком не умеют.*

Когда Остап и Балаганов *подымались* по лестнице, раздался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал. Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих *поспешали* в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой. Иные же делали променад в коридорах, закусывая на ходу. Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая округлая борода висела на его бледном ласковом лице. *Влажные женские глаза светились добротой.* В руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз внимательно ее оглядев. В этом занятии служащему *с благороднейшей наружностью* чуть не помешал Балаганов, *пожелавший* узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел.

— Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю? — сказал служащий, с негодованием отвернувшись от Балаганова.

И, не обращая больше внимания на молочных братьев, погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на *прощание,* служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому *служащему* у дверей своего отдела.

— Ну, что, — спросил он, оглянувшись, — как самочувствие?

— Лучше б не спрашивали, товарищ Бомзе, — ответил тот. И, тоже оглянувшись, добавил: — Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности! Все одно и то же, пятилетка в четыре года, пятилетка в три года.

— Да, да, — зашептал Бомзе, — просто ужас какой-то. Я с вами совершенно согласен. Именно, никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, — и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив!

Тяжело вздохнув и трогая свою бороду, Бомзе двинулся навстречу другому служащему, *только что вернувшемуся из буфета.*

— Ну, что, — спросил он, заранее печально улыбаясь, — как самочувствие?

— Да вот, — сказал собеседник, — сегодня утром из командировки. Удалось повидать совхоз. Грандиозно! Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива!

— Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что! — с горячностью воскликнул Бомзе. — *Именно воля* коллектива! Пятилетка в четыре года, даже в три — вот *тот* стимул, который... *Да* возьмите наконец даже мою жену. *Сами понимаете, домашняя* хозяйка, — и та отдает должное индустриализации. Черт возьми! *На* глазах вырастает новая жизнь!

Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого *тов.* Борисохлебского и говорил:

— Вы правы. *Я* тоже так думаю. Зачем строить *магнитогорски*, совхозы, всякие комбайны, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность?

А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы.

— Ну, то есть то же самое я говорил только что товарищу Борисохлебскому, *что* плакать об индивидуальности, о личной жизни, когда на наших глазах растут зерновые фабрики, *магнитогорски*, всякие комбайны, бетономешалки, когда коллектив...

В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, *лицо* его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндом, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе.

Новый звонок, извещавший о конце аврала, вернул служащих в номера. Работа возобновилась.

Собственно говоря, слова «работа возобновилась» не имели отношения к прямой деятельности *ГЕРКУЛЕС'а*, заключавшейся по уставу в различных торговых операциях в области лесо- и пиломатериалов. Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых листах, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались *увлекательному* занятию: они боролись за *свое* помещение, за любимую свою гостиницу.

Все началось с маленькой бумажки, которую принес в брезентовой разносной книге ленивый скороход из *Коммунотдела*.

«С получением сего, — значилось в бумажке, — предлагается Вам в недельный срок освободить помещение *быв.* Гостиницы «Каир» и передать со всем *быв.* гостиничным инвентарем в ведение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение *быв.* акц. *об-ва* «Жесть и бекон» Основание: *Постановление* Горсовета от *14/II-29* г.».

Эту бумажку вечером положили на стол перед лицом товарища Полыхаева, сидевшего в электрической тени пальм и сикомор.

— Как! — нервно вскричал начальник *ГЕРКУЛЕС'а.* — Они пишут мне «предлагается»! Мне, подчиненному непосредственно центру! Да что они, с ума там посходили! А?

— Они бы еще написали «предписывается», — поддала жару Серна Михайловна. — Мужланы.

Немедленно же был продиктован ответ самого решительного характера. Начальник *ГЕРКУЛЕС'а* наотрез отказывался очистить помещение.

— Будут знать в другой раз, что я им не ночной сторож, и никаких «предлагается» мне писать нельзя! — бормотал товарищ Полыхаев, вынув из кармана резиновую печатку со своим факсимиле и в волнении оттиснув подпись вверх ногами.

И снова ленивый скороход, на этот раз геркулесовский, потащился по солнечным улицам, останавливаясь у квасных будок, вмешиваясь во все уличные скандалы и отчаянно размахивая разносной книгой.

Через три дня Серна Михайловна доложила о прибытии товарища из коммунотдела. Товарищ этот недавно только был переброшен из уезда в культурный центр и еще не понимал настоящего обращения. Он решил, во избежание бюрократической переписки, объясниться лично.

— Здорово! — сказал он, входя в пальмовый зал и задевая головой листья. — Что ты тут мудришь со своим помещением? Здание-то гостиничного типа, значит и должна быть гостиница. А ты переезжай в «Жесть и бекон». Помещение вполне удобное.

— Товарищ, — веско ответил начальник ГЕРКУЛЕС'а — я тебе не ночной сторож, я тебе не подчинен и помещения не дам. Действуй по дистанции, через центр. А то «предлагается», «предписывается». Только волокиту разводишь! А вот я на тебя в контрольный орган подам!

Нетактичный товарищ из Коммунотдела так удивился неожиданному повороту событий, что ушел, не прощаясь, и чуть не опрокинул при выходе какое-то колючее декоративное растение. И уже на другой день ГЕРКУЛЕС'у было велено немедленно покинуть гостиницу. Приказ был подписан председателем горисполкома.

— Это просто анекдот, — сказал Полыхаев, мрачно улыбаясь.

Целую неделю после этого геркулесовцы обсуждали создавшееся положение. Служащие сходились на том *мнении,* что Полыхаев не потерпит такого подрыва своего авторитета.

— Вы еще не знаете нашего Полыхаева, — говорили молодцы из финсчета. — Он мытый-перемытый. Его на голое постановление не возьмешь.

Молодцы не ошиблись.

Вскоре после этого товарищ Бомзе вышел из кабинета начальника, держа в руках списочек избранных сотрудников. Он шагал из отдела в отдел, наклонялся над *особой*, указанной в списке, и таинственно шептал:

— Маленькая *вечеринка*. По три рубля с души. Проводы Полыхаева.

— Как? — пугались избранные сотрудники. — Разве Полыхаев уходит? Снимают?

— Да нет. Едет на неделю в центр, хлопотать насчет помещения. Так смотрите не опаздывайте. Ровно в восемь, у меня.

Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели:

«Пей до дна, пей до дна, *пей до дна*, пейдодна, пей до дна, пейдодна», — *пели* до тех пор, покуда любимый начальник не осушил изрядного количества лафитничков и высоких севастопольских стопок, после чего в свою очередь колеблющимся голосом начал песню: «По старой калужской дороге, на сорок девятой версте». Однако никто не узнал, что произошло на этой версте, так как Полыхаев, неожиданно для всех, перешел на другую песню:

С неба звездочка упала
Че-ты-рех-угольная,
За кого ты замуж вышла,
Дура малахольная.

После отъезда Полыхаева производительность труда в *ГЕРКУЛЕС'е* слегка понизилась. Смешно было бы работать в полную силу, не зная, останешься ли в этом помещении или придется со всеми канцпринадлежностями тащиться в «Жесть и бекон». Но еще смешнее было бы работать в полную силу после возвращения Полыхаева. Он вернулся, как *говорил* Бомзе, на щите, помещение осталось за *ГЕРКУЛЕС'ом*, и сотрудники посвящали служебные часы насмешкам над коммунотделом.

Повергнутое учреждение просило отдать хотя бы умывальники и панцирные кровати; но возбужденный успехом Полыхаев даже не ответил. Тогда схватка возобновилась с новой силой. В центр летели жалобы. Опровергать их Полыхаев выезжал лично. Все чаще на квартире Бомзе слышалось победное «пейдодна» и все более широкие слои сотрудников втягива-

лись в работу по борьбе за помещение. Постепенно забывались лесо- и пиломатериалы. Когда Полыхаев находил вдруг у себя на столе бумажку, касающуюся экспортных кедров или диктовых листов, он так поражался, что некоторое время даже не понимал, чего от него хотят. Сейчас он был поглощен выполнением чрезвычайно важной задачи — переманивал к себе на высший оклад двух особенно опасных коммунотдельцев.

— Вам повезло, — говорил Остап своему спутнику, — вы присутствуете при замечательном событии: Остап Бендер идет по горячему следу. Учитесь властвовать собой. Мелкая уголовная сошка, вроде Паниковского, написала бы Корейке письмо: «Положите во дворе под мусорный ящик 600 рублей. Иначе будет плохо». И внизу пририсовала бы крест, череп и свечу. Соня Золотая Ручка, достоинств которой я отнюдь не желаю умалить, в конце концов прибегла бы к обыкновенному хипесу, что принесло бы ей тысячи полторы. Дело женское. Возьмем, наконец, корнета Савина. Аферист выдающийся! Как говорится, негде пробы ставить! А что сделал бы он? Приехал бы к Корейке на квартиру под видом болгарского царя, наскандалил бы в домоуправлении и испортил бы все дело. А я, как видите, не тороплюсь. Мы сидим в Черноморске уже неделю, а я только сегодня иду на первое свидание... Ага! Вот и финсчетный зал. Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Ведь вы специалист по Корейке.

Они вошли в гогочущий, наполненный посетителями зал, и Балаганов повел Бендера в угол, где за желтой перегородкой сидели Чеважевская, Корейко, Кукушкинд и Дрейфус. Балаганов уже поднял руку, чтобы указать ею миллионера, когда Остап сердито шепнул:

— Вы бы еще закричали во всю глотку: «Вот он, богатей! Держите его!» Спокойствие. Я угадаю сам. Который же из четырех.

Остап уселся на прохладный мраморный подоконник и, по-детски болтая ногами, принялся рассуждать.

— Девушка не в счет. Остаются трое: красномордый подхалим с белыми глазами, старичок-боровичок в железных очках и толстый барбос серьезнейшего вида. Старичка-боровичка я с негодованием отметаю. Кроме ваты, которой он заткнул свои мохнатые уши, никаких ценностей у него не имеется. Остаются двое: Барбос и белоглазый подхалим. Кто же из них Корейко? Надо подумать.

Остап вытянул шею и стал сравнивать кандидатов. Он так быстро вертел головой, словно следил за игрой в теннис, провожая взглядом каждый мяч.

— Знаете, бортмеханик, — сказал он наконец, — толстый барбос больше подходит к роли подпольного миллионера, не-

жели белоглазый подхалим. Вы обратите внимание на тревожный блеск в глазах барбоса. Ему не сидится на месте, ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он — собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. А тот *другой*, белоглазый, просто ничтожество, советский мышонок. У него, конечно, есть состояние — *12* рублей в сберкассе, *и п*редел его ночных грез — покупка волосатого пальто с телячьим воротником. *Это н*е Корейко. *Это мышь*, которая...

Но тут полная блеска речь великого комбинатора была прервана мужественным криком, который донесся из глубин финсчетного зала и, несомненно, принадлежал работнику, имеющему право кричать.

— Товарищ Корейко! Где же цифровые данные о задолженности нам *Коммунотдела?* Товарищ Полыхаев срочно требует!

Остап толкнул Балаганова ногой. Но барбос спокойно продолжал скрипеть пером. Его лицо, носившее характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и Скупого рыцаря, не *дрогнуло*. Зато красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил *необыкновенное* оживление. Он хлопотливо застучал ящиками стола, схватил какую-то бумажонку и быстро побежал на зов.

Великий комбинатор крякнул и испытующе посмотрел на Балаганова. *Первенец лейтенанта Шмидта, как видно, еще не научился властвовать над собой. Он* засмеялся.

— Да, — сказал Остап после некоторого молчания. — Этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Объект, достойный уважения. Теперь скорее на воздух! *Пора войти в соприкосновение с противником.* В моем мозгу родилась забавная комбинация. Сегодня вечером мы, с божьей помощью, впервые потрогаем господина Корейко за вымя! Трогать будете вы, Шура!

Глава двенадцатая

Теплая компания: Гомер, Мильтон и Паниковский

Инструкция была самая простая:

Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице.

Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия.

Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина.

Об исполнении донести.

Несмотря на исключительную простоту и ясность указаний, сделанных великим комбинатором, Балаганов и Паниковский завели жаркий спор. Сыновья лейтенанта сидели на зеленой скамейке в городском саду, значительно поглядывая на подъезд *ГЕРКУЛЕС'а*. Препираясь, они не замечали даже, что ветер, сгибавший пожарную струю фонтана, сыплет на них сеянную водичку. Они только дергали головами, бессмысленно смотрели на чистое небо и продолжали спорить. Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку *пожарника* ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.

— Только кража, — говорил он.

— Только ограбление, — возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора *и собирался блеснуть.*

— Вы жалкая, ничтожная личность, — заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.

— А вы калека, — заметил Балаганов. — Сейчас *я начальник.*

— Кто начальник?

— Я начальник. Мне поручено.

— Вам?

— Мне.

— Тебе?

— А кому же еще? Уж не тебе ли?

И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего *ни с кражей, ни с ограблением.* Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой!» Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.

Но драки не произошло. Когда наступил наиболее подходящий момент для нанесения первой пощечины, Паниковский вдруг убрал руки и согласился считать Балаганова своим непосредственным начальством. Вероятно, он вспомнил, что его часто били отдельные лица и целые коллективы и что при этом ему бывало очень больно. Захватив власть в свои руки, Балаганов сразу смягчился.

— Почему бы не ограбить? — сказал он менее настойчиво. — Разве так трудно? Корейко вечером идет по улице. Темно. Я подхожу с левой руки, *вы* подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: «Хулиган». Мне. «Кто хулиган?» — спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто хулиган, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морд... Нет, бить нельзя.

— В том-то и дело, что бить нельзя! — лицемерно вздохнул Паниковский. — Бендер не позволяет.

— Да я сам знаю!.. В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит «*Милиция!*», и тут я его... *ах* ты, черт возьми, нельзя бить!.. В общем, мы уходим домой. Ну, как план?

Но Паниковский уклонился от прямого ответа. Он взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:

— Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых...

И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.

— Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...

Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:

— Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?

Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался. Заметив это, Паниковский не стал мешкать.

— Поезжайте в Киев! — сказал он неожиданно. — И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев.

— Какой там Киев? — пробормотал Шура. — Почему?

— Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. *Спросите.*

— Что вы пристаете? — хмуро спросил Балаганов.

— Нет, вы спросите! — требовал Паниковский. — Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.

Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых серебряных звездочках, и показал синие очки.

— Вот этими очками, — сказал он со вздохом, — я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.

— Почему же вы бросили это дело? — спросил Балаганов, оживившись.

— Революция! — ответил бывший слепой. — Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа! Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры. И вот, Балаганов, на старости лет пришлось сделаться аферистом. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Это гораздо вернее ограбления.

Через пять минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов. Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад

плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, *стучал* палочкой *по водопроводному желобу*, натыкался на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого.

Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из геркулесовского подъезда не вышел Корейко. Балаганов заметался. Сначала он подскочил слишком близко к месту действия, потом отбежал слишком далеко. И лишь после всего этого занял удобную для *наблюдений* позицию у фруктового киоска. *Он почувствовал то самое наслаждение битвой, то героическое упоение, о котором с небрежной простотой рассказывают на вечеринках люди, якобы ходившие в штыковую атаку. Однако во* рту у него почему-то появился *препротивный* вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился.

Он увидел, что слепой повернулся *фронтоном* к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись несколькими словами. Затем Корейко улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам и задирал голову, будто он был взнуздан. Дальнейшие действия слепого отличались такой чистотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже *легкую* зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию. Его рука скользнула по левому боку Корейко и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика.

«Ну, ну! — шептал Балаганов. — Давай, старик, давай!»

Но в то же мгновение блеснули *какие-то* стекла, тревожно промычала груша, затряслась земля, и большой белый автобус, еле удержавшись на колесах, резко осадил на средине мостовой. Одновременно с этим раздались два крика.

— Идиот! Автобуса не видит! — визжал Паниковский, выскочив из-под колеса и грозя провожатому сорванными с носа очками.

— Он не слепой! — удивленно вскричал Корейко. — Ворюга!

Все заволокло синим дымом, автобус покатил дальше, и, когда бензиновая завеса разодралась, Балаганов увидел, что Паниковский окружен небольшой толпой граждан. Вокруг мнимого слепого началась какая-то возня. Балаганов подбежал поближе. По лицу Паниковского бродила безобразная улыбка. Он был странно безучастен ко всему происходящему, хотя *левое*

ухо его *стало* таким рубиновым, что, вероятно, светилось бы в темноте и при его свете можно было *бы проявлять* фотографические пластинки.

Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад».

Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал.

— Паниковского бьют! — закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.

— Уже? — деловито спросил Бендер. — Что-то очень быстро.

— Паниковского бьют! — с отчаянием повторил рыжий Шура. — Возле *ГЕРКУЛЕС'а.*

— Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? — строго сказал Остап. — Давно бьют?

— Минут пять.

— Так бы сразу сказали. Вот вздорный старик. Ну, пойдем, полюбуемся. По дороге расскажете.

Когда великий комбинатор прибыл к месту происшествия, Корейко уже не было, но вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо крякали, упершись в людской массив. Из окон амбулатории смотрели санитарки в белых халатах. Бегали собаки с выгнутыми сабельными хвостами. В городском саду перестал бить фонтан. Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу.

— Пардон, — говорил он, — еще пардон! Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло, *скорей* бегите, он еще там лежит*!* Пропустите экспертов, вы, мужчина. Пусти, тебе говорят, лишенец!

Применяя таким образом политику кнута и пряника, Остап пробрался к центру, где томился Паниковский. К этому времени при свете *правого* уха нарушителя конвенции тоже можно было бы производить *различного рода* фотографические работы. *Увидав* командора, Паниковский жалобно понурился.

— Вот этот? — сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину.

— Этот самый*!* — радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. — Своими глазами видели.

Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес:

— Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели*!* Записывайтесь!

Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле при слове «свидетели» все

правдолюбцы как-то поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она стала разваливаться на глазах.

— Где же свидетели? — повторил Остап.

Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид. Заскучавшие автомобили дали газу. Окна амбулатории захлопнулись. Собаки принялись внимательно осматривать основания тротуарных тумб, и в городском саду с нарзанным визгом снова поднялась струя фонтана.

Убедившись, что улица очищена и что Паниковскому уже не грозит опасность, великий комбинатор ворчливо сказал:

— Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший! Еще один великий слепой выискался — Паниковский! Гомер, Мильтон и Паниковский! Теплая компания! А Балаганов! Тоже — матрос с разбитого корабля! Паниковского бьют, Паниковского бьют! А сам!.. Идемте в городской сад. Я вам устрою сцену у фонтана!

У фонтана Балаганов сразу же переложил всю вину на Паниковского. Оскандалившийся слепой указывал на свои расшатанные в годы лихолетья нервы и кстати заявил, что во всем виноват Балаганов, личность, как известно, жалкая и ничтожная. Братья тут же принялись отпихивать друг друга ладонями. Уже послышались однообразные возгласы «А ты кто такой?», уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница генеральной драки, когда великий комбинатор, сказав «Брек!», развел противников, как судья на ринге.

— Боксировать будете по выходным дням, — промолвил он, — прелестная пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Однако, господа чемпионы, работники из вас, как из собачьего хвоста — сито. Это кончится плохо. Я вас уволю, тем более, что ничего социально ценного вы собою не представляете.

Паниковский и Балаганов, позабыв о ссоре, принялись божиться и уверять, что сегодня же к вечеру во что бы то ни стало обыщут Корейко. Бендер только усмехался.

— Вот увидите! — хорохорился Балаганов. — Нападение на улице! Под покровом ночной темноты! Верно, Михаил Самуэлевич?

— Честное слово, — поддержал Паниковский, — мы с Шурой... Не беспокойтесь. Вы имеете дело с Паниковским!

— Это меня и печалит, — сказал Бендер, — хотя, пожалуйста... Как вы говорите? Под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое.

— Идемте, Михаил Самуэлевич!

Балаганов взял Паниковского за руку, и оба быстро удалились, провожаемые задумчивым взглядом великого комбинатора.

Им повезло. После нескольких часов уличного дежурства объявились наконец все необходимые данные: покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома, где жил старый ребусник. Девушка *не входила в план, но братья-разбойники надеялись, что она где-нибудь отвалится.* Пока что пришлось последовать за гуляющими, которые направились к морю.

Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о счастье без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила с звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива. Когда он исчез, на его месте долго еще держался черный столб.

— Я устал, — хныкал Паниковский, тащась по обрывам за Александром Ивановичем и его дамой. — Я старый. Мне трудно.

Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. Ему хотелось на постоялый двор, к домовитому Козлевичу, с которым так приятно попить чаю и покалякать о всякой всячине.

И в *этот* момент, когда Паниковский твердо уже решил идти домой, предложив Балаганову довершить начатое дело одному, впереди *послышалось*:

— Как тепло! Вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Ну, тогда подождите здесь. Я только окунусь — и назад!

Послышался шум сыплющихся с обрыва камешков, белое платье исчезло, и Корейко остался один.

— Скорей! — шепнул Балаганов, дергая Паниковского за руку. — Значит, я захожу с левой стороны, а вы — справа. Только живее!

— Я — слева, — трусливо сказал нарушитель конвенции.

— Хорошо, хорошо, вы — слева. Я толкаю его в левый бок, нет, в правый, а вы жмете слева.

— Почему слева?

— Вот еще... Ну, справа! Он говорит: «*Хулиганы*», а вы отвечаете: «Кто хулиган?»

— Нет, вы первый отвечаете.

— Хорошо! Все Бендеру скажу! Пошли, пошли! Значит, вы слева!..

И доблестные сыны лейтенанта Шмидта, отчаянно труся, приблизились к Александру Ивановичу.

План был нарушен в самом же начале. Вместо того, чтобы, согласно диспозиции, зайти с правой стороны и толкнуть мил-

лионера в правый бок, Балаганов потоптался на месте и неожиданно сказал:

— Позвольте прикурить.

— Я не курю, — холодно ответил Корейко.

— Так, — глупо молвил Шура, озираясь на Паниковского. — А который час, вы не знаете?

— Часов двенадцать.

— Двенадцать, — повторил Балаганов. — Гм... Понятия не имел.

— Теплый вечер, — заискивающе сказал Паниковский.

Наступила пауза, во время которой неистовствовали сверчки. Луна побелела, и при ее свете можно было заметить хорошо развитые плечи Александра Ивановича. Паниковский не выдержал напряжения, зашел за спину Корейко и визгливо крикнул:

— Руки вверх!

— Что? — удивленно спросил Корейко.

— Руки вверх! — повторил Паниковский упавшим голосом.

В тот же час он получил короткий, очень болезненный удар в плечо и упал на землю. Когда он поднялся, Корейко уже сцепился с Балагановым. Оба тяжело дышали, словно перетаскивали рояль. Снизу донесся русалочий смех и плеск. *Дерущиеся стукались головами и оживленно молотили кулаками.*

— Что ж вы меня бьете? — надрывался Балаганов. — *Паниковский!..*

— Я тебе покажу, который час! — шипел Корейко, вкладывавший в свои удары вековую ненависть богача к грабителю.

Паниковский на четвереньках подобрался к месту побоища и сзади запустил обе руки в карманы *скромного* геркулесовца. Корейко лягнул его ногой, но было уже поздно. Железная коробочка от папирос «Кавказ» перекочевала из левого кармана в руки Паниковского. Из другого кармана посыпались на землю бумажонки и членские книжечки.

— Бежим! — крикнул Паниковский откуда-то из темноты.

Последний удар Балаганов получил *уже* в спину.

Через несколько минут *слегка* помятый и взволнованный Александр Иванович увидел высоко над собою две лунные, голубые фигуры. Они бежали по гребню горы *в направлении к городу.*

Свежая, пахнущая йодом Зося застала Александра Ивановича за странным занятием. Он стоял на коленях и, зажигая спички срывающимися пальцами, подбирал с травы бумажонки. Но, прежде чем Зося успела спросить, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящийся в камере хранения ручного багажа, между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом.

— Случайно выронил! — сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию.

О папиросной коробке «Кавказ» с десятью тысячами, которые он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город.

Он ужаснулся.

Нищий. Ночные телеграммы. Книга о миллионерах. Мнимый слепой. И наконец — нападение. Чертовщина продолжалась.

Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице, на виду у всего города, выпирает из рамок затеянного *им* дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской *вечерке объявление* «Сд. пр. ком. в уд. в. н. м. од. ин. хол.» и мигом сообразив, что объявление это означает — «Сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап подумал:

«Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно старгородский *ЗАГС* прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия О.Бендер. Что ж, придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната безусловно останется за мной».

И, натянув на себя прохладные белые брюки, великий комбинатор отправился по указанному в объявлении адресу.

Глава *тринадцатая*

Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции

Ровно в *16* часов *40* минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.

Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске *называются* также карпетками.

Поголодав минут двадцать в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой бок и посмотрел на жену. При этом зеленые карпетки описали в воздухе небольшую дугу. Жена бросала в крашеный дорожный мешок свое добро: фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и одно старое без хвоста, фетровый кивер со стеклянным полумесяцем, медные патроны с губной помадой и трикотажные рейтузы.

— Варвара! — сказал Лоханкин в нос.

Жена молчала, громко дыша.

— Варвара! — повторил он. — Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?

— Да, — ответила жена. — Я ухожу. Так надо.

— Но почему же, почему? — сказал Лоханкин с коровьей страстностью.

Его и без того крупные ноздри горестно зашевелились. Задрожала фараонская бородка.

— Потому что я его люблю.

— А я как же?

— Васисуалий! Я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю.

— Но я! Я же тебя люблю, Варвара.

— Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо.

— Нет! — воскликнул Лоханкин. — Не может один человек уйти, если другой его любит!

— Может, — раздраженно сказала Варвара, глядя в карманное зеркальце. — И вообще перестань дурить, Васисуалий.

— В таком случае, я продолжаю голодовку! — закричал несчастный муж. — Я буду голодать до тех пор, покуда ты не вернешься! День! Неделю! Год буду голодать!

Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.

— Так вот и буду лежать в подтяжках, — донеслось с дивана, — пока не умру. И во всем будешь виновата ты с *этим ничтожным* Птибурдуковым.

Жена подумала, *вздела* на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.

— Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!

Этого Лоханкин не снес. Он дернулся, словно электрический разряд пробил его во всю длину, от подтяжек до зеленых карпеток.

— Ты самка, Варвара, — тягуче заныл он. — Ты публичная девка!

— Васисуалий, ты дурак! — спокойно ответила жена.

— Волчица ты, — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом.

Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать.

— Васисуалий. Перестань паясничать! — сказала волчица, застегивая мешок. — Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся! Я ухожу. *Так надо.* Прощай, Васисуалий! Твою хлебную карточку я оставляю на столе.

И Варвара, подхватив мешок, пошла к двери. Увидев, что заклинания не помогли, Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу и с криком: «Спасите!» — порвал карточку. Варва-

ра испугалась. Ей представился муж, иссохший от голода, с затихшими пульсами и холодными конечностями.

— Что ты сделал? — сказала она. — Ты не смеешь голодать!

— Буду, — упрямо заявил Лоханкин.

— Это глупо, Васисуалий. Это бунт индивидуальности!

— И этим я горжусь! — ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. — Ты недооцениваешь *значение* индивидуальности и вообще интеллигенции.

— Общественность тебя осудит!

— Пусть осудит, — решительно сказал Васисуалий и снова повалился на диван.

Варвара молча швырнула мешок на пол, поспешно стащила с головы соломенный капор и, бормоча: «*Взбесившийся самец!*», «тиран» *и* «собственник», торопливо сделала бутерброд с баклажанной икрой.

— Ешь! — сказала она, поднося пищу к пунцовым губам мужа. — Слышишь, Лоханкин? Ешь сейчас же! Ну!

— Оставь меня, — сказал он, отводя руку жены.

Пользуясь тем, что рот голодающего на мгновение открылся, Варвара ловко *втиснула* бутерброд в отверстие, образовавшееся между фараонской бородкой и подбритыми московскими усиками. Но голодающий сильным ударом языка *вытряхнул* пищу наружу.

— Ешь, негодяй! — в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. — Интеллигент!

Но Лоханкин отводил лицо *от бутерброда* и отрицательно мычал. Через несколько минут *разгорячившаяся и вымаранная* зеленой икрой Варвара отступила. Она села на свой мешок и заплакала ледяными слезами.

Лоханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный, косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения: большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, к каковой социальной прослойке он причислял и себя. *Так что* продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме: «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма» *и* «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на *варварины* деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки *брокгаузского* энциклопедического словаря. Подолгу стаивал Васисуалий перед шкафом, переводя взоры с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись там дивные об-

разцы переплетного искусства: *большая* медицинская энциклопедия, «Жизнь животных» *Брэма, гнедичевская «История искусств»*, пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю.

«Рядом с этой сокровищницей мысли, — неторопливо думал Васисуалий, — делаешься чище, как-то духовно растешь».

Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа «Родину» за 1899 год в переплете цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы под названием: «Вот как я увеличила свой бюст на шесть дюймов» *и* прочие интересные *штуки.*

С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества.

Вечером пришел Птибурдуков. Он долго не решался войти в комнаты Лоханкиных и мыкался по кухне среди длиннопламенных примусов и протянутых накрест веревок, на которых висело сухое гипсовое белье с подтеками синьки. Квартира оживилась. Хлопали двери, проносились тени, светились глаза жильцов, и где-то страстно вздохнули: *«Мужчина пришел».*

Птибурдуков снял фуражку, дернул себя за инженерский ус и, наконец, решился.

— Варя, — умоляюще сказал он, входя в комнату, — мы же условились...

— Полюбуйся, Сашук! — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. — Вот он! Лежит! Самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот *барбос* объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!

Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб.

— Птибурдуков, тебя я презираю, — заныл он. — Жены моей касаться ты не смей, *ты* хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?..

— Товарищ Лоханкин! — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватаясь за усы.

— Уйди, уйди, тебя я ненавижу, — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, — ты гнида жалкая и мерзкая притом! Не инженер ты — хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!

— Как вам не стыдно, Васисуалий Андреич, — сказал заскучавший Птибурдуков, — даже просто глупо. Ну, подумайте, что вы делаете? На втором году пятилетки...

— Он мне посмел сказать, что это глупо! Он, он, жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то *тебе* по вые, по шее то есть, вам я надаю.

— Больной человек, — сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.

Но Варваре эти рамки были тесны. Она схватила со стола уже засохший зеленый бутерброд и подступила к голодающему. Лоханкин защищался с таким отчаянием, словно бы его собирались кастрировать. *Совестливый* Птибурдуков отвернулся и смотрел в окно на конский каштан, цветущий белыми свечками. Позади себя он слышал отвратительное мычание Лоханкина и крики Варвары: «Ешь, подлый человек! Ешь, крепостник!»

На другой день, расстроенная неожиданным препятствием, Варвара не пошла на службу. Голодающему стало хуже.

— Вот уже и рези в желудке начались, — *сообщал* он *печально*, — а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов...

Птибурдуков привел брата — военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя. Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. *Не* исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме *Лоханкина*. Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется *даже* купаться в море и ездить на велосипеде.

Но больной не думал вводить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих разносолов. Он не пошел к морю купаться, а продолжал лежать на диване, осыпая окружающих бранчливыми ямбами. Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает, — размышляла она с *удовлетворением*, — какая все-таки страсть! Способен ли Сашук на такое высокое чувство?» И она бросала беспокойные взгляды *на Сашука*, вид которого показывал, что любовные переживания не *мешают* ему регулярно вводить в организм обеды и ужины. И даже один раз, когда Птибурдуков вышел из комнаты, она назвала Васисуалия *бедненьким*. При этом у рта *Васисуалия* снова появился *бутерброд*.

«Еще немного выдержки, — подумал Лоханкин, — и не видать Птибурдукову моей Варвары».

Он с удовольствием прислушивался к голосам из соседней комнаты.

— Он умрет без меня, — говорила Варвара, — придется нам подождать. Ты же видишь, что я сейчас не могу уйти.

Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно. На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась.

Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая *пробочка* от пузырька с одеколоном «Турандот». Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати, и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притопывал ногой в зеленом чулке и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена.

— Лоханкин! — сказала она ужасным голосом.

От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.

— Варвара! — сказал он в нос. — Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?

Ответа не было.

— Волчица ты, — неуверенно объявил Лоханкин, — тебя я презираю, к Птибурдукову ты уходишь от меня...

Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.

И в жизни Васисуалия Андреевича наступил период мучительных дум и моральных страданий. Есть люди, которые не умеют страдать, как-то не выходит. А если уж и страдают, то стараются проделать это как можно быстрее и незаметнее для окружающих. Лоханкин же страдал открыто, величаво, он хлестал свое горе чайными стаканами, он упивался им. Великая скорбь давала ему возможность лишний раз поразмыслить о значении русской интеллигенции, а равно о трагедии русского либерализма.

«А может быть, так надо, — думал он, — может быть, это искупление и я выйду из него очищенным. Не такова ли судьба

всех, стоящих выше толпы, людей с тонкой конституцией. Галилей! Милюков! А.Ф.Кони! Да, да. Варвара права, так надо!»

Душевная депрессия не помешала ему, однако, дать в газету объявление о сдаче внаем второй комнаты.

«Это все-таки материально поддержит меня на первых порах», — решил Васисуалий.

И снова погрузился в туманные соображения о страданиях плоти и значении души, как источника прекрасного. От этого занятия его не могли отвлечь даже настоятельные указания соседей на необходимость тушить за собой свет в уборной. Находясь в расстройстве чувств, Лоханкин постоянно забывал это делать, что очень возмущало экономных жильцов.

Между тем *жильцы* большой коммунальной квартиры номер три, в которой обитал Лоханкин, считались людьми своенравными и известны были всему дому частыми скандалами. Квартиру номер три прозвали даже «Вороньей слободкой». Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели «Вороньей слободки» объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта, и плохо приходилось такому квартиранту. Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры *и в* камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный *квартирант в* поисках правды, добираясь до самого всесоюзного старосты, товарища Калинина. И до самой своей смерти квартирант будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не «наказывается», а «наказуется», не «поступок», а «деяние». *Себя* будет называть не «товарищ Жуков», как положено ему со дня рождения, а «потерпевшая сторона». Но чаще всего и с особенным наслаждением он будет произносить выражение «вчинить иск». И жизнь его, которая и прежде не текла молоком и медом, станет совсем уж дрянной.

Задолго до семейной драмы Лоханкиных летчик Севрюгов, к *несчастью* своему, проживавший в *буйной* квартире номер три, вылетел по срочной командировке Осоавиахима за Полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь, коротковолновики наполняли эфир *позывными*, и польская газета «Курьер *Поранный*», близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения

Польши до *границ* 1772 года. Целый месяц *жилец квартиры номер три* летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире.

Наконец Севрюгов совершил то, что *совершенно* сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам. При этом известии земной шар переполнился криками *восторга.* Имя Севрюгова произносилось на трехстах двадцати языках и наречиях, включая сюда язык черноногих индейцев, портреты Севрюгова в звериных шкурах появились на каждом свободном листке бумаги. В беседе с представителями печати Габриэль д'Аннунцио заявил, что только что закончил новый роман и сейчас же вылетает на поиски отважного русского. Появился чарльстон: «Мне тепло с моей крошкой на полюсе». И старые московские халтурщики *Усышкин*-Вертер, Леонид Трепетовский и Борис Аммиаков, издавна практиковавшие литературный демпинг и выбрасывавшие на рынок свою продукцию по бросовым ценам, уже писали обозрение под *названием* «А вам не холодно?». Одним словом, наша планета переживала великую сенсацию.

Но еще большую сенсацию вызвало это сообщение в квартире номер три, находящейся в доме номер восемь по Лимонному переулку и известной больше под именем «Вороньей слободки».

— Пропал наш квартирант! — радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом *валяный* сапог. — Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

— Долетался, желтоглазый! — бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. — Вот и комната освободилась, площадь.

Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей «Вороньей слободки». О комнате пропавшего летчика заговорили все: и *бывший князь*, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гигиенишвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша — торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховейко, *бывший* камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд.

— Что ж, — сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня *наполнилась* жильцами, — раз товарищ исчез, надо делить. Я, например, давно имею право на дополнительную площадь.

— Почему ж мужчине площадь? — возразила коечница Дуня. — Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтоб мужчина вдруг пропал.

И долго она еще *толкалась* между собравшимися, приводя различные доводы в свою пользу и часто произнося слово «*мущина*».

Во всяком случае, жильцы сходились на том, что комнату нужно забрать немедленно.

В тот же день мир задрожал от новой сенсации. Смелый Севрюгов нашелся. Нижний Новгород, Квебек и Рейкьявик услышали позывные Севрюгова. Он сидел с подмятым шасси на *84* параллели. Эфир сотрясался от сообщений: «Смелый русский чувствует себя отлично», «Севрюгов шлет рапорт президиуму Осоавиахима», «Чарльз Линдберг считает Севрюгова лучшим летчиком в мире», «Семь ледоколов вышли на помощь Севрюгову и обнаруженной им экспедиции». В промежутках между этими сообщениями газеты печатали только фотографии каких-то ледяных кромок и берегов. Без конца слышались слова: «Севрюгов, Нордкап, параллель, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, Кингсбей, пимы, горючее, Севрюгов».

Уныние, охватившее при этом известии «Воронью слободку», вскоре сменилось спокойной уверенностью. Ледоколы продвигались медленно, с трудом разбивая ледяные поля.

— Отобрать *комнату и* все! — говорил Никита Пряхин. — Ему хорошо там на льду сидеть, а тут, например, Дуня все права имеет. Тем более по закону жилец не имеет права больше двух месяцев отсутствовать.

— Как вам не стыдно, гражданин Пряхин! — возражала Варвара, в то время еще Лоханкина, размахивая «Известиями». — Ведь это герой! Ведь он сейчас на *84* параллели...

— Что еще за параллель такая, — смутно отзывался Митрич, — может, *никакой такой* параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались.

Митрич говорил сущую правду. В *гимназиях* он не обучался. Он окончил Пажеский корпус.

— Да вы поймите! — кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. — Вот статья. Видите? «Среди торосов и айсбергов».

— Айсберги! — говорил Митрич насмешливо. — Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Верно Пряхин гово-

рит. Отобрать — и все. Тем более что вот и Люция Францевна подтверждает насчет закона.

— А вещи на лестницу выкинуть, к чертям собачьим! — грудным голосом воскликнул бывший князь, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гигиенишвили.

Варвару быстро заклевали, и она побежала жаловаться мужу.

— А может, так надо, — ответил муж, поднимая фараонскую *бородку*, — может, устами простого мужика Митрича говорит великая сермяжная правда. Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение...

В тот великий день, когда ледоколы достигли наконец палатки Севрюгова, гражданин Гигиенишвили взломал замок на севрюговской двери и выбросил в коридор все имущество героя, в том числе висевший на стене красный пропеллер. В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к себе за плату шестерых коечников. На завоеванной площади всю ночь длился пир. Никита Пряхин играл на гармонии, и камергер Митрич плясал *русскую* с пьяной тетей Пашей.

Будь у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжничества, и до самой своей смерти называл бы он себя не «отважным Севрюговым», не «ледовым героем», а «потерпевшей стороной». Но на этот раз «Воронью слободку» основательно прищемили. Комнату вернули (Севрюгов вскоре переехал в новый дом), а бравый Гигиенишвили за самоуправство просидел в тюрьме четыре месяца и вернулся оттуда злой как черт.

Именно он сделал осиротевшему Лоханкину первое представление о необходимости регулярно тушить за *собой* свет, покидая уборную. При этом глаза у него были решительно дьявольские. Рассеянный Лоханкин не оценил важности демарша, предпринятого гражданином Гигиенишвили, и таким образом проморгал начало конфликта, который привел вскоре к ужасающему, небывалому даже в жилищной практике, событию.

Вот как обернулось это дело. Васисуалий Андреевич по-прежнему забывал тушить свет в помещении общего пользования. Да и мог ли он помнить о таких мелочах быта, когда ушла жена, когда остался он без копейки, когда не было еще точно уяснено все многообразное значение русской интеллигенции. Мог ли он думать, что жалкий бронзовый светишко восьмисвечовой лампы вызовет в соседях такое большое чувство. Сперва его предупреждали по нескольку раз в день. Потом прислали письмо, составленное Митричем и подписанное всеми жильцами. И, наконец, перестали предупреждать и уже не слали

писем. Лоханкин еще не постигал значительности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться.

Во вторник вечером прибежала тетипашина девчонка и одним духом отрапортовала:

— Они последний раз говорят, чтоб тушили.

Но как-то так случилось, что Васисуалий Андреевич снова забылся, и лампочка продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира вздохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражданин Гигиенишвили. Он был в голубых полотняных сапогах и в плоской шапке из коричневого барашка.

— Идем, — сказал он, маня Васисуалия пальцем.

Он крепко взял его за руку и повел по темному коридору, где Васисуалий Андреевич почему-то затосковал и стал даже легонько брыкаться, и ударом по спине вытолкнул его на середину кухни. Уцепившись за бельевые веревки, Лоханкин удержал равновесие и испуганно оглянулся. Здесь собралась вся квартира. В молчании стояла здесь Люция Францевна Пферд. Фиолетовые химические морщины лежали на властном лице ответственной съемщицы. Рядом с нею, пригорюнившись, сидела на плите пьяненькая тетя Паша. Усмехаясь, смотрел на оробевшего Лоханкина босой Никита Пряхин. С антресолей свешивалась голова ничьей бабушки. Дуня делала знаки Митричу. Бывший камергер двора *его императорского величества* улыбался, пряча что-то за спиной.

— Что? Общее собрание будет? — спросил Васисуалий Андреевич тоненьким голосом.

— Будет, будет, — сказал Никита Пряхин, приближаясь к Лоханкину. — *Все* тебе будет. Кофе тебе будет, какава. Ложись! — закричал он вдруг, дохнув на Васисуалия не то водкой, не то скипидаром.

— В каком смысле ложись? — спросил Васисуалий Андреевич, начиная дрожать.

— А что с ним говорить, с нехорошим человеком, — сказал гражданин Гигиенишвили.

И, присев на корточки, принялся шарить по талии Лоханкина, отстегивая подтяжки.

— На помощь! — шепотом сказал Васисуалий, устремляя безумный взгляд на Люцию Францевну.

— Свет надо было тушить, — сурово ответила гражданка Пферд.

— Мы не буржуи электрическую энергию зря жечь, — добавил камергер Митрич, окуная что-то в ведро с водой.

— Я не виноват, — запищал Лоханкин, вырываясь из рук бывшего князя, а ныне трудящегося Востока.

— Все не виноваты, — бормотал Никита Пряхин, придерживая трепещущего жильца.

— Я же ничего такого не сделал.

— Все ничего такого не сделали.

— У меня душевная депрессия.

— У всех душевная.

— Вы не смеете меня трогать. Я малокровный.

— Все, все малокровные.

— От меня жена ушла! — надрывался Васисуалий.

— У всех жена ушла, — отвечал Никита Пряхин.

— Давай, давай, Никитушко, — хлопотливо молвил камергер Митрич, вынося к свету мокрые, блестящие розги, — *за* разговорами до свету не справимся.

Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились. *Гражданин* Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко *пискнула* в воздухе.

— Мамочка! — *завизжал* Васисуалий.

— У всех мамочка! — наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом.

И тут Васисуалий вдруг замолчал.

«А может, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, — *может*, именно в этом искупление, очищение, великая жертва».

И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького», — Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.

Последним взял розги Митрич.

— Дай-кось, я попробую, — сказал он, занося руку. — Надаю ему лозанов по филейным частям.

Но Лоханкину не пришлось отведать камергерской лозы. В дверь черного хода постучали. Дуня бросилась открывать. (Парадный ход «Вороньей слободки» был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната.)

— Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает, — сказала Дуня как ни в чем не бывало.

И все действительно увидели стоявшего в дверях незнакомого мужчину в белых джентльменских брюках. Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру.

— Я вам не помешал? — учтиво спросил великий комбинатор, щурясь.

— Да, да, — пролепетал Лоханкин, шаркая *ножками*, — видите ли, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят... Но... кажется... я уже освободился?..

И он искательно посмотрел по сторонам. Но в кухне уже не было никого, кроме тети Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу валялись отдельные прутики и белая полотняная пуговица с двумя дырочками.

— Пожалуйте ко мне.

— А может быть, я вас все-таки отвлек? — спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. — Нет? Ну, хорошо. Так это у вас «Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол.»? А она на самом деле «пр.» и имеет «в.уд.»?

— Совершенно верно, — оживился Васисуалий, — прекрасная комната, все удобства. И недорого возьму. Пятьдесят рублей в месяц.

— Торговаться я не стану, — вежливо сказал Остап, — но вот соседи... Как они?

— Прекрасные люди, — ответил Васисуалий, — и вообще все удобства. И цена дешевая.

— Но ведь они, кажется, ввели *в этой квартире* телесные наказания?

— Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!

— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

— Из пятого, — ответил Лоханкин.

— Золотой класс! Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? Впрочем, мне все равно. *Завтра* я к вам переезжаю.

— А задаток? — спросил бывший гимназист.

— Вы не в церкви, вас не обманут, — *весело* сказал великий комбинатор. — Будет и задаток. С течением времени.

Глава четырнадцатая

Первое свидание

Когда Остап вернулся в гостиницу «Карлсбад» и, отразившись несчетное число раз в вестибюльных, лестничных и коридорных зеркалах, которыми так любят украшаться подобного рода учреждения, вошел к себе, его смутил господствовавший в номере беспорядок. Красное плюшевое кресло лежало кверху куцыми ножками, обнаруживая непривлекательную джутовую изнанку. Бархатная скатерть с позументами съехала со стола. Даже картина «Явление Христа народу» и та покосилась набок, потерявши в этом виде большую часть поучительности, которую вложил в нее художник. С балкона дул свежий пароходный ветер, передвигая разбросанные по кровати денежные знаки. Между ними валялась железная коробка от папирос «Кавказ». На ковре, сцепившись и выбрасывая ноги, молча катались Паниковский и Балаганов.

Великий комбинатор брезгливо перешагнул через дерущихся и вышел на балкон. Внизу, на бульваре, безумно лепетали гуляющие, *перемалывая* под ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватером ревел и чего-то требовал невидимый пароход, вероятно, просился в гавань.

Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»

— Не поделились? — спросил *Остап*, задергивая портьеру.

Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.

— Ну, довольно, — молвил Остап, — *не* стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна. Так вы говорите, с ним была девушка? Это хорошо. Итак, маленький служащий запросто носит в кармане... вы, кажется, уже посчитали? Сколько там? Ого! Десять тысяч! *Жалование* господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги? Продолжайте, продолжайте, я посмотрю.

— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с *половиной* тысячи.

И, разложив деньги на четыре *одинаковые* кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал *Большой Королевский* пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая *и* совсем грязная.

— Нам с вами по четыре тысячи, — сказал он Бендеру, — а Балаганову две. Он и на две не наработал.

— А Козлевичу? — спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.

— За что же Козлевичу? — завизжал Паниковский. — Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!

— Все? — спросил великий комбинатор.

— Все, — ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. — Какой может быть в этот момент Козлевич?

— А теперь буду делить я, — по-хозяйски сказал Остап.

Он не спеша соединил кучки воедино, сложил деньги в железную коробочку, *а коробочку засунул в* карман белых *джентльменских* брюк.

— Все эти деньги, — заключил он, — будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Вам нравится такой способ дележки?

— Нет, не нравится! — вырвалось у Паниковского.

— Бросьте шутить, Бендер! — недовольно сказал Балаганов. — Надо разделить по справедливости.

— Этого не будет, — холодно сказал Остап. — И вообще, в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь.

Паниковский всплеснул старческими лиловатыми ладонями. Он с ужасом посмотрел на великого комбинатора, отошел в угол и затих. Изредка только сверкал оттуда золотой зуб нарушителя конвенции.

У Балаганова сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце, лицо.

— Зачем же мы работали? — сказал он, отдуваясь. — Так нельзя. Это... *Объясните...*

— Вам, — вежливо сказал Остап, — любимому сыну лейтенанта, я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. В мои четыреста честных способов отъема денег ограбление не входит, как-то не укладывается. И потом мы прибыли сюда не за десятью тысячами. Этих тысяч мне лично нужно по крайней мере пятьсот.

— Зачем же вы послали нас? — спросил Балаганов, остывая. — Мы старались...

— Иными словами, вы хотите спросить, известно ли достопочтенному командору, с какой целью он предпринял последнюю операцию? На это отвечу — да, известно. Дело в том...

В эту минуту в углу потух золотой зуб. Паниковский развернулся, опустил голову и с *криком* «А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком *собранного* каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место и продолжал:

— Дело в том, Шура, что это была проверка. У служащего с сорокарублевым *жалованием* оказалось в кармане десять тысяч рублей, что несколько странно и дает нам большие шансы, позволяет, как говорят марафоны и беговые жуки, надеяться на куш. Пятьсот тысяч — это безусловно куш. И получим мы его так. Я возвращу *Корейке* десять тысяч, и *он возьмет*. Хотел бы я видеть человека, который не взял *бы своих* денег. И вот

тут ему придет конец. Его погубит жадность. И едва только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого, и отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И тут, Шура, на сцену *появится* некая тарелочка с *некоей* каемкой...

— Правильно! — воскликнул Балаганов. — *Замечательно!*

В углу плакал Паниковский.

— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

— Обратитесь во Всемирную *Лигу Сексуальных Реформ*, — сказал Бендер. — Может быть, там *вам* помогут.

— Меня никто не любит, — продолжал Паниковский, содрогаясь.

— А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет *о* вас в газете: «Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»

— Не говорите так! — закричал перепугавшийся Паниковский. — Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас *всех продаст* и купит. Отдайте мои деньги!

— Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю!

— Буду! — ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы.

Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной.

В Черноморском порту легко поворачивались краны, *спуская* стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев, и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием *для Тракторстроя*. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. На севере взошла Краснопутиловская звезда, *за* нею зажглось великое множество звезд первой величины. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо.

И молодой человек, *засидевшись* с любимой в рабочем клубе, торопливо зажигал электрифицированную карту пятилетки и шептал:

— Посмотри, вон красный огонек. Там будет Сибкомбайн. Мы поедем туда. Хочешь?

И любимая тихо смеялась, высвобождая руки.

Ночь, ночь, ночь, как уже было сказано, лежала над всей страной.

Стонал во сне *монотонно* Хворобьев, которому привиделась огромная профсоюзная книжка. В поезде, на верхней полке, храпел инженер Талмудовский, кативший из Харькова в Ростов, куда манил его лучший оклад *жалования*. Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, увозя на *«сухую»* родину рецепт прекрасного пшеничного самогона. Ворочался на своем диване Васисуалий Лоханкин, потирая рукой пострадавшие места. Старый ребусник Синицкий зря жег электричество, сочиняя для журнала «Водопроводное дело» загадочную картинку: «Где председатель этого общего собрания рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции?» При этом он старался не шуметь, чтобы не разбудить Зосю. Полыхаев лежал в постели с Серной Михайловной. Прочие геркулесовцы спали тревожным сном в разных частях города. Александр Иванович Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно. Что делали Бендер, Балаганов и *Паниковский уже* известно. И только о Козлевиче, водителе и собственнике *Антилопы-Гну* ничего сейчас не будет сказано, хотя уже стряслась с ним беда чрезвычайно политичного свойства.

Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. По дороге он задирал молочниц, ибо час этих оборотистых женщин уже наступил, в то время как час служащих еще не начинался, и мурлыкал слова романса: «И радость первого свиданья мне не волнует больше кровь». Великий комбинатор немного кривил душой. Первое *свиданье* с миллионером-конторщиком возбуждало его. Войдя в дом № 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь.

Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Он был в сетке-безрукавке и успел *уже* надеть *вдовьи* брюки мелкого служащего. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в дореволюционное время в сиротских приютах и тому подобных организациях, состоявших под покровитель-

ством императрицы Марии Федоровны. Здесь находились три предмета: железная лазаретная кроватка, кухонный стол с дверцами, снабженными деревянной щеколдой, какой обычно запираются дачные сортиры, и облезший венский стул. В углу лежали гантели и среди них две больших гири, утеха тяжелоатлета.

При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед.

— Гражданин Корейко? — спросил Остап, лучезарно улыбаясь.

— Я, — ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти.

— Александр Иванович? — осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее.

— Точно так, — подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно.

После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что: и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти.

Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано «играть быстро», на второй — «очень быстро», на третьей — «гораздо быстрее», на четвертой — «быстро как только возможно», *а* все-таки на пятой — «еще быстрее».

Увидев, что Корейко достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу:

— А ведь я к вам с поручением, — сказал он, становясь серьезным.

— Пожалуйста, пожалуйста, — заметил Александр Иванович, *также затуманиваясь.*

— Хотим вас обрадовать.

— Любопытно будет узнать.

И, безмерно грустя, Бендер полез в карман. Корейко следил за его действиями с совсем уже похоронным лицом. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал:

— Ровно десять тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении.

— Вы ошиблись, товарищ, — сказал Корейко очень тихо, — какие десять тысяч? Какая расписка?

— Как какая! Ведь вас вчера ограбили!

— Меня никто не грабил.

— Да как же не ограбили! — разволновался Остап. — Вчера у моря. И забрали десять тысяч. Грабители арестованы. Пишите расписку.

— Да, ей-богу же, меня никто не грабил, — сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. — Тут явная ошибка.

Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александра Ивановича и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. Корейко пожимал плечами, предупредительно улыбался, но денег не брал.

— Значит, вас не ограбили?

— Никто меня не грабил.

— И десять тысяч у вас не брали?

— Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?

— Верно, верно, — сказал Остап, поостыв. — Откуда у мелкого служащего такая уйма денег! Значит, у вас все в порядке?

— Все, — ответил миллионер с чарующей улыбкой.

— И желудок в порядке? — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.

— В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.

— И тяжелые сны не мучат?

— Нет, не мучат.

Дальше по части улыбок все пошло совсем как у Листа: быстро, очень быстро, гораздо быстрее, быстро как только возможно и даже еще быстрее. Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.

— Фуражечку милицейскую не забудьте, — говорил Александр Иванович, — она на столе осталась.

— Не ешьте на ночь сырых помидор, — советовал Остап, — чтоб не причинить вреда желудку.

— Всего хорошего, — говорил Корейко, радостно откланиваясь.

— До свидания, до свидания, — ответствовал Остап, — интересный вы человек. Все у вас в порядке. С таким счастьем — и на свободе!

И, все еще неся на лице ненужную улыбку, великий комбинатор выскочил на улицу. Несколько кварталов он прошел скорым шагом, позабыв о том, что на голове его сидит офици-

альная фуражка с гербом города Киева, совершенно неуместным в городе Черноморске. И только очутившись в толпе почтенных стариков, гомонивших напротив крытой веранды нарпитовской столовой № 68, он опомнился и принялся спокойно взвешивать шансы.

Пока он предавался своим размышлениям, рассеянно прогуливаясь взад и вперед, старики продолжали заниматься ежедневным своим делом.

Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах *«канотье»*. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы. И, уж конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой № 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». *Местную* прессу они не уважали. *И* все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о *«Порто-Франко»* до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый *угол кафе* «Флорида».

— Читали про конференцию по разоружению? — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. — Выступление графа Бернсторфа?

— *О-о, Бернсторф это* голова! — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. — А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?

— Ну, о чем говорить! Сноуден — это голова. Слушайте, Валиадис, — обращался он к третьему старику в панаме. — Что вы скажете насчет Сноудена?

— Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

— Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Чемберлен все-таки тоже голова.

Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен *все-таки* тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.

— Бриан! — говорили они с жаром. — Вот это голова! Он со своим проектом *Пан*-Европы...

— Скажу вам откровенно, мосье Фунт, — шептал Валиадис, — все в порядке. Бенеш уже согласился на *Пан*-Европу, но знаете, при каком условии?

Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.

— При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш — это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы *их* и будем покупать.

При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать.

— Бриан — это голова, — сказали *все*, вздыхая. — *И Бенеш тоже* голова.

Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. *Привязной галстух* его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.

— А я вам говорю, — кричал старик в ухо великому комбинатору, — что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку. Слышите?

Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.

— *Муссолини, хотя и хулиган, но голова!* — *слышал Остап за своей спиной.* — *Гувер — это голова!..*

К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное *гуляние* в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, — ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал четыреста первый способ.

«Взять крепость неожиданной атакой не удалось, — думал он, — придется начать правильную осаду. Самое главное установлено. Деньги у подзащитного есть. И, судя по тому, что он не моргнув отказался от десяти тысяч, *деньги* огромные. Итак, ввиду недоговоренности сторон, заседание продолжается».

Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками.

— Ну? — спросили в один голос истомленные желанием Балаганов и Паниковский.

Остап молча прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись:

«Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 года. Окончено .... го дня 193... г.».

— Что там внутри? — спросил любопытный Паниковский.

— О! — сказал Остап. — Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, *жена-графиня,* собственный *биллиард*, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги.

И он раскрыл *папку* перед изумленными антилоповцами.

Она была пуста.

Глава *пятнадцатая*

Рога и копыта

Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, владелец галантерейного магазина, расположенного наискось от кино «Капиталий». Он безмятежно торговал бельем, кружевными прошвами, галстуками, *подвязками* и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он полез в буфет, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в одну точку, медленно сжевал все полкило. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на столе, жена испуганно спросила:

— Что случилось, Боря?

— Несчастье, — ответил он, запихивая в рот *третье* резиновое яйцо. — Меня ужасно *обложили*. Ты даже себе не можешь представить!

— Почему же ты так много ешь?

— Мне надо развлечься, — отвечал частник, — *мне* страшно.

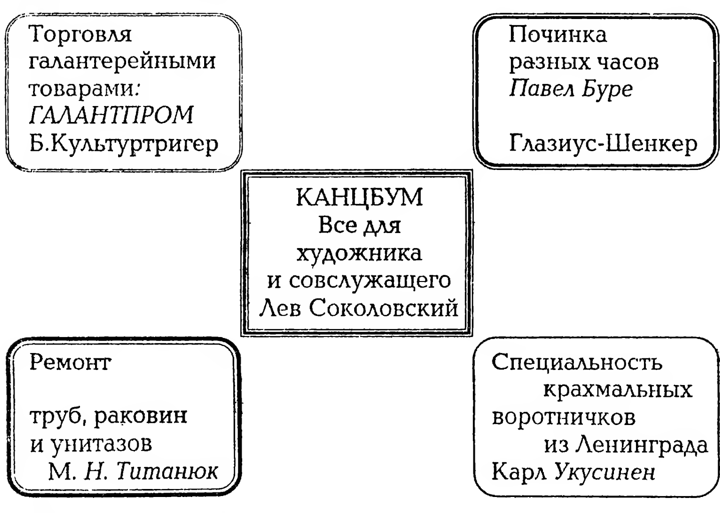
И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифоньеров было восемь штук, и ел. Он съел все, что было в доме. Ему было страшно.

На другой день он сдал полмагазина под торговлю писчебумажными принадлежностями. Теперь в *одном окне магазина* помещались галстуки и подтяжки, а в *другом* висел на двух веревочках огромный желтый карандаш.

Потом настали времена еще более лихие. В магазине появился третий совладелец. Это был часовых дел мастер, *потеснивший* карандаш в сторону и занявший половину окна бронзовыми часами с фигурой Психеи, но без минутной стрелки. И напротив бедного галантерейщика, который не переставал уже иронически улыбаться, сидел, кроме постылого карандашника, еще и часовщик с воткнутой в глаз черной лупой.

Еще дважды посетило галантерейщика горе-*злосчастие*. В магазин дополнительно въехали водопроводный мастер, который тотчас же зажег какой-то паяльный примус, и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от рождества Христова население Черноморска набросится на его товар — крахмальные воротнички.

И когда-то гордая, спокойная вывеска галантерейщика приобрела мерзкий вид:



Покупатели и заказчики со страхом входили в некогда благоухавший магазин. Часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами, сидел под часами, в числе коих были одни башенные. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей. Карл *Укусинен* стриг свои воротнички ножницами, коротая время в ожидании заказчиков. И не успевал обходительный Б.Культур-

тригер спросить покупательницу: «Что вы хотели?», как водопроводчик *Титанюк* с грохотом ударял молотком по ржавой трубе, и сажа от паяльной лампы садилась на нежный галантерейный товар.

В конце концов странный комбинат частников развалился, и Карл *Укусинен* уехал на извозчике во мглу, увозя свой *несозвучный* эпохе товар. За ним *канули ГАЛАНТПРОМ и КАНЦБУМ*, за которыми гнались конные фининспектора. *Титанюк* спился. Глазиус-Шенкер ушел в часовой коллектив «*Новое Время*». Гофрированные железные шторы со стуком упали. Исчезла и занятная вывеска.

Вскоре, однако, шторы снова поднялись, и над бывшим ковчегом *частника* появилась небольшая опрятная таблица:

Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт

Праздный черноморец, заглянув в магазин, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли, пол был чисто вымыт, стояли яичные конторские столы, а на стенах висели обыкновенные учрежденские плакаты насчет часов приема и вредности рукопожатий. Новоявленное *учреждение* уже пересекал барьер, выставленный против посетителей, которых, однако, еще не было. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары и тоненько жаловался на свою самоварную судьбу, сидел курьер с золотым зубом. Перетирая чайные кружки, он раздраженно напевал: «Что за времена теперь настали, что за времена теперь настали. В бога верить перестали, в бога верить перестали». За барьером бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, *ударяя* толстым негнущимся пальцем по клавише, и заливался смехом. В самой глубине конторы, под табличкой «начальник отделения», сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы.

Гостиница «Карлсбад» была давно покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в «Вороньей слободке» у Васисуалия Лоханкина, чрезвычайно этим скандализованного. Он даже пытался протестовать, указывая на то, что сдавал комнату не трем, а одному — *одинокому* холостяку. «Мон дье, Васисуалий Андреевич, — отвечал Остап беззаботно, — не мучьте себя. Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено!» На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн *Готт*, дорогой Васисуалий! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!» И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа двадцать рублей. Паниковский и Балаганов отлично ужились в

«Вороньей слободке», и их голоса уверенно звучали в общем квартирном хоре. Паниковского успели даже обвинить в том, что он по ночам отливает керосин из чужих примусов. Митрич не преминул сделать Остапу какое-то *ворчливое* замечание, на что великий комбинатор молча толкнул его в грудь.

Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам.

— Следствие по делу Корейко, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько — знает один бог. А так как бога нет, то никто не знает. Ужасное положение! Может быть, год, а может быть, и месяц. Во всяком случае, нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это *дает* контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности! Чем не учреждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.

Деньги, от которых Корейко отрекся и которые щепетильный Остап счел возможным заприходовать, были положены в банк на текущий счет нового учреждения. Паниковский снова бунтовал и требовал *дележки*, в наказание за что был назначен на *низкооплачиваемую* и унизительную для его свободолюбивой натуры должность курьера. Балаганову достался ответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в *92* рубля. На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «е», и ее пришлось *заменить* буквой «э». Поэтому первое же отношение, отправленное Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так:

«Отпуститэ податэлю сэго курьэру т.Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлежностэй в крэдит за счэт Правлэния в городэ Арбатовэ.

Приложэниэ: бэз приложэний».

— Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! — сердился Остап. — Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом! Значит, я начальник отдэлэния? Свинья вы, Шура, после этого!

Но даже машинка с удивительным прононсом не могла омрачить светлой радости великого комбинатора. Ему очень нравилось новое поприще. Ежечасно он прибегал в контору с покуп-

ками. Он приносил такие сложные канцелярские машины и приборы, что курьер и уполномоченный только ахали. Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил. Называлось это произведение «Лицом к деревне» и стоило полтораста рублей *(разумеется, в кредит, за счет мифического правления)*. Венцом всего был чугунный железнодорожный компостер, вытребованный Остапом с пассажирской станции. Под конец Бендер притащил ветвистые оленьи рога. Паниковский, кряхтя и жалуясь на свою низкую ставку, прибил их над столом начальника. Все шло хорошо и даже превосходно. На планомерной работе сказывалось только непонятное отсутствие автомобиля и его славного водителя Адама *Казимировича. Шофер покинул постоялый двор, и следы его пропали.*

На третий день существования конторы явился первый посетитель. К общему удивлению, это был почтальон. Он принес восемь пакетов и, покалякав с курьером Паниковским о том, о сем, ушел. В пакетах же *оказалось:* три повестки, коими представитель конторы срочно вызывался на совещания и заседания, причем все три повестки подчеркивали, что явка обязательна; в остальных бумагах заключались требования незнакомых, но, как видно, бойких учреждений о представлении различного рода сведений, смет и ведомостей во многих экземплярах, и все это тоже в срочном и обязательном порядке.

— Что это такое! — кричал Остап. — Еще три дня *тому* я был свободный горный орел-стервятник, трещал крыльями где хотел, а теперь пожалуйте — явка обязательна! Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И потом, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Придется понести расход и пересмотреть штаты. Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами.

Через два часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком.

— Рога кто будет принимать? — спросил он, сваливая кладь на пол.

Великий комбинатор *со страхом* посмотрел на посетителя и его добро. Это были маленькие кривые грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением.

— А товар хороший? — осторожно спросил начальник отделения.

— Да ты посмотри, рожки какие! — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. — Рожки первый сорт. Согласно кондиций.

Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни,

вызывая в Остапе *существенное* раздражение человека, зря потерявшего пятнадцать рублей.

— Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, — сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, — не служить больше Паниковскому! Уволю без выходного пособия! И вообще хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом!

Повесив на стеклянную дверь табличку «Перерыв на обед», начальник отделения вынул из шкафа папку, в которой якобы заключалось синее море и белый пароход, и, ударив по ней ладонью, сказал:

— Вот над чем будет работать наша контора. Сейчас в этом «*Деле*» нет ни одного листка, но мы найдем концы, если для этого придется даже командировать Паниковского и Балаганова в *Каракумские* пески или куда-нибудь в Кременчуг за следственным материалом.

В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в *штопанной* белыми нитками панаме и широком чесучовом пиджаке, из-под которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо.

— Закрыто, закрыто! — поспешно крикнул Остап. — Заготовка копыт временно прекращена!

Однако старик продолжал делать руками знаки. *Он показывал на себя пальцем, снимал и надевал панаму и всячески выказывал нетерпение.*

Если бы Остап не впустил *сейчас* старого беложилетника, то, может быть, магистральная линия романа пошла бы в ином направлении и никогда не произошли бы те удивительные события, в которых пришлось участвовать и великому комбинатору, и его раздражительному курьеру, *и уполномоченному* по копытам, и еще многим людям, в том числе некоему *холодному* философу, внучке старого ребусника, знаменитому общественнику, начальнику *ГЕРКУЛЕС'а*, а также *человеку, который боролся с собственной периной.*

Но Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Слышны были только короткие свистки, которые время от времени подавал его бледный нос. Когда сотрудники конторы решили, что посетитель *уже* никогда не заговорит, и стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и низким голосом сказал:

— Моя фамилия — Фунт. Фунт.

— И этого, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в *учреждения, закрытые* на обед? — весело сказал Бендер.

— Вот вы смеетесь, — ответил старик, — а моя фамилия — Фунт. Мне девяносто лет.

— Что же вам угодно? — спросил Остап, начиная терять терпение.

Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное время.

— У вас контора, — сказал он наконец.

— Да, да, контора, — подбадривал Остап. — Дальше, дальше!

Но старик только *поглаживал рукой* по колену.

— Вы видите на мне эти брюки? — промолвил он после долгого молчания. — Это пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на пасху, а теперь я ношу их каждый день.

И, несмотря на то, что Паниковский шлепнул его по спине, дабы слова выходили без задержки, Фунт снова затих. Слова он произносил быстро, но между фразами делал промежутки, которые простирались иногда до трех минут. Для людей, не привыкших к этой особенности Фунта, разговор с ним был невыносим. Остап уже собирался взять Фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. В дальнейшем разговор принял такой занятный характер, что Остапу пришлось примириться с фунтовской манерой вести беседу.

— Вам не нужен председатель? — спросил *старик*.

— Какой председатель? — воскликнул Бендер.

— Официальный. Одним словом, глава учреждения.

— Я сам глава.

— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали! Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?

Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.

— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других.

— Ах, вы подставное лицо?

— Да, — сказал старик, с достоинством тряся головой. — Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. *При* Александре *втором — Освободителе, когда Черноморск был еще вольным городом*, при Александре *третьем — миротворце*, при Николае втором — *кровавом*.

И старик медленно загибал пальцы, считая царей.

— При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при *НЭП*е! Как я сидел при *НЭП*е! Это были лучшие дни моей жизни! За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебря-

ную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где *товарищество* на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? *Безобразье*!

Эта короткая речь длилась сравнительно недолго — полчаса. Слушая Фунта, Паниковский растрогался. Он отвел Балаганова в сторону и с уважением зашептал:

— Сразу видно человека с раньшего времени! Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет!

И он любезно подал старику кружку сладкого *чаю*.

Остап перетащил зицпредседателя за свой начальнический стол, велел закрыть контору и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника, отдавшего жизнь за *други своя*. Зицпредседатель говорил с удовольствием. Если бы он не отдыхал так долго между фразами, можно было бы даже сказать, что он трещит без умолку.

— *А вы* не знаете такого Корейко, Александра Ивановича? — спросил Остап, взглянув на папку с ботиночными тесемками.

— Не знаю, — ответил старик. — Такого *я* не знаю.

— А с *ГЕРКУЛЕС'ом* у вас были дела?

При слове *ГЕРКУЛЕС* зицпредседатель чуть пошевелился. Этого легкого *движенья* Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе «Флорида», знавший Фунта издавна, например, Валиадис, то он подумал бы: «Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя!»

Как *Фунт может* не знать *ГЕРКУЛЕС'а*, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением! Вокруг *ГЕРКУЛЕС'а* кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» *получал* от *ГЕРКУЛЕС'а* большой аванс на заготовку чего-то лесного, зицпредседатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб *деньгу*, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр», разумеется, под председательством благообразного Фунта. Разумеется, аванс в *ГЕРКУЛЕС'е* на поставку выдержанного кедра. Разумеется, неожиданный крах, кто-то разбогател, а Фунт отрабатывает председательскую ставку — сидит. Потом «Пилопомощь» — *ГЕРКУЛЕС* — аванс — крах — кто-то загреб — отсидка. И *снова аванс* — *«ГЕРКУЛЕС»* — «Южный лесорубник» — для Фунта отсидка — кому-то куш.

— Кому же? — допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. — Кто фактически руководил?

Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподымал тяжелые веки.

— Кто его знает? — сказал он горестно. — От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть, в этом моя профессия. Я сидел при Александре *втором*, и при *третьем*, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском. И при *НЭПе, и* до угара *НЭПа*, и во время угара, и после угара. А сейчас я без работы и должен носить пасхальные брюки.

Остап долго еще продолжал выцеживать из старика словечки. Он действовал как старатель, неустанно промывающий тонны грязи и песка, чтобы найти на дне несколько золотых крупинок. Он подталкивал Фунта плечом, будил его и даже щекотал под мышками. После всех этих ухищрений ему удалось узнать, что, по мнению Фунта, за всеми лопнувшими обществами и товариществами, несомненно, скрывалось какое-то одно лицо. Что же касается *ГЕРКУЛЕС'а*, то у него выдоили не одну сотню тысяч.

— Во всяком случае, — добавил ветхий зицпредседатель, — во всяком случае этот неизвестный человек — голова! Вы знаете Валиадиса? Валиадис этому человеку пальца в рот не положил бы.

— А Бриану? — спросил Остап, с улыбкой вспомнив собрание пикейных жилетов у бывшего кафе «Флорида». — Положил бы Валиадис палец в рот Бриану? Как вы думаете?

— Ни за что! — ответил Фунт. — Бриан — это голова!

Три минуты он беззвучно двигал губами, а потом добавил:

— Гувер — это голова. И Гинденбург — *это* голова. Гувер и Гинденбург — это две головы.

Остапом овладел испуг. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики. С минуты на минуту он мог заговорить о пакте Келлога или об испанском диктаторе Примо-де-Ривера, и тогда никакие силы не смогли бы отвлечь его от этого почтенного занятия. Уже в глазах его появился идиотический блеск, уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол. Лампочка разбилась с холодным треском винтовочного выстрела. И только это происшествие отвлекло зицпредседателя от международных дел. Остап быстро этим воспользовался.

— Но с кем-нибудь из *ГЕРКУЛЕС'а* вы все-таки виделись? — спросил он. — По авансовым делам?

— Со мною имел дело только геркулесовский бухгалтер Берлага. Он у них был на *жалованьи*. А я ничего не знаю. От меня все скрывали. Я нужен людям для *сидения*. Я сидел при цариз-

ме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. Бриан — это голова!

Из старика больше ничего нельзя было выжать. Но и то, что было сказано, давало возможность начать *поиск.*

«Тут чувствуется лапа Корейко, — *думал* Остап, — *а если даже это и не он, то фигура достаточно емкая».*

Начальник черноморского отделения *арбатовской* конторы по заготовке рогов и копыт присел за стол и перенес речь зицпредседателя Фунта на бумагу. Рассуждения о взаимоотношениях Валиадиса и Бриана он опустил.

Первый лист подпольного следствия о подпольном миллионере был занумерован, проколот в надлежащих местах и подшит к делу.

— Ну что, будете брать председателя? — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. — Я вижу, что вашей конторе нужен председатель. *А беру я* недорого: *120* рублей в месяц на свободе и *240* в тюрьме. Сто процентов прибавки *за* вредность.

— Пожалуй, возьмем, — сказал Остап. — Подайте заявление уполномоченному по копытам. *Завтра с утра приходите на работу, только не опаздывайте, у нас строго. Это вам не «Интенсивник» и не «Трудовой кедр».*

Глава *шестнадцатая*

Ярбух фюр психоаналитик

Рабочий день в финансово-счетном отделе *ГЕРКУЛЕС'а* начался, как обычно, ровно в девять часов.

Уже Кукушкинд поднял полу пиджака, чтобы протереть ею стекла своих очков, а заодно сообщить сослуживцам, что работать в *торговом доме* «Сикоморский и Цесаревич» было не в пример спокойнее, чем в геркулесовском *Содоме*, уже *Борисохлебский* повернулся на своем винтовом табурете к стене и протянул руку, чтобы сорвать листок календаря, уже Лапидус-младший разинул рот на кусок хлеба, смазанный форшмаком из селедки, — когда дверь растворилась и на пороге ее показался не кто иной, как бухгалтер Берлага.

Это неожиданное антре вызвало в финсчетном зале замешательство. *Борисохлебский* поскользнулся на своей винтовой тарелочке, и календарный листок, впервые, может быть, за три года, остался несорванным. Лапидус-младший, позабыв укусить бутерброд, вхолостую задвигал челюстями. Дрейфус, Чеважевская и Сахарков безмерно удивились. Корейко поднял и опустил голову. А старик Кукушкинд быстро надел очки, позабыв протереть их, чего с ним за тридцать лет служебной деятельности никогда не случалось. Берлага как ни в чем не бывало уселся за свой стол и, не отвечая на тонкую усмешку Лапидуса-младшего, раскрыл свои книги.

— Как здоровье? — спросил все-таки Лапидус. — Пяточный нерв?

— Все прошло, — отвечал Берлага, не подымая головы, — я даже не верю, что такой нерв есть у человека.

До обеденного перерыва весь финсчет ерзал на своих табуретах и подушечках, томимый любопытством. И когда прозвучал авральный звонок, цвет счетоводного мира окружил Берлагу. Но беглец почти не отвечал на вопросы. Он отвел в сторону четырех самых верных и, убедившись, что поблизости нет никого лишнего, рассказал им о своих необыкновенных похождениях в сумасшедшем доме. Свой рассказ беглый бухгалтер сопровождал множеством заковыристых выражений и междометий, которые здесь опущены в целях связности повествования.

Рассказ бухгалтера Берлаги, сообщенный им под строжайшим секретом Тезоименицкому, Дрейфусу, Сахаркову и Лапидусу-младшему, о том, что случилось с ним в сумасшедшем доме

Как уже сообщалось, бухгалтер Берлага бежал в сумасшедший дом, опасаясь чистки. В этом лечебном заведении он рассчитывал пересидеть тревожное время и вернуться в ГЕРКУЛЕС, когда гром утихнет, то есть товарищи с серенькими глазами перекочуют в соседнее учреждение.

Все дело сварганил шурин. Он достал книжку о правах и привычках душевнобольных, и, после долгих споров, из всех навязчивых идей был выбран бред величья.

— Тебе ничего не придется делать, — втолковывал шурин, — ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь!

— А вице-королем Индии можно? — доверчиво спросил Берлага.

— Можно, можно! Сумасшедшему все можно! Значит, вице-король Индии?

Шурин говорил так веско, словно бы по меньшей мере состоял младшим ординатором психбольницы. На самом же деле это был скромный агент по распространению роскошных подписных изданий Госиздата, и от прошлого коммерческого величия в его сундучке сохранился только венский котелок на белой шелковой подкладке.

Шурин побежал к телефону-автомату вызывать карету, а новый вице-король Индии снял толстовку, разодрал на себе мадаполамовую сорочку и на всякий случай вылил на голову бутылочку лучших копировальных железисто-галлусовых чернил 1го класса. Потом он лег животом на пол и, дождавшись санитаров, принялся выкрикивать:

— Я не более как вице-король Индии! Где мои верные наибы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?

Слушая этот бред величия, шурин с сомнением качал головой. На его взгляд, абреки и кунаки не входили в сферу *действий* индийского короля. Но санитары только вытерли мокрым платком лицо бухгалтера, измазанное чернилами 1^го^ класса, и, дружно взявшись, всадили его в карету. Хлопнули лаковые дверцы, раздался тревожный медицинский гудок, и автомобиль умчал вице-короля Берлагу в его новые владения.

По дороге больной размахивал руками и что-то болтал, не переставая со страхом думать о первой встрече с настоящими сумасшедшими. Он очень боялся, что они будут его обижать, а может быть, даже *побьют*.

Больница оказалась совсем иной, чем представлял ее Берлага. В длинном светлом покое сидели на диванах, лежали на кроватях и прогуливались люди в голубоватых халатах. Бухгалтер заметил, что сумасшедшие друг с другом почти не разговаривают. Им некогда разговаривать. Они думают. Они думают все время. У них множество мыслей, надо что-то вспомнить, вспомнить самое главное, от чего зависит счастье. А мысли разваливаются, и самое главное, вильнув хвостиком, исчезают. И снова надо все обдумать, понять наконец, что же случилось, почему стало все плохо, когда раньше все было хорошо.

Мимо Берлаги уже несколько раз прошел безумец, нечесаный и несчастный. Охватив пальцами подбородок, он шагал по одной *линии от* окна к двери, от двери к окну, опять к двери, опять к окну. И столько мыслей грохотало в его бедной голове, что он прикладывал другую руку ко лбу и ускорял шаги.

— Я вице-король Индии! — крикнул Берлага, оглянувшись на санитара.

Безумец даже не посмотрел в сторону бухгалтера. Болезненно морщась, он снова принялся *собирать мысли*, разбежавшиеся *от крика* Берлаги. Но зато к вице-королю подошел низкорослый идиот и, доверчиво обняв его за талию, сказал несколько слов на птичьем языке.

— Что? — искательно спросил перепутавшийся Берлага.

— Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба, — явственно произнес новый знакомый.

Сказавши «ой», Берлага отошел *от идиота подальше. Произведя* эту эволюцию, он *подошел вплотную* к человеку с лимонной лысиной. Тот сейчас же отвернулся к стене и опасливо посмотрел на бухгалтера.

— Где мои магараджи? — спросил его Берлага, чувствуя необходимость поддержать репутацию сумасшедшего.

Но тут человек, сидевший на кровати в глубине покоя, поднялся на тоненькие и желтые, как церковные свечи, ноги и страдальчески закричал:

— На волю! На волю! В пампасы!

Как Берлага узнал впоследствии, в пампасы просился старый учитель географии, по учебнику которого *в свое время* юный Берлага знакомился с вулканами, мысами и перешейками. Географ сошел с ума совершенно неожиданно: однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашел на ней Берингова пролива. Весь день старый учитель шарил по карте. Все было на месте: и *Ньюфаундленд*, и Суэцкий канал, и Мадагаскар, и Сандвичевы острова с главным городом Гонолулу, и даже *вулканы* Попокатепетль, а Берингов пролив отсутствовал. И тут же, у карты, старик тронулся[13]. Это был добрый сумасшедший, не причинявший никому зла, но Берлага отчаянно струсил. Крик надрывал его душу.

— На волю! — продолжал кричать географ. — В пампасы! *На волю!*

Он лучше всех на свете знал, что такое воля. Он был географ, и ему были известны такие просторы, о которых обыкновенные, занятые скучными делами люди даже и не подозревают. Ему хотелось на волю, хотелось скакать на потном мустанге сквозь заросли.

В палату вошла молодая докторша с жалобными голубыми глазами и направилась прямо к Берлаге.

— Ну, как вы себя чувствуете, голубчик? — спросила она, притрагиваясь теплой рукой к пульсу бухгалтера. — Ведь вам лучше, не правда ли?

— Я вице-король Индии! — отрапортовал он, краснея. — Отдайте мне любимого слона.

— Это у вас бред, — ласково сказала докторша, — вы в лечебнице, мы вас вылечим.

— О-о-о! Мой слон! — вызывающе крикнул Берлага.

— Но ведь вы поймите, — еще ласковей сказала докторша, — вы не вице-король, все это бред, понимаете, бред?

— Нет, не бред, — возразил Берлага, знавший, что первым делом нужно упрямиться.

— Нет, бред.

— Нет, не бред!

— Бред!

— Не бред!

---

[13] По имеющимся у авторов сведениям, на карте, которая свела с ума бедного географа, Берингова пролива действительно не было. Отсутствие пролива было вызвано головотяпством издательства «Книга и полюс». Виновные понесли заслуженное наказание. Глава издательства был снят с должности и брошен на низовку. Остальные отделались выговором с предупреждением. *(Прим. авт.)*

Бухгалтер, видя, что железо горячо, стал его ковать. Он толкнул добрую докторшу и издал протяжный вопль, взбудораживший всех больных, в особенности маленького идиота, который сел на пол и, пуская слюни, сказал:

— Эн, ден, труакатр, мадмазель Журоватр.

И Берлага с удовлетворением услышал за своей спиной голос докторши, обращенный к санитару.

— Нужно будет перевести его к тем трем, не то он нам всю палату перепугает.

Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие. При виде посетителей больные проявили необыкновенную активность. Толстый мужчина скатился с кровати, быстро стал на четвереньки и, высоко подняв обтянутый, как мандолина, зад, принялся отрывисто лаять и разгребать паркет задними лапами в больничных туфлях. Другой завернулся в одеяло и начал выкрикивать: «И ты, Брут, продался большевикам». Этот человек, несомненно, воображал себя Каем Юлием Цезарем. Иногда, впрочем, в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, путая, кричал: «Я Генрих Юлий Циммерман!»

— Уйдите! Я голая! — *зарычал* третий. — Не смотрите на меня! Мне стыдно! Я голая женщина!

Между тем он был одет и был *мужчиной* с усами.

Санитары ушли. Вице-королем Индии овладел такой *ужас*, что он и не думал уже выставлять требования о *срочном* возврате любимого слона, магараджей, верных наибов, а также загадочных абреков и кунаков.

«Эти в два счета придушат!» — думал он, леденея.

И он горько пожалел о том, что наскандалил в тихой палате. Так хорошо было бы сейчас сидеть у ног доброго учителя географии и слушать нежный лепет маленького *идиота* «Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба». *Он спрятался за свою постель, ожидая нападения.* Однако ничего *особенно страшного не произошло.* Человек-собака тявкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать. Кай Юлий сбросил с себя одеяло, отчаянно зевнул и потянулся всем телом. Женщина с усами закурил трубку, и сладкий запах *табаку* «Наш кепстен» внес в мятежную душу Берлаги успокоение.

— Я вице-король Индии! — заявил он, осмелев.

— Молчи, сволочь! — лениво ответил на это Кай Юлий. И с прямотой римлянина добавил: — Убью! Душу выну!

Это замечание храбрейшего из императоров и воинов отрезвило беглого бухгалтера. Он спрятался под одеяло и, грустно размышляя о своей полной тревог жизни, задремал.

Утром сквозь сон *бухгалтер* Берлага услышал странные слова:

— Посадили психа на нашу голову. Так было хорошо *втроем и* вдруг... Возись теперь с ним! Чего доброго, *этот* вице-король всех нас перекусает.

По голосу Берлага определил, что слова эти произнес Кай Юлий Цезарь. Через некоторое время, открыв глаза, он увидел, что на него с выражением живейшего интереса смотрит человек-собака.

«Конец, — подумал вице-король, — сейчас укусит».

Но человек-собака неожиданно всплеснул руками и спросил человечьим голосом:

— Скажите, вы не сын Фомы Берлаги?

— Сын, — ответил бухгалтер и, спохватившись, сейчас же завопил: — Отдайте несчастному вице-королю его верного слона!

— Посмотрите на меня, — пригласил человек-дворняга. — Неужели вы меня не узнаете?

— Михаил Александрович! — воскликнул прозревший бухгалтер. — Вот встреча!

И вице-король сердечно расцеловался с человеком-собакой. При этом они с размаху ударились лбами, произведя бильярдный стук. Слезы стояли на глазах Михаила Александровича.

— Значит, вы не сумасшедший? — спросил Берлага. — Чего ж вы дурака валяли?

— А вы чего дурака валяли? Тоже! Слонов ему подавай! И потом должен вам сказать, друг Берлага, что вице-король для хорошего сумасшедшего — это слабо, слабо, слабо.

— А мне шурин сказал, что можно, — опечалился Берлага.

— Возьмите, например, меня, — сказал Михаил Александрович, — тонкая игра. Человек-собака! Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, и притом, заметьте, Берлага, сумеречное состояние души. Вы думаете, мне это легко далось? Я работал над источниками. Вы читали книгу профессора Блейлера «Аутистическое мышление»?

— Н-нет, — ответил Берлага голосом вице-короля, с которого сорвали орден *подвязки* и разжаловали в денщики.

— Господа! — закричал Михаил Александрович. — Он не читал книги Блейлера! Да не бойтесь, идите сюда! Он такой же король, как *вы цезарь*.

Двое остальных питомцев небольшой палаты для лиц с неправильным поведением приблизились.

— Вы не читали Блейлера? — спросил Кай *Юлий*. — Позвольте! *По* каким же материалам вы готовились?

— Он, *наверно*, выписывал немецкий журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик», — высказал предположение неполноценный усач.

Берлага стоял как оплеванный. А знатоки так и сыпали мудреными выражениями из области теории и практики психоанализа. Все сошлись на том, что Берлаге придется плохо и что главный врач Титанушкин, возвращения которого из командировки ожидали со дня на день, разоблачит его в пять минут. О том, что возвращение Титанушкина наводило тоску на них самих, они не распространялись.

— Может быть, можно переменить бред? — трусливо спрашивал Берлага. — Что, если я буду Эмиль Золя или Магомет?

— Поздно, — сказал Кай Юлий, — *уже* в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки. Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля. Мы сидим здесь уже неделю и знаем порядки.

Через час Берлага узнал во всех подробностях подлинные истории болезней своих соседей по палате.

Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске. Дуванов, так звали мужчину, выдававшего себя за женщину, был, как видно, мелкий вредитель, который не без основания опасался ареста. Но совсем не таков был Кай Юлий Цезарь, значившийся в паспорте бывшим присяжным поверенным И.Н. Старохамским.

Кай Юлий Старохамский пошел в сумасшедший дом по высоким идейным соображениям.

— В Советской России, — говорил он, драпируясь в одеяло, — сумасшедший дом — это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное — это *сверх-бедлам*. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!

Увидев *проходящего* мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:

— Да здравствует *учредительное собранье*! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! — И, обернувшись к Берлаге, добавил: — Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!..

Весь день и большую часть ночи четверо больных с неправильным поведением резались в «шестьдесят шесть» без два-

дцати и сорока, игру хитрую, требующую самообладания, смекалки, чистоты духа и ясности мышления.

Утром вернулся из командировки профессор Титанушкин. Он быстро осмотрел всех *четырех* и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогли ни книга Блейлера, *ни* сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом, ни «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик». Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.

И они побежали по улице, расталкивая прохожих локтями. Впереди шествовал Кай Юлий. За ним поспешали женщина-мужчина и человек-собака. Позади всех плелся развенчанный вице-король, проклиная шурина и с ужасом думая о том, что теперь будет?

Закончив эту поучительную историю, бухгалтер Берлага тоскливо посмотрел сначала на *Тезоименицкого*, потом на Дрейфуса, потом на Сахаркова и, наконец, на Лапидуса-младшего, головы которых, как ему показалось, соболезнующе качаются в полутьме коридора.

— Вот видите, чего вы добились своими фантазиями, — промолвил *жестокосердый* Лапидус-младший, — вы хотели избавиться от одной чистки, а попали в другую. Теперь вам плохо придется. Раз вас вычистили из сумасшедшего дома, то из *ГЕРКУЛЕС'а* вас наверно вычистят.

Тезоименицкий, Дрейфус и Сахарков ничего не сказали. И, ничего не сказавши, стали медленно уплывать в темноту.

— Друзья! — слабо *воскликнул* бухгалтер. — Куда же вы?

Но друзья уже мчались во весь дух, и их сиротские брюки, *мелькнув последний* раз на лестнице, скрылись из виду.

— Нехорошо, Берлага, — холодно сказал Лапидус, — напрасно вы меня впутываете в свои грязные антисоветские плутни! Адье!

И вице-король Индии остался один.

Что же ты наделал, бухгалтер Берлага! Где были твои глаза, бухгалтер? И что сказал бы твой папа, Фома, если бы узнал, что сын *его* на склоне лет подался в вице-короли? Вот куда завели тебя, бухгалтер, твои странные связи с господином Фунтом, председателем многих акционерных обществ со смешанным и нечистым капиталом! Страшно даже подумать о том, что сказал бы старый Фома о проделках своего любимого сына. Но давно уже лежит Фома на втором христианском кладбище, под каменным серафимом с отбитым крылом, и только мальчики, забегающие сюда воровать сирень, бросают иногда нелюбопытный взгляд на гробовую надпись: «Твой путь окончен. Спи,

бедняга, любимый всеми Ф.Берлага». А может быть, и ничего не сказал бы старик! Ну, конечно ж, ничего бы не сказал, ибо и сам вел жизнь не очень-то праведную. Просто посоветовал бы вести себя поосторожнее и в серьезных делах не полагаться на шурина. Да, черт знает что ты наделал, бухгалтер Берлага!

Тяжелое раздумье, охватившее экс-наместника Георга *V-го* в Индии, было прервано криками, несшимися с лестницы:

— Берлага! Где он? Его кто-то спрашивает! *А вот* он стоит, пройдите, гражданин.

В коридоре показался уполномоченный по копытам. Гвардейски размахивая ручищами, Балаганов подступил к Берлаге и вручил ему повестку:

«Тов. Бэрлагэ. С получэниэм сэго *просьба* нэмэдлэнно явиться для выяснэния нэкоторых обстоятэльств».

Бумажка была снабжена штампом Черноморского отделения *арбатовской* конторы по заготовке рогов и копыт и круглой печатью, содержание которой разобрать было бы *трудненько*, даже если бы Берлаге это пришло в голову. Но беглый бухгалтер был так подавлен свалившимися на него бедами, что только спросил:

— Домой позвонить можно?

— Чего там звонить, — хмуро сказал заведующий копытами.

Через два часа толпа, стоявшая у кино «Капиталий» в ожидании первого сеанса и от нечего делать глазевшая по сторонам, заметила, что из дверей конторы по заготовке рогов вышел человек и, хватаясь за сердце, медленно пошел прочь. Это был бухгалтер Берлага. Сперва он вяло передвигал ноги, *потом* постепенно начал ускорять ход. Завернув за угол, бухгалтер незаметно перекрестился и побежал очертя голову. Вскоре он сидел уже за своим столом в финсчетном зале и ошалело глядел в «*Главную* книгу». Цифры взвивались и переворачивались в его глазах.

Великий комбинатор захлопнул папку с «делом Корейко», посмотрел на Фунта, который сидел под новой надписью «председатель правления», и сказал:

— Когда я был очень молод, очень беден и кормился тем, что показывал на *Херсонской* ярмарке толстого, грудастого монаха, выдавая его за женщину с бородой — необъяснимый феномен природы, — то и тогда я не опускался до таких моральных низин, как этот пошлый Берлага.

— Жалкий, ничтожный человек, — подтвердил Паниковский, разнося чай по столам. Ему было приятно сознание того, что на свете есть люди еще более мелкие, чем он сам.

— Берлага — это не голова, — сообщил зицпредседатель со свойственной ему неторопливостью. — Макдональд — это голова. Его идея классового мира в промышленности...

— Хватит, хватит! — сказал Бендер. — Мы назначим специальное заседание, чтобы выяснить ваши взгляды на Макдональда и других буржуазных деятелей. Сейчас мне некогда. Берлага — это действительно не голова, но кое-что он нам сообщил *из* жизни и деятельности самовзрывающихся акционерных обществ.

Внезапно великому комбинатору стало весело. Все шло отлично. Вонючих рогов никто больше не приносил. Работу *черноморского* отделения можно было считать удовлетворительной, хотя очередная почта доставила в контору кучу новых отношений, циркуляров и требований, и Паниковский уже два раза бегал на *Биржу* труда за конторщицей.

— Да! — закричал вдруг Остап. — Где Козлевич? Где *Антилопа*? Что за учреждение без автомобиля? Мне на заседание нужно ехать! Все приглашают, без меня жить не могут. Где Козлевич?

Паниковский отвел глаза и со вздохом сказал:

— С Козлевичем нехорошо.

— Как *это нехорошо*? *Пьян*, что ли?

— Хуже, — ответил Паниковский, — мы даже боялись вам говорить. Его охмурили ксендзы.

При этом курьер посмотрел на уполномоченного по копытам, и оба они грустно покачали *головой*.

Глава *семнадцатая*

Блудный сын возвращается домой

Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим *служащим* культа.

— Я сам склонен к обману и шантажу, — говорил он, — сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще, *в этих бюрократических домах божьих непомерно раздуты штаты. Я* предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.

И покуда Балаганов и Паниковский, перебивая друг друга, рассказывали о злой участи, постигшей водителя *Антилопы*, мужественное сердце Остапа переполнялось гневом и досадой.

Ксендзы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где, среди пароконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок, в навозной каше стояла *Антилопа.* Ксендз Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив *Антилопу, ксендз* обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. Он по-

говорил с Козлевичем и узнал, что Адам Казимирович принадлежит к римско-католической церкви, но не исповедывался уже лет двадцать. Сказав: «Нехорошо, нехорошо, пан Козлевич», ксендз Кушаковский ушел, приподымая обеими руками черную юбку и перепрыгивая через пенистые пивные лужи. На другой день, ни свет ни заря, когда фурщики увозили на базар в местечко Кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по пятнадцать человек в одну фуру, ксендз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксендз — Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксендз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав на свет звуки матчиша. После этого ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек. И не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский подымал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. А несколько раз ксендзы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирович стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на *Антилопу*.

Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине *Антилопы* перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о царствии небесном. Это подтверждал и Балаганов. Потом он стал надолго пропадать и, наконец, вовсе съехал со двора.

— Почему же вы мне не доложили? — возмутился великий комбинатор.

Они хотели доложить, но они боялись гнева командора. Они надеялись, что Козлевич опомнится и вернется сам. Но теперь надежды потеряны. Ксендзы его окончательно охмурили. Еще не далее, как вчера курьер и уполномоченный по копытам случайно встретили Козлевича. Он сидел в машине у подъезда костела. Они не успели к нему подойти. Из костела вышел ксендз Алоизий Морошек с мальчиком в кружевах.

— Понимаете, Бендер, — сказал Шура, — все кодло село в нашу *Антилопу*, бедняга Козлевич снял шапку, мальчик позвонил в колокольчик, и они уехали. Прямо жалко было смотреть на нашего Адама. Не видать нам больше *Антилопы*.

Лицо великого комбинатора приобрело твердость минерала. Он надел свою капитанскую фуражку с лакированным козырьком и направился к выходу.

— Фунт! — сказал он. — Вы остаетесь в конторе. Рогов и копыт не принимать ни под каким видом. Если будет почта, сваливайте в корзину. Конторщица потом разберется. Понятно?

Когда зицпредседатель открыл рот для ответа, что произошло ровно через пять минут, осиротевшие антилоповцы были уже далеко. В голове процессии, делая гигантские шаги, несся командор. Он изредка оборачивал голову назад и бормотал: «Не уберегли нежного Козлевича, меланхолики!.. Всех дезавуирую!.. Ох, уж мне это черное и белое духовенство!» Бортмеханик шел молча, делая вид, что нарекания относятся не к нему. Паниковский прыгал, как обезьяна, подогревая чувство мести к похитителям Козлевича, хотя на душе у него лежала большая холодная лягушка. Он боялся черных ксендзов, за которыми он признавал многие волшебные свойства.

В таком порядке все отделение по заготовке рогов и копыт прибыло к подножию костела. Перед железной решеткой, сплетенной из спиралей и крестов, стояла пустая *Антилопа*. Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость. Он застревал в горле. Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие *контрофорсы* и красивые каменные идолы, прятавшиеся от дождя в нишах, вся эта вытянувшаяся солдатская готика сразу навалилась на антилоповцев. Они почувствовали себя маленькими. Остап залез в автомобиль, потянул носом воздух и с отвращением сказал:

— Фу! Мерзость! Наша *Антилопа* уже пропахла свечками, кружками на построение храма и ксендзовскими сапожищами. Конечно, разъезжать с требами на автомобиле приятнее, чем на извозчике. К тому же даром! Ну, нет, дорогие батюшки, наши требы поважней.

С этими словами Бендер вошел в церковный двор и, пройдя между детьми, игравшими в классы на расчерченном мелом асфальте, поднялся по гранитной банковской лестнице к дверям храма. На толстых дверях, обитых обручным железом, рассаженные по квадратикам барельефные святые обменивались воздушными поцелуями или показывали руками в разные стороны, или же развлекались чтением толстеньких книг, на которых добросовестный резчик изобразил даже латинские буковки. Великий комбинатор дернул дверь, но она не поддалась. Изнутри неслись кроткие звуки фисгармонии.

— Охмуряют! — крикнул Остап, спускаясь с лестницы. — Самый охмуреж идет! Под сладкий лепет мандолины.

— Может быть, уйдем? — спросил Паниковский, вертя в руках шляпу. — Все-таки храм божий. Неудобно.

Но Остап, не обращая на него внимания, подошел к *Антилопе* и принялся нетерпеливо надавливать грушу. Он играл мат-

чиш до тех пор, пока за толстыми дверьми не послышалось бренчание ключей. Антилоповцы задрали головы. Дверь растворилась на две половины, и веселые святые в своих дубовых квадратиках медленно отъехали вглубь. Из темноты портала выступил на высокую светлую паперть Адам Казимирович. Он был бледен. Его кондукторские усы отсырели и плачевно свисали из ноздрей. В руках он держал молитвенник. С *обоих* сторон его поддерживали ксендзы. С левого бока — ксендз Кушаковский, с правого — ксендз Алоизий Морошек. Глаза патеров были затоплены елеем.

— Алло, Козлевич! — крикнул Остап снизу. — Вам еще не надоело?

— Здравствуйте, Адам Казимирович! — развязно сказал Паниковский, прячась, однако, за спину командора.

Балаганов приветственно поднял руку и скорчил рожу, что, как видно, значило: «Адам, бросьте ваши *штуки*!»

Тело водителя *Антилопы* сделало шаг вперед, но душа его, подстегиваемая с *обоих* сторон пронзительными взглядами Кушаковского и Морошека, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на друзей и потупился.

И началась великая борьба за бессмертную душу шофера.

— Эй, вы, херувимы и серафимы, — сказал Остап, вызывая врагов на диспут, — *бога* нет!

— Нет, есть, — возразил ксендз Алоизий Морошек, заслоняя своим телом Козлевича.

— Это просто хулиганство, — забормотал ксендз Кушаковский.

— Нету, нету, — продолжал великий комбинатор, — и никогда не было. Это медицинский факт.

— Я считаю этот разговор неуместным, — сердито заявил Кушаковский.

— А машину забирать — это уместно? — закричал нетактичный Балаганов. — Адам! Они просто хотят забрать *Антилопу*.

Услышав это, шофер поднял голову и вопросительно посмотрел на ксендзов. Ксендзы заметались и, свистя шелковыми сутанами, попробовали увести Козлевича назад. Но он уперся.

— Как же все-таки будет с богом? — настаивал великий комбинатор.

Ксендзам пришлось начать дискуссию. Дети перестали прыгать на одной ножке и подошли поближе.

— Как же вы утверждаете, что бога нет, — начал Алоизий Морошек задушевным голосом, — когда все живое создано им...

— Знаю, знаю, — сказал Остап, — я сам старый католик и латинист. Пуэр, социер, веспер, генер, либер, мизер, аспер, тенер!

Эти латинские исключения, зазубренные Остапом в третьем классе частной гимназии *Канделаки* и до сих пор бессмысленно сидевшие в его голове, произвели на Козлевича магнетическое действие. Душа его присоединилась к телу, и в результате этого объединения шофер робко двинулся вперед.

— Сын мой, — сказал Кушаковский, с ненавистью глядя на Остапа, — вы заблуждаетесь, сын мой. Чудеса господни свидетельствуют...

— Ксендз! Перестаньте трепаться! — строго сказал великий комбинатор. — Я сам творил чудеса. Не далее, как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была *очередь!*..

Диспут продолжался в таком же странном роде. Неубедительные, но веселые доводы Остапа влияли на Козлевича самым живительным образом. На щеках шофера забрезжил румянец, и усы его постепенно стали *подыматься* кверху.

— Давай, давай! — неслись поощрительные возгласы из-за спиралей и крестов решетки, где уже собралась немалая толпа любопытных. — Ты им про римского папу скажи, про крестовый поход!

Остап сказал и про папу. Он заклеймил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу *всплывшего в памяти* Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в *несчастьях* великого ученого непосредственно Кушаковского и Морошека. Это была последняя капля. Услышав о страшной судьбе Галилея, Адам Казимирович быстро положил молитвенник на ступеньку и упал в широкие, как ворота, *объятья* Балаганова. Паниковский терся тут же, поглаживая блудного сына по шероховатым щекам. В воздухе висели счастливые поцелуи.

— Пан Козлевич! — застонали ксендзы.

Но герои автопробега уже усаживались в машину.

— Вот видите, — крикнул Остап опечаленным ксендзам, занимая командорское место, — я же говорил вам, что бога нету! Научный факт! Прощайте, ксендзы! До свидания, патеры!

Сопровождаемая одобрительными криками толпы, *Антилопа* отъехала, и вскоре жестяные флаги и черепичные скаты костела скрылись из глаз. На радостях антилоповцы остановились у пивной лавки.

— Вот спасибо, братцы! — говорил Козлевич, держа в руке тяжелую кружку. — Совсем было погиб. Охмурили меня ксендзы. В особенности Кушаковский. Ох, и хитрый же, черт. Верите ли, поститься заставлял. Иначе, *говорил*, на небо не попаду

— Небо, — сказал Остап. — Небо теперь в запустении. Не та эпоха, *не* тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть *планетарии*, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции.

После восьмой кружки Козлевич потребовал девятую, высоко поднял ее над головой и, пососав свой кондукторский ус, восторженно спросил:

— Нет бога?

— Нет, — ответил Остап.

— Значит, *нет*? Ну, будем здоровы.

Так и пил после этого, произнося перед каждой новой кружкой:

— Есть бог? Нету? Ну, будем здоровы!

Паниковский пил наравне со всеми, но о боге не высказывался. Он не хотел впутываться в это спорное дело.

С возвращением блудного сына и *Антилопы, черноморское* отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт приобрело недостававший ей блеск. У дверей бывшего комбината пяти частников теперь постоянно дежурила машина. Конечно, ей было далеко до голубых *«Бьюиков»* и длиннотелых *«Линкольнов»*, было ей далеко даже до фордовских кареток, но все же это была машина, автомобиль, экипаж, как говорил Остап, *который* при всех своих недостатках способен, однако, иногда двигаться по улицам без помощи лошадей.

Остап работал с увлечением. Если бы он направлял свои силы на действительную заготовку рогов или же копыт, то, надо полагать, что мундштучное и гребеночное дело было бы обеспечено сырьем по крайней мере до конца текущего бюджетного столетия. Но начальник конторы занимался *совсем* другим.

Оторвавшись от Фунта и Берлаги, сообщения которых были очень интересны, но непосредственно к *Корейке* пока не вели, Остап вознамерился в интересах дела сдружиться с Зосей Синицкой и между двумя вежливыми поцелуями под ночной акацией провентилировать вопрос об Александре Ивановиче, и не столько о нем, сколько о его денежных делах. Но длительное наблюдение, проведенное уполномоченным по копытам, показало, что между Зосей и Корейко любви нет и что последний, по выражению Шуры, даром топчется.

— Где нет любви, — со вздохом комментировал Остап, — там о деньгах говорить не принято. Отложим девушку в сторону.

И в то время как Корейко с улыбкой вспоминал о жулике в милицейской фуражке, который сделал жалкую попытку третьесортного шантажа, начальник отделения носился по городу в желтом автомобиле и находил людей и людишек, о которых миллионер-конторщик давно забыл, но которые хорошо помнили его самого. Несколько раз Остап беседовал с Москвой, вызывая к телефону знакомого частника, известного доку по части коммерческих тайн. Теперь в контору приходили письма и телеграммы, которые Остап живо выбирал из общей почты, по-прежнему изобиловавшей пригласительными повестками, требованиями на рога и выговорами по поводу недостаточно энергичной заготовки копыт. Кое-что из этих писем и телеграмм пошло в папку с ботиночными тесемками.

В конце июля Остап собрался в командировку, на Кавказ. Дело требовало личного присутствия великого комбинатора в небольшой виноградной республике.

В день отъезда начальника в отделении произошло скандальное происшествие. Паниковский, посланный с тридцатью рублями на пристань за билетом, вернулся через полчаса пьяный, без билета и без денег. Он ничего не мог сказать в свое оправдание, только выворачивал карманы, которые повисли у него, как *биллиардные* лузы, и беспрерывно хохотал. Все его смешило: и гнев командора, и укоризненный взгляд Балаганова, и самовар, доверенный его попечениям, и Фунт, с нахлобученной на нос панамой, дремавший за своим столом. Когда же Паниковский взглянул на оленьи рога, гордость и украшение конторы, его прошиб такой смех, что он свалился на пол и вскоре заснул с радостной улыбкой на фиолетовых устах.

— Теперь у нас самое настоящее учреждение, — сказал Остап, — есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания.

В отсутствие Остапа, под окнами конторы несколько раз появлялись Алоизий Морошек и Кушаковский. При виде ксендзов Козлевич прятался в самый дальний угол учреждения. Ксендзы открывали дверь, заглядывали внутрь и тихо звали:

— Пан Козлевич! Пан Козлевич!

При этом ксендз Кушаковский *подымал* к небу палец, а ксендз Алоизий Морошек перебирал четки. Тогда навстречу служителям культа выходил Балаганов и молча показывал им огненный кулак. И ксендзы уходили, печально поглядывая на *Антилопу*.

Остап вернулся через две недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены *пришвартовавшегося* парохода великий комбинатор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и имеретинским вином.

В Черноморском отделении, кроме конторщицы, нанятой еще при Остапе, сидели два молодых человека в сапогах. Это были студенты, присланные из животноводческого техникума для прохождения практического стажа.

— Вот и хорошо! — сказал Остап кисло. — Смена идет. Только у меня, дорогие товарищи, придется поработать. Вы, конечно, знаете, что рога, то есть выросты, покрытые шерстью или твердым роговым слоем, являются придатками черепа и встречаются главным образом у млекопитающих?

— Это мы знаем, — решительно сказали студенты, — нам бы *практикум* пройти.

От студентов пришлось избавиться сложным и довольно дорогим способом. Великий комбинатор послал их в командировку в калмыцкие степи для организации заготовительных пунктов. Это обошлось конторе в шестьсот рублей, но другого выхода не было. *Студенты* помешали бы закончить удачно продвигавшееся дело. Когда Паниковский узнал, в какую сумму обошлись студенты, он отвел Балаганова в сторону и раздражительно прошептал:

— А меня не посылают в командировку. И отпуска не дают. Мне нужно ехать в Ессентуки, лечиться. И выходных у меня нету, и спецодежды не дают. Нет, Шура, мне эти условия не подходят. И вообще, я *узнавал*, в *ГЕРКУЛЕС'е* ставки выше. Пойду туда курьером. Честное, благородное слово, пойду.

Вечером Остап снова вызвал к себе Берлагу.

— На колени! — крикнул Остап голосом Николая *первого*, как только увидел бухгалтера.

Тем не менее разговор носил дружеский характер и длился два часа.

После этого Остап приказал подать *Антилопу* на *следующий день в десять часов утра* к подъезду *ГЕРКУЛЕС'а*.

Глава *восемнадцатая*

На суше и на море

Товарищ Скумбриевич явился на пляж, держа в руках *портфель с чемоданными ремнями и ручкой.* К портфелю была прикована серебряная визитная карточка с загнутым углом и длиннейшим курсивом, из которого явствовало, что Егор Скумбриевич уже успел отпраздновать пятилетний юбилей службы в *ГЕРКУЛЕС'е.* Лицо у него было чистое, прямое, мужественное, как у бреющегося англичанина на рекламном плакате. Скумбриевич постоял у *пункта*, где отмечалась мелом температура воды, и, с трудом высвобождая ноги из горячего песка, пошел выбирать местечко поудобнее.

Лагерь купающихся был многолюден. Его легкие постройки возникали по утрам, чтобы с заходом солнца исчезнуть, оставив на песке городские отходы: увядшие дынные корки, яичную скорлупу и газетные лоскутья, которые потом всю ночь ведут на пустом берегу тайную жизнь, о чем-то шуршат и летают под скалами. *Наутро мальчик, состоящий при пляже для уборки, подметает становище новым веником, на котором кое-где еще висят зерна конопли, и замирает перед обглоданными корочками. Ему вдруг начинает казаться, что здесь ели маленьких детей. Мальчик нервно нюхает воздух пестрым носиком. Море пахнет дикарями и тропиками, и уже нет сомнений, что сейчас из-за скалы выдвинется красная пирога, на*

землю сойдут джек-лондоновские каннибалы и сделают мальчику кай-кай (съедят).

Скумбриевич пробрался между шалашиками из вафельных полотенец, зонтиками и простынями, натянутыми на палки, *поглядывая на девушек* в купальных юбочках. Мужчины тоже были в костюмах, но не все. Некоторые из них *имели при себе только фиговые листики*, да и те прикрывали отнюдь не библейские места, а носы черноморских джентльменов. Делалось это для того, чтобы с *джентльменских* носов не слезала кожа. Устроившись так, *джентльмены* лежали в самых свободных позах. Изредка, прикрывши рукой библейское место, они входили в воду, окунались и быстро бежали на свои продавленные в песке ложа, чтобы не потерять ни одного кубического сантиметра целительной солнечной ванны. Недостаток одежды у этих граждан с лихвой возмещал джентльмен совершенно *противоположного* вида. *Он разлегся на солнцепеке в стороне от общей массы купающихся.* Он был в хромовых ботинках с пуговицами, визиточных брюках, *черном,* наглухо застегнутом пиджаке, при воротничке, галстуке и часовой цепочке, а также в фетровой шляпе. Толстые усы *и вата* в ушах дополняли облик *джентльмена.* Рядом с ним торчала палка со стеклянным набалдашником, перпендикулярно воткнутая в песок. Зной томил его. Воротничок разбух от пота. Под *мышками джентльмена* было горячо, как в домне — там можно было плавить руду. Но он продолжал неподвижно лежать. На любом пляже мира можно встретить одного такого человека. Кто он такой, почему пришел сюда, почему лежит в полном обмундировании — ничего не известно. Но такие люди есть — по одному на каждый пляж. Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков, или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или *недорезанные коммивояжеры, или же* ополоумевшие холостяки — *ничего не известно.*

Егор Скумбриевич расположился рядом с членом лиги дураков и живо разделся. Голый Скумбриевич был разительно не похож на Скумбриевича одетого. Суховатая голова англичанина сидела на белом дамском теле с отлогими плечами и очень широким тазом. *Покачивая последним,* Егор подошел к воде, попробовал ее ногой и взвизгнул. Потом опустил в воду вторую ногу и снова взвизгнул. Затем он сделал несколько шагов вперед, заткнул большими пальцами уши, указательными закрыл глаза, средними прищемил ноздри, испустил душераздирающий крик и окунулся четыре раза подряд. Только после *этого* он поплыл вперед наразмашку, отворачивая голову при каждом взмахе руки. И мелкая волна приняла на себя Егора Скумбриевича — примерного геркулесовца и выдающегося

общественного работника. Через пять минут, когда уставший общественник перевернулся на спину и его круглое глобусное брюхо закачалось на поверхности моря, с обрыва над пляжем послышался антилоповский матчиш.

Из машины вышли Остап Бендер, Балаганов и бухгалтер Берлага, на лице которого выражалась полная покорность судьбе. Все трое спустились вниз и, бесцеремонно разглядывая физиономии купающихся, принялись кого-то разыскивать.

— Это его брюки, — сказал наконец Берлага, останавливаясь перед одеждами ничего не подозревавшего Скумбриевича. — Он, *наверно*, далеко заплыл.

— Хватит! — воскликнул великий комбинатор. — Больше ждать я не намерен. Приходится действовать не только на суше, но и на море.

Он скинул костюм и рубашку, под которыми оказались купальные трусы, и, размахивая руками, полез в воду. На груди великого комбинатора была синяя пороховая татуировка, изображавшая Наполеона в треугольной *шляпе с* пивной кружкой в короткой руке.

— Балаганов! — крикнул Остап уже из воды. — Разденьте и приготовьте Берлагу! Он, может быть, понадобится!

И великий комбинатор поплыл на боку, раздвигая воды медным плечом и держа курс на северо-северо-восток, где маячил перламутровый живот Егора Скумбриевича.

Прежде чем погрузиться в морскую пучину, Остапу пришлось *основательно* поработать на континенте. *В папку с надписью «Дело Корейко» лезли все новые лица.* Магистральный след завел великого комбинатора под золотые буквы *ГЕРКУЛЕС'а*, и он большую часть времени проводил в этом учреждении. Его уже не удивляли комнаты с альковами и умывальниками, статуи, *бездельничавшие на лестничных площадках*, и швейцар в фуражке с *золотыми зигзагами*, любивший потолковать об огненном погребении.

Из сумбурных объяснений отчаянного Берлаги выплыла полуответственная фигура товарища Скумбриевича. Он занимал большой двухоконный номер, в котором когда-то останавливались заграничные капитаны, укротители львов или богатые студенты из Киева. *На письменном столе Скумбриевича стояли два телефонных аппарата и звонок к курьеру на деревянной розетке, что одно уже указывало на немалый чин Егора. Телефоны* часто и раздражительно звонили, иногда отдельно, а иногда оба сразу. Но никто не снимал трубок. Еще чаще раскрывалась дверь, стриженая служебная голова, просунувшись в комнату, растерянно поводила очами и исчезала, чтобы тот-

час же дать место другой голове, но уже не стриженой, а поросшей жесткими патлами или попросту голой и сиреневой, как луковица. Но и луковичный череп ненадолго застревал в дверной щели. Комната была пуста.

Когда дверь открылась, быть может, в пятидесятый раз за этот день, в комнату заглянул Бендер. Он, как и все, повертел головой слева направо и справа налево и, как все, убедился в том, что товарища Скумбриевича в комнате нету. Дерзко выражая свое недовольство, великий комбинатор побрел по отделам, секциям, секторам и кабинетам, спрашивая, не видел ли кто товарища Скумбриевича. И во всех этих *местах получал* одинаковый ответ: «Скумбриевич только что здесь был», или «Скумбриевич минуту назад вышел».

Полуответственный Егор принадлежал к многолюдному виду служащих, которые или «только что здесь были», или «минуту назад вышли». Некоторые из них в течение целого служебного дня не могут даже добраться до своего кабинета. Ровно в девять часов такой человек входит в *учрежденский* вестибюль и, полный благих намерений, заносит ножку на первую ступень лестницы. Его ждут великие дела. Он назначил у себя в кабинете восемь важных рандеву, два широких заседания и одно узкое. На письменном столе лежит стопка бумаг, требующих немедленного ответа. Вообще, дел многое множество, суток не хватает. И полуответственный или ответственный гражданин бодро заносит ножку на мраморную ступень. Но опустить ее не так-то легко. «Товарищ Парусинов, на одну минуту, — слышится воркующий голос, — как раз я хотел проработать с вами один вопросик». Парусинова мягко берут под *ручку* и отводят в уголок вестибюля. И с этого момента ответственный или полуответственный работник погиб для страны — он пошел по рукам. Не *успевает* он проработать вопросик и пробежать три ступеньки, как его снова подхватывают, уводят к окну, или в темный коридор, или в какой-нибудь пустынный *закоулочек*, где неряха завхоз набросал пустые ящики, и что-то ему втолковывают, чего-то добиваются, на чем-то настаивают и просят что-то провернуть в срочном порядке. К трем часам дня он все-таки добирается до первой лестничной площадки. К пяти часам ему удается прорваться *даже* на площадку второго этажа. Но так как он обитает на третьем этаже, а служебный день уже окончился, он быстро бежит вниз и покидает учреждение, чтобы успеть на срочное междуведомственное совещание. А в это время в кабинете надрываются телефоны, рушатся назначенные рандеву, переписка лежит без ответа, а члены двух широких заседаний и одного узкого безучастно пьют чай и калякают о трамвайных неполадках.

У Егора Скумбриевича все эти особенности были чрезвычайно обострены общественной работой, которой он отдавался с излишней горячностью. Он умело и выгодно использовал взаимный и всесторонний обман, который как-то незаметно прижился в *ГЕРКУЛЕС'е* и почему-то носил название общественной нагрузки.

— *Что же это вы, товарищ, — говорил он, скользя по коридорам и останавливая не успевших увернуться сослуживцев, — вы ничего не делаете по общественной линии. Мы вас продернем в стенгазете.*

Сослуживец делал плачущую мину и, думая: «И чего ты врешь, подлый симулянт. Сам ничего не делаешь и другим мешаешь», — отвечал:

— *Да, вот, все собираюсь, товарищ Скумбриевич. Пожалуйста! Нагрузите! Я буду очень рад!*

— *Так я запишу вас в шефобщество, — сообщал Егор, — приходите послезавтра на организационное собрание. Пора уже двинуть это дело.*

И гергулесовец сидел на собрании три часа кряду, слушая унизительную болтовню Скумбриевича. *Вместе с ним сидели другие геркулесовцы.* Им всем очень хотелось схватить Егора за толстенькие ляжки и выбросить из окна с порядочной высоты. Временами им казалось даже, что никакой общественной деятельности вообще не существует и никогда не существовало, хотя они и знали, что за стенами *ГЕРКУЛЕС'а* есть какая-то другая, правильная общественная жизнь. «Вот скотина, — думали они, тоскливо вертя в руках карандаши и чайные ложечки, — *карьерист* проклятый!» Но придраться к Скумбриевичу, разоблачить его было не в их силах. Егор произносил правильные *слова* о советской общественности, о культработе, о профучебе и о кружках самодеятельности. *За* всеми этими горячими словами ничего не было. Пятнадцать кружков, политических и музыкально-драматических, вырабатывали уже два года свои перспективные планы, ячейки добровольных обществ, имевшие своей целью споспешествовать развитию авиации, химических знаний, автомобилизма, конного спорта, дорожного дела, *связи с деревней и узниками капитала,* а также скорейшему уничтожению *неграмотности, беспризорности, религии, пьянства и* великодержавного шовинизма, существовали только в воспаленном воображении членов месткома. А школа профучебы, *собрание* которой Скумбриевич ставил себе в особенную заслугу, все время перестраивалась, что, как известно, обозначает полную бездеятельность. Если бы Скумбриевич был честным человеком, он, вероятно, сам сказал бы, что вся эта работа ведется «в порядке

миража». Но в месткоме этот мираж облекался в отчеты, а в следующей профсоюзной инстанции существование музыкально-политических кружков *тоже* не вызывало никаких сомнений. Школа же профучебы рисовалась там в виде большого каменного здания, в котором стоят парты, бойкий учитель выводит мелом на доске кривую роста безработицы в Соединенных Штатах, а усатые ученики политически растут прямо на глазах. Из всего вулканического кольца общественной деятельности, которым Скумбриевич охватил *ГЕРКУЛЕС*, действовали только две огнедышащих точки: стенная газета «Голос председателя», выходившая раз в месяц и делавшаяся в часы занятий силами Скумбриевича и Бомзе, и фанерная доска с надписью: «Бросившие пить и вызывающие других», под которой, однако, не значилась ни одна фамилия.

Погоня за Скумбриевичем по этажам *ГЕРКУЛЕС'а* осточертела *Остапу*. Великий комбинатор никак не мог настигнуть славного общественника. Он ускользал из рук. Вот здесь, в месткоме, он только что говорил по телефону, еще горяча была мембрана и с черного лака телефонной трубки еще не сошел туман его дыхания. Вот тут, на подоконнике, еще сидел человек, с которым он только *что* разговаривал. Один раз Остап увидел даже отражение Скумбриевича в лестничном зеркале. Он бросился вперед, но зеркало тотчас же очистилось, отражая лишь окно с *облаком*.

— Матушка-заступница, милиция-троеручица! — воскликнул Остап, переводя дыхание. — Что за банальный, опротивевший всем бюрократизм. В нашем *черноморском* отделении тоже есть свои слабые стороны, всякие там неполадки в пробирной палатке, но такого, как в *ГЕРКУЛЕС'е*... Верно, Шура?

Уполномоченный по копытам испустил тяжелый насосный *вздох. И они* снова очутились в прохладном коридоре второго этажа, где успели побывать за этот день раз пятнадцать. И снова, в пятнадцатый раз, они прошли мимо деревянного дивана, стоявшего у полыхаевского кабинета.

На диване с утра сидел выписанный из Германии за большие деньги немецкий специалист, инженер *Генрих-Мария* Заузе. Он был в обыкновенном европейском костюме, и только украинская рубашечка, расшитая запорожским узором, указывала на то, что инженер пробыл в России недели три и уже успел посетить магазин кустарных изделий. Он сидел неподвижно, откинув голову на деревянную спинку дивана и прикрыв глаза, как человек, которого собираются брить. Могло бы показаться, что он дремлет. Но молочные братья, не раз пробегавшие мимо него в поисках Скумбриевича, успели заметить, что краски на неподвижном лице заморского гостя

беспрестанно меняются. К началу служебного дня, когда инженер занял позицию у дверей Полыхаева, лицо его было румяным в меру. С каждым часом оно все разгоралось и к перерыву для завтрака приобрело цвет почтового сургуча. По всей вероятности, товарищ Полыхаев добрался к этому времени лишь до второго лестничного марша. После перерыва смена красок пошла в обратном порядке. Сургучный цвет перешел в какие-то скарлатинные пятна, *Генрих-Мария* стал бледнеть и к середине дня, когда начальнику *ГЕРКУЛЕС'а*, по-видимому, удалось прорваться ко второй площадке, лицо иностранного специалиста стало крахмально-белым.

— Что с этим человеком делается! — шепнул Балаганову Остап. — Какая гамма переживаний!

Едва он успел произнести эти слова, как *Генрих-Мария* Заузе подскочил на диване и злобно посмотрел на полыхаевскую дверь, за которой слышались холостые телефонные звонки. «Wolokita!» — взвизгнул он дискантом и, бросившись к великому комбинатору, стал изо всей силы трясти его за плечи.

— Геноссе Полыхаев! — кричал он, прыгая перед Остапом. — Геноссе Полыхаев!!

Он вынимал часы, совал их под нос Балаганову, *подымал* плечи и опять набрасывался на Бендера.

— Вас махен зи? — ошеломленно спросил Остап, показывая некоторое знакомство с немецким языком. — Вас воллен зи от бедного посетителя?

Но *Генрих-Мария* Заузе не отставал. Продолжая держать левую руку на плече Бендера, правой рукой он подтащил к себе поближе Балаганова и произнес перед ними большую страстную речь, во время которой Остап нетерпеливо смотрел по сторонам в надежде поймать Скумбриевича, а уполномоченный по копытам негромко икал, почтительно прикрывая рот рукой и бессмысленно глядя на ботинки иностранца.

Инженер *Генрих-Мария* Заузе подписал контракт на год работы в СССР, или, как определял сам Генрих, любивший точность, *в* концерне *ГЕРКУЛЕС*. «Смотрите, господин Заузе, — предостерегал его знакомый доктор математики Бернгард Гернгросс, — за свои деньги большевики заставят вас поработать». Но Заузе объяснил, что работы не боится и давно уже ищет широкого поля для применения своих знаний в области механизации лесного хозяйства.

Когда Скумбриевич доложил Полыхаеву о приезде иностранного специалиста, начальник *ГЕРКУЛЕС'а* заметался под своими пальмами.

— Он нам нужен до зарезу! Вы куда его девали?

— Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги.

— Какой там может быть отдых! — вскричал Полыхаев. — Столько денег за него плачено, валюты. Завтра же, ровно в десять, он должен быть здесь.

Без пяти минут десять *Генрих-Мария* Заузе, сверкая кофейными брюками и улыбаясь при мысли о широком поле деятельности, вошел в полыхаевский кабинет. Начальника еще не было. Не было его также через час и через два. Генрих начал томиться. Развлекал его только Скумбриевич, который время от времени появлялся и с невинной улыбкой спрашивал:

— Что, разве геноссе Полыхаев еще не приходил? Странно.

Еще через два часа Скумбриевич остановил в коридоре завтракавшего Бомзе и начал с ним шептаться.

— Прямо не знаю, что делать. Полыхаев назначил немцу на десять часов утра, а сам уехал в Москву хлопотать насчет помещения. Раньше недели не вернется. Выручите, Адольф Николаевич. У меня общественная нагрузка, профучебу вот никак перестроить не можем. Посидите с немцем, займите его как-нибудь. Ведь за него деньги плачены, валюта.

Бомзе в последний раз понюхал свою ежедневную котлетку, проглотил ее и, отряхнув крошки, пошел знакомиться с гостем.

В течение недели инженер Заузе, руководимый любезным Адольфом Николаевичем, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь. После заседания состоялась неофициальная часть, во время которой избранные геркулесовцы очень веселились, потрясали лафитничками, севастопольскими стопками и, обращаясь к *Заузу*, кричали *«пейдодна»*.

«Дорогая Тили! — писал инженер своей невесте в Аахен, — вот уже десять дней я живу в Черноморске, но к работе в концерне *ГЕРКУЛЕС* еще не приступил. Боюсь, что эти дни у меня вычтут из договорных сумм».

Однако пятнадцатого числа артельщик-плательщик вручил Заузе полумесячное *жалование*.

— Не кажется ли вам, — сказал Генрих своему новому другу Бомзе, — что мне заплатили деньги зря? *Ведь я* не выполняю никакой работы!

— Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! — вскричал Адольф Николаевич. — Впрочем, если хотите, можно поставить вам специальный стол в моем кабинете.

После этого Заузе писал *письма своей* невесте, сидя за специальным собственным столом.

«Милая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуаль-

но, в договорные сроки. Все это меня удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернгроссу. Это покажется ему интересным».

Приехавший из Москвы Полыхаев, узнав, что у Заузе уже есть стол, обрадовался.

— Ну, вот и прекрасно, — сказал он, — *пусть* Скумбриевич введет немца в курс дела.

Но Скумбриевич, со всем своим пылом отдавшийся организации мощного кружка гармонистов-баянистов, сбросил немца Адольфу Николаевичу. Бомзе это не понравилось. Немец мешал ему закусывать и вообще лез не в свои дела, и Бомзе сдал его в эксплуатационный отдел. Но так как этот отдел в то время перестраивал свою работу, что заключалось в бесконечном перетаскивании столов с места на место, то *Генриха-Марию* сплавили в финсчетный зал. Здесь Арников, Дрейфус, Сахарков, Корейко и *Тезоименицкий*, не владевшие немецким языком, решили, что *Заузе иностранный* турист из Аргентины, и по целым дням объясняли ему геркулесовскую систему бухгалтерии. При этом они *употребляли азбуку* для глухонемых.

Через месяц очень взволнованный Заузе поймал Скумбриевича в буфете и принялся кричать:

— Я не желаю получать деньги даром! Дайте мне работу! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону!

Конец речи иностранного специалиста не понравился Скумбриевичу. Он вызвал к себе Бомзе.

— Что с немцем? — спросил он. — Чего он бесится?

— Знаете что, — сказал Бомзе, — по-моему, он просто склочник. Ей-богу! Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется.

— *Нет,* действительно склочная натура, — заметил Скумбриевич, — даром что немец. К нему надо применить репрессии. Я как-нибудь скажу Полыхаеву. Тот его живо в бутылку загонит!

Однако *Генрих-Мария* решил *сам пробиться к Полыхаеву*. Но, ввиду того что начальник *ГЕРКУЛЕС'а* был видным представителем работников, которые «минуту тому назад вышли» или «только что здесь были», попытка эта привела только к сидению на деревянном диване и взрыву, жертвами которого стали невинные дети лейтенанта Шмидта.

— Бюрократизмус! — кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык.

Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:

— Сюда. Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, *оне кладут* жалобы... И никто их не вынимает. Вынимать. Я не вынимаю, ты не вынимаешь...

Но тут великий комбинатор увидел в конце коридора широкие бедра Скумбриевича и, не докончив урока грамматики, побежал за неуловимым общественником.

— Держись, Германия! — поощрительно крикнул немцу Балаганов, устремляясь за командором.

Но, к величайшей досаде Остапа, Скумбриевич снова исчез, словно бы вдруг дематериализовался.

— Это уже мистика, — сказал Бендер, вертя головой, — только что был человек, и нет его!

Молочные братья в отчаянии принялись открывать все двери подряд. Но уже из третьей комнаты Балаганов выскочил, как из проруби. Лицо его невралгически скосилось на сторону.

— Ва-ва, — сказал уполномоченный по копытам, прислоняясь к стене, — ва-ва-ва.

— Что с вами, дитя мое? — спросил Бендер. — Вас кто-нибудь обидел?

— Там... — пробормотал Балаганов, протягивая *дрожащую* руку.

Остап открыл дверь и увидел черный гроб. Гроб покоился посреди комнаты на канцелярском столе с тумбами. Остап снял свою капитанскую фуражку и на носках подошел к гробу. Балаганов с боязнью следил за его действиями. Через минуту Остап поманил Балаганова и показал ему большую белую надпись, выведенную на гробовых откосах.

— Видите, Шура, что здесь написано? — сказал он. — «Смерть бюрократизму!» Теперь вы успокоились?

Это был прекрасный агитационный гроб, который по большим праздникам геркулесовцы вытаскивали на улицу и с песнями носили по всему городу. Обычно гроб поддерживали плечами Скумбриевич, Бомзе, Берлага и сам Полыхаев, который был человеком демократической складки и не стыдился показываться рядом с подчиненными на различных шествиях и политкарнавалах. Скумбриевич очень уважал этот гроб и придавал ему большое значение. Иногда, навесив на себя фартук, Егор собственноручно перекрашивал гроб заново и освежал антибюрократические лозунги, в то время как в *кабинете его* хрипели и закатывались телефоны и разнообразнейшие головы, просунувшись в дверную щель, грустно поводили очами.

Егор так и не нашелся. Швейцар в фуражке с *зигзагами* сообщил Бендеру, что товарищ Скумбриевич минуту тому назад здесь был и только что ушел, уехал купаться на Комендантский пляж, что давало ему, как он говаривал, зарядку бодрости.

Прихватив на всякий случай Берлагу и растолкав дремавшего за рулем Козлевича, антилоповцы отправились за город.

Надо ли удивляться тому, что распаленный всем происшедшим Остап не стал медлить и полез за Скумбриевичем в воду, нисколько не смущаясь тем, что важный разговор о нечистых акционерных делах придется вести в Черном море.

Балаганов в точности исполнил приказание командора. Он раздел покорного Берлагу, подвел к воде и, придерживая его обеими руками за талию, принялся терпеливо ждать. В море, как видно, происходило тяжелое объяснение. Остап кричал, как морской царь. Слов нельзя было разобрать. Видно было только, что Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море. Затем голоса усилились, и стали слышны отдельные слова: «Интенсивник», «А кто брал? Папа римский брал?», «Причем тут я?»

Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик:

— Можно пускать!

Балаганов спустил в море бухгалтера, который с необыкновенной быстротой поплыл по-собачьи, колотя воду руками и ногами. При виде Берлаги Егор Скумбриевич в страхе окунулся с головой.

Уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут двадцать. Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал:

— Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.

— Выдал, гадюка? — добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным *пальцем*, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.

Прыгая на одной ноге и нацеливаясь *другой* в штанину, Берлага туманно пояснил:

— Я сделал *это* не в интересах истины, а в интересах правды.

Вторым прибыл великий комбинатор. Он с размаху лег на живот и, прижавшись щекой к нагретому песку, долго и многозначительно смотрел на вылезавшего из воды синего Скумбриевича. Потом он принял из рук Балаганова папку и, смачи-

вая карандаш языком, принялся заносить в дело добытые тяжелым трудом *сведения.*

Удивительное превращение произошло с Егором Скумбриевичем! Еще полчаса назад волна приняла на себя активнейшего общественника, такого человека, о котором даже председатель месткома товарищ Нидерландюк говорил: «*кто*-кто, а Скумбриевич не подкачает!» А ведь подкачал Скумбриевич! И как подкачал! Мелкая летняя волна доставила на берег уже не дивное женское тело с головой бреющегося англичанина, а какой-то бесформенный бурдюк, наполненный горчицей и хреном.

В то время, покуда великий комбинатор пиратствовал на море, *Генрих-Мария* Заузе, подстерегший все-таки Полыхаева и имевший с ним весьма крупный разговор, вышел из *ГЕРКУЛЕС'а* в полном недоумении. Странно улыбаясь, он отправился на почтамт и там, стоя за конторкой, покрытой стеклянной доской, написал письмо невесте в город Аахен.

«Дорогая девочка! Спешу сообщить тебе радостную весть. Наконец-то мой патрон Полыхаев отправляет меня на производство. Но вот что меня поражает, дорогая Тили, — *здесь* это называется загнать в бутылку (sagnat w *butilkou*). Мой новый друг Бомзе *сообщал*, что на производство меня посылают в виде наказания. Можешь ли ты себе это представить? И сможет ли это когда-нибудь понять наш добрый доктор математики Бернгард Гернгросс?»

Глава девятнадцатая

Универсальный штемпель

К двенадцати часам следующего дня по *ГЕРКУЛЕС'у* пополз слух о том, что начальник заперся с каким-то посетителем в своем пальмовом зале и вот уже три часа не отзывается ни на стук Серны Михайловны, ни на вызовы по внутреннему телефону. Геркулесовцы терялись в догадках. Они привыкли к тому, что Полыхаева весь день водят под ручку в коридорах, усаживают на *подоконник* или затаскивают под лестницу, где и решаются все дела. Возникло даже предположение, что начальник отбился от категории работников, которые «только что вышли» и примкнул к влиятельной группе «затворников», которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, запираются там, выключают телефон и, оттгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады. *Система затворничества дает такие же результаты, что и система работы «под ручку». Если в одном случае посетитель, открыв дверь кабинета, не находит нужного работника, то в другом случае он просто не может открыть дверь, хотя нужный работник именно за ней и скрывается.*

А между тем работа шла, бумаги требовали подписей, ответов и резолюций. Серна Михайловна недовольно подходила к полыхаевской двери и прислушивалась. При этом в ее боль-

ших ушах раскачивались легкие жемчужные шарики. *Но из пальмового зала шел ровный гул голосов.*

— Факт, не имеющий прецедента, — глубокомысленно сказала секретарша.

— Но кто же, *кто* у него сидит? — спрашивал Бомзе, от которого несло смешанным запахом одеколона и котлет. — Может, кто-нибудь из инспекции?

— Да нет, говорю вам, обыкновенный посетитель.

— И Полыхаев сидит с *обыкновенным посетителем* уже три часа?

— Факт, не имеющий прецедента! — повторила Серна Михайловна.

— Где же выход из этого исхода? — взволновался Бомзе. — Мне срочно нужна резолюция Полыхаева! У меня подробный доклад о неприспособленности бывшего помещения «Жесть и бетон» к условиям работы *ГЕРКУЛЕС'а*. Я не могу без резолюции.

Серну Михайловну со всех сторон осадили сотрудники. Все они держали в руках большие и малые бумаги. Прождав еще час, в *продолжении* которого гул за дверью не затихал, Серна Михайловна уселась за свой стол и кротко сказала:

— Хорошо, товарищи. Подходите с вашими бумагами.

Она извлекла из шкафа длинную деревянную стоечку, на которой покачивалось тридцать шесть штемпелей с толстенькими лаковыми головками, и, проворно вынимая из гнезд нужные печати, принялась оттискивать их на бумагах, не терпящих отлагательства.

Начальник *ГЕРКУЛЕС'а* давно уже не подписывал бумаг собственноручно. В случае надобности он вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно дохнув на нее, оттискивал против своего титула сиреневое факсимиле. Этот трудовой процесс очень ему нравился и даже натолкнул на мысль, что некоторые, наиболее употребительные резолюции не худо бы тоже перевести на резину.

Так появились на свет первые каучуковые изречения:

«Не возражаю. Полыхаев».
«Согласен. Полыхаев».
«Прекрасная мысль. Полыхаев».
«Провести в жизнь. Полыхаев».

Проверив новое приспособление на практике, начальник *ГЕРКУЛЕС'а* пришел к выводу, что оно значительно упрощает его труд и нуждается в дальнейшем поощрении и развитии. Вскоре была пущена в работу новая партия резины. На этот раз резолюции были многословнее:

«Объявить выговор в приказе. Полыхаев».
«Поставить на вид. Полыхаев».
«Бросить на периферию. Полыхаев».
«Уволить без выходного пособия. Полыхаев».

Борьба, которую начальник *ГЕРКУЛЕС'а* вел с коммунотделом из-за помещения, вдохновила его на новые стандартные тексты:

«Я коммунотделу не подчинен. Полыхаев».
«Что они там, с ума посходили? Полыхаев».
«Не мешайте работать. Полыхаев».
«Я вам не ночной сторож. Полыхаев».
«Гостиница принадлежит нам — и точка. Полыхаев».
«Знаю я ваши штуки. Полыхаев».
«И кроватей не дам, и умывальников. Полыхаев».

Эта серия была заказана в трех комплектах. Борьба предвиделась длительная, и проницательный начальник не без оснований опасался, что *резина быстро сотрется.*

Затем был заказан набор резолюций для внутригеркулесовских нужд.

«Спросите у Серны Михайловны. Полыхаев».
«Не морочьте мне голову. Полыхаев».
«Тише едешь — дальше будешь. Полыхаев».
«А ну вас всех. Полыхаев».

Творческая мысль *Полыхаева* не ограничилась, конечно, исключительно административной стороной дела. Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала *от* необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция.

В ответ на ....
....
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества *продукции*,

б) увеличением производительности труда,

в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,

г) уничтожением *прогулов,*

д) уменьшением накладных *расходов,*

е) общим ростом профсоюзной активности,

ж) отказом от празднования *Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения* и *др.* религиозных праздников,

з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством *и пьянством,*

и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,

к) поголовным переходом на *новый быт,*

л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.

А также всем, что понадобится впредь.

Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.

Например: «В ответ на бесчинство английских твердолобых». Или: «В ответ на происки пилсудчиков». Или: «В ответ на очередные выпады женевских миротворцев».

Постепенно Полыхаев разохотился и стал все чаще и чаще пускать в ход свою универсальную резолюцию. Дошло до того, что он отвечал ею на выпады, происки и бесчинства собственных сотрудников:

Например: «В ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных, ответим...» Или: «В ответ на мерзкие происки и подлые выпады сотрудника Борисохлебского, попросившего внеочередной отпуск, ответим» и так далее. И на все это надо было *ответить* повышением, увеличением, усилением, уничтожением, уменьшением, общим ростом, отказом от, беспощадной борьбой, поголовным вступлением, поголовным переходом, поголовным переводом, а также всем, что понадобится впредь.

И только отчитав таким образом Кукушкинда и Борисохлебского, начальник пускал в дело коротенькую резинку: «Поставить на вид. Полыхаев» или «Бросить на периферию. Полыхаев».

При первом знакомстве с резиновой резолюцией отдельные геркулесовцы опечалились. Их пугало обилие пунктов. В особенности смущал пункт о латинском алфавите и о поголовном вступлении в общество «Долой рутину с оперных подмостков». Однако все обернулось мирно. Скумбриевич, правда,

размахнулся и организовал, кроме названного общества, еще и кружок «Долой *Хованщину*», но этим все дело и ограничилось.

И покуда за полыхаевской дверью слышался вентиляторный рокот голосов, Серна Михайловна бойко работала. Стоечка со штемпелями, расположившимися по росту — от самого *маленького* «Не возражаю. Полыхаев.» до самого большого — универсального, напоминала мудреный цирковой инструмент, на котором белый клоун с солнцем *на заднице* играет палочками серенаду Брага. Секретарша выбирала приблизительно подходящий по содержанию штемпель и клеймила им бумаги. Больше всего она налегала на осторожную *резинку* «Тише едешь — дальше будешь», памятуя, что это была любимейшая резолюция начальника.

Работа шла без задержки. Резина отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев нисколько не уступал Полыхаеву живому.

Уже опустел *ГЕРКУЛЕС* и босоногие уборщицы ходили по *коридорам* с грязными ведрами, уже ушла последняя машинистка, задержавшаяся на час, чтобы *напечатать* лично для себя *стихи Есенина* «Влача стихов злаченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать», уже Серна Михайловна, которой надоело ждать, поднялась и, *пред* тем как выйти на улицу, стала массировать *себе* веки холодными пальцами, — когда дверь полыхаевского кабинета задрожала, отворилась и оттуда лениво вышел Остап Бендер. Он сонно посмотрел на Серну Михайловну и пошел прочь, размахивая желтой папкой с ботиночными тесемками. Вслед за ним из-под живительной тени пальм и сикомор вынырнул Полыхаев. Серна взглянула на своего высокого друга и без звука опустилась на квадратный матрасик, смягчавший жесткость ее стула. Как хорошо, что сотрудники уже разошлись и в эту минуту не могли видеть своего начальника. В усах у него, как птичка в ветвях, сидела алмазная слеза. Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. Он побежал за Остапом, позорно улыбаясь и выгибая стан.

— Что же будет? — бормотал он, забегая то с одной, то с другой стороны. — Ведь я не погибну? Ну, скажите же, золотой мой, серебряный, я не погибну? Я могу быть спокоен?

Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону; но в *горле* что-то само по себе пикнуло, и он промолчал.

Плачевно подвывая, он сопровождал Остапа до самого вестибюля. В опустевшем здании они встретили только двух че-

ловек. В конце коридора стоял Егор Скумбриевич. При виде великого комбинатора он схватился за челюсть и отступил в нишу. Внизу, на лестнице, из-за мраморной девушки с электрическим факелом выглядывал бухгалтер Берлага. Он раболепно поклонился Остапу и даже молвил *«здравствуйте»;* но Остап не ответил на приветствие вице-короля.

У самого выхода Полыхаев схватил Остапа за рукав и пролепетал:

— Я ничего не утаил. Честное слово. Я могу быть спокоен. Правда?

— Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, — ответил Остап, не замедляя хода. — Так вам скажет любой агент по страхованию жизни. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется.

Глава двадцатая

Командор танцует танго

В маленьком буфете искусственных минеральных вод, на вывеске которого были намалеваны синие сифоны, сидели за белым столиком Балаганов и Паниковский. Уполномоченный по копытам жевал трубочку, следя за тем, чтобы крем не *выдавливался* с противоположного конца. Этот харч богов он запивал сельтерской водой с зеленым сиропом «*свежее* сено». Курьер пил целебный кефир. Перед ним стояли уже шесть пустых бутылочек. Из седьмой Паниковский озабоченно вытряхивал в стакан густую жидкость. Сегодня в конторе новая письмоводительница платила жалованье по ведомости, подписанной Бендером, и друзья наслаждались прохладой, шедшей от итальянских каменных плит буфета, от несгораемого шкафа-ледника, где хранилась мокрая брынза, от потемневших цилиндрических баллонов с шипучей водой и от мраморного прилавка. Кусок льда выскользнул из шкафа и лежал на полу, истекая водой. На него приятно было взглянуть после утомительного вида улицы с короткими тенями, с прибитыми жарою прохожими и очумевшими от жажды псами.

— Хороший город Черноморск, — сказал Паниковский, облизываясь. — *Я здесь поправился.* Кефир хорошо помогает от сердца.

Это сообщение почему-то рассмешило Балаганова. Он неосторожно прижал трубочку, и из нее выдавилась толстая колбаска крема, которую уполномоченный еле успел подхватить на лету.

— Знаете, Шура, — продолжал Паниковский, — я как-то перестал доверять Бендеру. Он что-то не то делает.

— Ну, ну, — угрожающе сказал Балаганов. — Тебя не спрашивали!

— Нет, серьезно, я очень уважаю Остапа Ибрагимовича, это такой человек!.. Даже Фунт, — вы знаете, как я уважаю Фунта, — сказал про Бендера, что это — голова. Но я вам скажу, Шура, Фунт — осел. Ей-богу, это такой дурак! Просто жалкая, ничтожная личность! А против Бендера я ничего не возражаю. Но мне кое-что не нравится. Вам, Шура, я все скажу, как родному.

Со времени последней беседы с субинспектором уголовного розыска к Балаганову никто не обращался как к родному. Поэтому он с удовлетворением выслушал слова курьера и легкомысленно разрешил ему продолжать.

— Вы знаете, Шура, — зашептал Паниковский, — я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать — *Бендер осел*! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!..

— Но, но, — предостерегающе сказал Балаганов.

— При чем *тут но*-но! Вы только подумайте, на что он тратит наши деньги! Вы только вспомните. Зачем нам эта дурацкая контора? Сколько расходов! Одному Фунту мы платим сто двадцать. А конторщица! Теперь еще каких-то двух прислали, я видел — они сегодня жалованье по ведомости получали. Бронеподростки! Зачем это все? Он говорит — для легальности. Плевал я на легальность, если она стоит таких денег! А оленьи рога за шестьдесят пять рублей! А чернильница! А все эти дыросшиватели!..

Паниковский расстегнул пиджак, и полтинничная манишка, пристегнутая к шее нарушителя конвенции, взвилась вверх, свернувшись как пергаментный свиток. Но Паниковский так разгорячился, что не обратил на это внимания.

— Да, Шура. Мы с вами получаем мизерный оклад, а он купается в роскоши. И зачем, спрашиваю я, он ездил на Кавказ? Он говорит — в командировку. Не верю. Паниковский не обязан всему верить. И я бегал для него на пристань за билетом. Заметьте себе, за билетом первого класса. Этот невский франт не может ездить во втором *классе*. Вот куда уходят наши десять тысяч! Он разговаривает по *междугороднему* телефону, рассылает по всему свету телеграммы-молнии! Вы знаете, сколько стоит молния? Сорок копеек слово. *Любое слово стоит сорок копеек!* А я *вынужден* отказывать себе в кефире, который ну-

жен мне для здоровья. Я старый, больной человек. Скажу вам прямо — Бендер это не голова!

— Вы все-таки не очень-то, — заметил Балаганов, колеблясь, — *ведь* Бендер сделал из вас человека. Вспомните, как в Арбатове вы *бегали* с гусем. А теперь вы служите, получаете ставку, вы член общества!

— Я не хочу быть членом общества! — *завизжал* вдруг Паниковский и, понизив голос, добавил: — Ваш Бендер — идиот! Затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно сегодня же взять голыми руками.

Тут уполномоченный по копытам, не помышляя больше о любимом начальнике, пододвинулся к Паниковскому. И тот, беспрерывно отгибая вниз непослушную манишку, поведал Балаганову о серьезнейшем опыте, который он проделал на свой страх и риск.

Оказывается, Паниковский не дремал. В тот день, когда великий комбинатор и Балаганов гонялись за Скумбриевичем, Паниковский самовольно бросил контору на старого Фунта, тайно проник в комнату Корейко и, пользуясь отсутствием хозяина, произвел в ней *тщательнейший* осмотр. Конечно, никаких денег он в комнате не нашел, но он *нашел* нечто получше — гири, очень большие черные гири, пуда по полтора каждая.

— Вам, Шура, я скажу как родному. *Бендер всегда нас учил, что человека кормят идеи. А сам не мог разгадать простой вещи. Не хватило соображения. Ваше счастье, Балаганов, что вы работаете с Паниковским.* Я раскрыл секрет этих гирь.

Паниковский поймал наконец живой хвостик своей манишки, пристегнул его к пуговице на брюках и торжественно взглянул на Балаганова.

— Какой же может быть секрет? — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. — Обыкновенные гири для гимнастики!

— Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, — загорячился Паниковский, — но вы осел! Это золотые гири. Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда, *три* пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило! Я стоял перед этими гирями и *безумно* хохотал. Какой подлец этот Корейко! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному — *разве я вам рассказал бы* этот секрет, если бы мог *вынести* гири один? Но я старый, больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер. Я честный.

— А вдруг они не золотые? — спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения.

— А какие *же* они, по-вашему? — иронически спросил нарушитель конвенции.

— Да, — сказал Балаганов, *мигая* рыжими ресницами, — теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик — и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает, пишет бумажки, ездит... Мы ему все-таки дадим часть, по справедливости, а?

— С какой стати? — возразил Паниковский. — Все нам. Теперь мы замечательно будем жить, Шура! Я вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу, женюсь, честное, благородное слово!..

Ценные гири решено было изъять без промедления.

— Заплатите за кефир, Шура, — сказал Паниковский, — потом сочтемся.

Заговорщики вышли из буфета и, ослепленные солнцем, принялись кружить по городу. Их томило нетерпение. Они подолгу стояли на городских мостах и, налегши животами на парапет, безучастно глядели вниз, на крыши домов *и* спускавшиеся в гавань улицы, по которым с осторожностью лошади съезжали грузовики. Жирные портовые воробьи долбили клювами мостовую, в то время как из всех подворотен за ними следили грязные кошки. За ржавыми крышами, чердачными фонарями и антеннами *виднелась* синенькая вода, катерок, бежавший во весь дух, и желтая пароходная труба с большой красной буквой. Время от времени Паниковский *подымал* голову и принимался считать. Он переводил пуды на килограммы, *килограммы на* старозаветные золотники, и каждый раз получалась такая заманчивая цифра, что нарушитель конвенции даже легонько повизгивал.

В одиннадцатом часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нес свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. Он часто останавливался, ставил гирю на тротуар и бормотал: «Женюсь! Честное, благородное слово, женюсь!» Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря по инерции продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление.

У дверей конторы они остановились.

— Сейчас мы отпилим по кусочку, — озабоченно сказал Паниковский, — а завтра утром продадим. У меня есть один знакомый часовщик, господин Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то что в Черноторге, где никогда настоящей цены не дадут.

Но тут заговорщики заметили, что из-под зеленых конторских занавесок пробивается свет.

— Кто ж там может быть в такой час? — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.

За письменным столом, *освещенным* боковым светом сильной штепсельной лампы, сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.

— Писатель! — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.

— Конечно, — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись, — опять пишет. Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит. Но где же мы будем пилить?..

И, жарко толкуя о необходимости завтра же утром сбыть *часовщику Биберхаму два кусочка золота*, молочные братья подняли свой груз и пошли в темноту.

Между тем великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейко. Со всех пяти избушек, составлявших чернильный прибор «Лицом к деревне», были сняты бронзовые крышечки. Остап макал перо без разбора, куда попадет рука, ездил по стулу и шаркал под столом ногами.

У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал и только на рассвете поймал наконец талию. Всю ночь не вязались банки и не шла карта. Игрок менял столы, старался *заманить* судьбу и найти везучее место. Но карта упрямо не шла. Уже он *начинал* «выжимать», то есть, посмотрев на первую карту, медленнейшим образом выдвигать из-за ее спины другую, уже клал он карту на край стола и смотрел на нее снизу, уже складывал обе карты рубашками наружу и раскрывал их, как *книгу, словом*, проделывал все то, что проделывают люди, когда им не везет в девятку. Но это не помогало. В руки шли по большей части картинки: валеты с веревочными усиками, дамы, нюхающие бумажные *лилии*, и короли с дворницкими бородами. Очень часто попадались черные и розовые десятки. В общем, шла та мерзость, *которая официально называется* «баккара», *а неофициально* «бак» или «жир». И только в тот час, когда люстры желтеют и тухнут, когда под плакатами «спать воспрещается» храпят и захлебываются на стульях неудачники в заношенных воротничках, совершается чудо. Банки вдруг начинают вязаться, отвратительные фигуры и десятки исчезают, валят восьмерки и девятки. Игрок уже не мечется по залу, не выжимает *карт*, не заглядывает в *них* снизу. Он чувствует в руках счастливую талию. И уже марафоны столпились позади счастливца, дергают его за плечи и подхалимски шепчут: «Дядя Юра, дайте три рубля*!*». А он, бледный и гордый, дерзко переворачивает карты и под крики: «Освобождаются места за девятым столом! и «Аматорские, пришлите по

полтиннику!» — потрошит своих партнеров. И зеленый стол, разграфленный белыми линиями и дугами, становится для него веселым и радостным, как футбольная площадка.

Для Остапа уже не было сомнений. В игре наступил перелом. Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами, с которыми пришлось сшибиться Остапу и которые оставили след в желтой папке с ботиночными тесемками, внезапно посыпались в сторону, и на передний план, круша всех и вся, выдвинулось белоглазое ветчинное рыло с пшеничными бровями и глубокими ефрейторскими складками на щеках.

Остап поставил точку, промакнул жизнеописание *пресс-папье* с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Он любил держать дела в порядке. Последний раз полюбовался он хорошо разглаженными показаниями, телеграммами и различными справками. В папке были даже *какие-то* фотографии и *выписки* из бухгалтерских книг. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты и подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором *он* мечтал всю жизнь.

— И некому даже оценить *моего титанического труда*, — грустно сказал Остап, *подымаясь* и зашнуровывая толстую папку. — Балаганов очень мил, но глуп. Паниковский — просто вздорный старик. А *Козлевич ангел* без крыльев. Он до сих пор не сомневается в том, что мы заготовляем рога для нужд мундштучной промышленности. Где же мои друзья, мои жены, мои дети? Одна надежда, что уважаемый Александр Иванович оценит мой великий труд и выдаст мне на бедность тысяч пятьсот. Хотя нет! Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать.

Остап вышел из-за стола, взял свою замечательную папку и задумчиво принялся расхаживать по пустой конторе, огибая машинку с турецким акцентом, железнодорожный компостер и почти касаясь головой оленьих рогов. Белый шрам на горле Остапа порозовел. Постепенно движения великого комбинатора все замедлялись, и его ноги в красных башмаках, *купленных* у греческого матроса, начали бесшумно скользить по полу. Незаметно он стал двигаться боком. Правой рукой он нежно, как девушку, прижал к груди папку, а левую вытянул вперед. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса *фортуны*. Это был тонкий музыкальный звук, который перешел вдруг в легкий скрипичный унисон. И хватающая за серд-

це, давно позабытая мелодия заставила звучать все предметы, находившиеся в Черноморском отделении Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт.

Первым начал самовар. Из него внезапно вывалился на поднос охваченный пламенем уголек. И самовар запел:

«Под *небом знойной* Аргентины,
Где небо *нежное* так сине...»

Великий комбинатор танцевал танго. Его медальное лицо было повернуто в профиль. Он становился на одно колено, быстро *подымался*, поворачивался и, легонько переступая ногами, снова скользил вперед. Невидимые фрачные фалды разлетались при неожиданных поворотах.

А мелодию уже перехватила пишущая машинка с турецким акцентом:

«...Гдэ нэбо южноэ так синэ,
Гдэ жэнщины, как на картинэ...»

И неуклюжий, видавший виды чугунный компостер глухо вздыхал о невозвратном времени:

«...Где женщины, как на картине,
Танцуют все танго».

Остап танцевал классическое провинциальное танго, которое исполняли в театрах миниатюр двадцать лет тому назад, когда бухгалтер Берлага носил свой первый *костюм*, Скумбриевич служил в канцелярии градоначальника, Полыхаев держал экзамен на первый гражданский чин, а зицпредседатель Фунт был еще бодрым семидесятилетним человеком и вместе с другими пикейными жилетами сидел в кафе «Флорида», обсуждая ужасный факт закрытия Дарданелл в связи с итало-турецкой войной. И пикейные жилеты, в те времена еще румяные и гладкие, перебирали политических деятелей той эпохи. «Энвер-бей — это голова! *Юан-Ши-Кай* — это голова! Пуришкевич — все-таки тоже голова!» *И* уже тогда они утверждали, что «Бриан — это голова, потому что *и тогда он* был министром».

Остап танцевал. Над его головой трещали пальмы и проносились цветные птички. Океанские пароходы терлись бортами о пристани Рио-де-Жанейро. Сметливые бразильские купчины на глазах у всех занимались кофейным демпингом, и в открытых ресторанах местные молодые люди развлекались спиртными напитками.

— Командовать парадом буду я! — воскликнул великий комбинатор.

Потушив свет, он вышел из *конторы* и кратчайшим путем направился на Малую Касательную улицу. Бледные циркульные ноги прожекторов раздвигались по небу, спускались вниз, внезапно срезали кусок дома, открывая балкон *с фикусами* или стеклянную арнаутскую галерею с остолбеневшей от неожиданности парочкой. Из-за угла навстречу Остапу, раскачиваясь и стуча гусеничными лентами, выехали два маленьких танка с круглыми грибными шляпками. Кавалерист, нагнувшись с седла, расспрашивал прохожего, как ближе проехать к *старому* рынку. В одном месте Остапу преградила путь артиллерия. Он проскочил *улицу* в интервале между двумя батареями. В другом — милиционеры торопливо прибивали к воротам дома доску с черной надписью: «Газоубежище».

Остап торопился. Его подгоняло аргентинское танго. Не обращая внимания на окружающее, он вошел в дом Корейко и постучал в знакомую дверь.

— Кто там? — послышался голос подпольного миллионера.

— Телеграмма, — ответил великий комбинатор, подмигнув в темноту.

Дверь открылась, и он вошел, зацепившись папкой за дверной косяк.

На рассвете далеко за городом сидели в овраге уполномоченный и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Рядом с Паниковским лежала на траве манишка. Он ее снял — она мешала работать. Под гирями предусмотрительный нарушитель конвенции разостлал *газетные листы*, дабы ни одна пылинка драгоценного металла не пропала зря. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой. В утренней тишине *слышалось* только посвистывание сусликов и скрежетание нагревшихся ножовок.

— Что такое, — сказал вдруг Балаганов, переставая работать, — *три* часа уже пилю, а оно все еще не золотое?

Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.

— Ну-с, попилим еще! — бодро сказал рыжеволосый Шура.

— Конечно, надо пилить! — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.

Он закрыл лицо ладонью и сквозь растопыренные пальцы смотрел на мерно двигавшуюся широкую спину Балаганова.

— Ничего не понимаю! — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. — Это не золото.

— Пилите, пилите, — пролепетал Паниковский.

Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.

— Не подходите ко мне с этим железом! — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. — Я вас презираю!

Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Разозлившийся Балаганов сперва с наслаждением топтал *ногами* манишку, а потом приступил к ее собственнику. Нанося удары, Шура приговаривал:

— Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?

Кроме того, первенец лейтенанта вспомнил о нарушении сухаревской конвенции, что обошлось Паниковскому в несколько лишних тумаков.

— Вы мне ответите за манишку! — злобно кричал Паниковский, закрываясь локтями. — Имейте в виду, манишки я вам никогда не прощу! Теперь таких манишек нет в продаже!..

В заключение Балаганов отобрал у противника ветхий кошелечек с тридцатью восемью рублями.

— Это за твой кефир, гадюка! — сказал он при этом.

В город возвращались без радости.

Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.

— Я бедный и несчастный старик! — всхлипывал он. — Вы мне ответите за манишку! Отдайте мне мои деньги!

— Ты у меня получишь! — говорил Шура, не оглядываясь. — Все Бендеру скажу! Авантюрист!

Глава *двадцать первая*

Конец «Вороньей слободки»

Варвара Птибурдукова была счастлива. Сидя за круглым столом, она обводила взором свое хозяйство. В комнате Птибурдуковых стояло много мебели, так что свободного места почти не было. Но и той площади, которая оставалась, было достаточно для счастья. Лампа *бросала* свет за окно, где, как дамская брошь, дрожала маленькая зеленая *веточка*. На столе *лежало* печенье, конфеты и маринованный судак в круглой железной коробочке. Штепсельный чайник собрал на своей кривой поверхности весь уют птибурдуковского гнезда. В нем *отражалась* и кровать, и белые занавески, и ночная тумбочка. Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками. Он тоже был счастлив. Пропуская сквозь усы папиросный дым, он выпиливал *лобзиком* из фанеры игрушечный дачный нужник. Работа была кропотливая. Необходимо было выпилить стенки, наложить косую крышу, устроить внутреннее оборудование, застеклить окошечко и приделать к *двери* микроскопический крючок. Птибурдуков работал со страстью, он считал выпиливание по дереву лучшим отдыхом.

Закончив работу, инженер радостно засмеялся, похлопал жену по толстой, теплой спине и придвинул к себе коробочку с судаком. Но в эту минуту послышался сильный стук в

дверь, мигнула лампа, и чайник сдвинулся с проволочной подставки.

— Кто бы это так поздно? — молвил Птибурдуков, открывая дверь.

На лестнице стоял Васисуалий Лоханкин. Он по самую бороду был завернут в белое марсельское одеяло, из-под которого виднелись волосатые ноги. К груди он прижимал книгу «Мужчина и женщина», толстую и раззолоченную, как икона. Глаза Васисуалия блуждали.

— Милости просим, — ошеломленно сказал инженер, делая шаг назад. — Варвара, что это?

— Я к вам пришел навеки поселиться, — ответил Лоханкин гробовым ямбом, — надеюсь я найти у вас приют!

— *Как приют*? — сказал Птибурдуков, багровея. — Что вам угодно, Васисуалий Андреевич?

На площадку выбежала Варвара.

— Сашук! Посмотри, он голый! — закричала она. — Что случилось, Васисуалий? Да войди же, войдите!

Лоханкин переступил порог босыми ногами и, бормоча «*несчастье*, несчастье», начал метаться по комнате. Концом одеяла он сразу смахнул на пол тонкую столярную работу Птибурдукова. Инженер отошел в угол, чувствуя, что ничего хорошего уже не предвидится.

— Какое несчастье? — допытывалась Варвара. — Почему ты в одном одеяле?

— Я к вам пришел навеки поселиться! — повторил Лоханкин коровьим голосом.

Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому восковому полу тревожную дробь.

— Что ты ерунду мелешь? — набросилась Варвара на бывшего мужа. — Ступай домой и проспись. *Иди! Уйди* отсюда! Иди, иди домой.

— Уж дома нет, — сказал Васисуалий, продолжая дрожать, — *сгорел* до основанья! Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной *жестокосерды*, уйду я прочь и прокляну притом.

Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили *прощения*, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.

Пока Лоханкин одевался, супруги совещались в коридоре

— Куда его устроить? — шептала Варвара. — Он не может у нас ночевать, у нас одна комната!

— Я тебе удивляюсь, — сказал добрый инженер, — у человека несчастье, а ты думаешь только о своем благополучии.

Когда супруги вернулись в комнату, погорелец сидел за столом и прямо из железной коробочки ел маринованную рыбу. Кроме того, с полочки были сброшены два тома «*сопротивления* материалов», и их место заняла раззолоченная «Мужчина и женщина».

— Неужели весь дом сгорел? — сочувственно спросил Птибурдуков. — Вот ужас!

— А я думаю, что, может *быть*, так надо, — сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин, — *может быть*, я выйду из пламени преобразившимся?

Но он не преобразился.

Когда обо всем было переговорено, Птибурдуковы стали устраиваться на ночь. Васисуалию постелили матрасик на том самом остатке площади, которого еще час назад было достаточно для счастья. Окно закрыли, потушили свет, и в *комнате стало тепло и темно, как между ладонями*. Минут двадцать все лежали молча, время от времени ворочаясь и тяжело вздыхая. Потом с *пола* донесся тягучий шепот Лоханкина:

— Варвара! Варвара! Слушай, Варвара!

— Чего тебе? — негодующе спросила бывшая жена.

— Почему ты от меня ушла, Варвара?

Не дождавшись ответа на этот принципиальный вопрос, Васисуалий заныл:

— Ты самка, Варвара! Ты волчица! Волчица ты, тебя я презираю...

Инженер недвижимо лежал в постели, задыхаясь от злости и сжимая кулаки.

«Воронья слободка» загорелась в двенадцать часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь.

В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, *первым* звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился.

— Сожжет, старая, всю квартиру, — бормотал он, — *ей* что, а у меня *один* рояль, может быть, две тысячи стоит.

Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую, мутную бутыль с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал:

— Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает!

И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.

— Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться! Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.

На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.

— Это выходит, значит, государство навстречу идет? — сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!

И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

Последним из *дому*, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил *кричал* «Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем *сундучке* с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем!» Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о шта-

ны. *Первая огненная* пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла.

— Сорок лет стоял дом, — степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, — при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане!

Женская часть «Вороньей слободки» сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось *из окон*, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество перекочевало на противоположный тротуар.

Один лишь Никита Пряхин дремал на сундучке посреди мостовой. Вдруг он вскочил, босой и страшный.

— Православные! — закричал он, раздирая на себе рубаху. — Граждане!

Он боком побежал прочь от огня, врезался в толпу и, выкликая непонятные слова, стал показывать рукою на горящий дом. В толпе возник переполох.

— Ребенка забыли! — уверенно сказала женщина в соломенной шляпе.

Никиту окружили. Он отпихивался руками и рвался к дому.

— На кровати лежит! — исступленно кричал Пряхин. — Пусти, говорю!

По его лицу катились огненные слезы. Он ударил по голове Гигиенишвили, который преграждал ему дорогу, и бросился во двор. Через минуту он выбежал оттуда, неся лестницу.

— Остановите его! — закричала женщина в соломенной шляпе. — Он сгорит!

— Уйди, говорю! — вопил Никита Пряхин, приставляя лестницу к стене и отталкивая молодых людей из толпы, которые хватали его за ноги. — Не дам ей пропасть! Душа горит!

Он лягался ногами и лез вверх, к дымящемуся окну второго этажа.

— Назад! — кричали из толпы. — Зачем полез? Сгоришь!

— На кровати лежит! — продолжал выкликать Никита. — *Цельная бутылка хлебного вина!* Что ж, пропадать ей, православные граждане?

С неожиданным проворством Пряхин ухватился за оконный слив и мигом исчез, втянутый внутрь воздушным насосом. Последние слова его были: «Как пожелаем, так и сделаем». В переулке наступила тишина, прерванная колоколом и труб-

ными сигналами пожарного обоза. Во двор вбежали топорники в негнущихся брезентовых костюмах с широкими синими поясами.

Через минуту после того как Никита Пряхин совершил единственный за всю *свою* жизнь героический поступок, от дома отделилось и грянуло оземь горящее бревно. Крыша, треща, разошлась и упала внутрь дома. К небу поднялся сияющий столб, словно бы из дома выпустили ядро на луну.

Так погибла квартира номер три, известная больше под названием «Вороньей слободки».

Внезапно в переулке послышался *гром* копыт. В блеске пожара промчался на извозчике инженер Талмудовский. На коленях у него лежал заклеенный ярлыками чемодан. Подскакивая на сиденье, инженер наклонялся к извозчику и кричал:

— *На вокзал!* Ноги моей здесь не будет при таком окладе *жалования*! Пошел скорей!

И тотчас же его жирная, освещенная огнями и пожарными факелами спина скрылась за поворотом.

Глава двадцать вторая

Командовать парадом буду я

— Я умираю от скуки, мы с вами беседуем только два часа, а вы уже надоели мне так, будто я знал вас всю жизнь. С таким строптивым характером хорошо быть миллионером в Америке. У нас миллионер должен быть более покладистым.

— Вы сумасшедший! — ответил Александр Иванович.

— Не оскорбляйте меня, — кротко сказал Бендер, — я сын турецко-подданного и, следовательно, потомок янычаров. Я вас не пощажу, если вы будете меня обижать. Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам.

— Уходите, гражданин! — сказал Корейко голосом геркулесовского бюрократа. — Уже третий час ночи, я хочу спать, мне рано на службу идти.

— Верно, верно, я и забыл! — воскликнул Остап. — Вам нельзя опаздывать на службу. Могут уволить без выходного пособия. Все-таки двухнедельный оклад — двадцать три рубля! При вашей экономии можно прожить полгода!

— Не ваше дело. Оставьте меня в покое. Слышите? Убирайтесь!

— Но эта экономия вас погубит. Вам, конечно, небезопасно *показывать* свои миллионы. Однако вы чересчур стараетесь.

Вы подумали над тем, что с вами произойдет, если вы, наконец, сможете тратить деньги? Воздержание — вещь опасная! Знакомая мне учительница французского языка Эрнестина Иосифовна Пуанкаре никогда в жизни не пила вина. И что же! На одной вечеринке ее угостили рюмкой коньяку. Это ей так понравилось, что она выпила целую бутылку и тут же, за ужином, сошла с ума. И на свете стало меньше одной учительницей французского языка. То же может произойти и с вами.

— Чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться?

— Того, *чего* хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.

— Вон! — негромко сказал Корейко.

— Ну вот, опять вы забыли, что я потомок янычаров.

С этими словами Остап поднялся с места. Теперь собеседники стояли друг против друга. У *Корейки* было штормовое лицо, в глазах мелькали белые барашки. Великий комбинатор сердечно улыбался, показывая белые кукурузные зубы. Враги подошли близко к настольной лампочке, и на стену легли их исполинские тени.

— Тысячу раз я вам повторял, — произнес Корейко, сдерживаясь, — что никаких миллионов у меня нет и не было. Поняли? Поняли? Ну, и убирайтесь. Я на вас буду жаловаться!

— Жаловаться на меня вы никогда не будете, — значительно сказал Остап, — а уйти я могу, но не успею я выйти на вашу Малую Касательную улицу, как вы с плачем *побежите* за мной и будете лизать мои янычарские пятки, умоляя меня вернуться.

— Почему же это я буду вас умолять?

— Будете. Так надо, как *любит* выражаться мой друг Васисуалий Лоханкин, именно в этом сермяжная правда. Вот она.

Великий комбинатор положил на стол папку и, медленно развязывая ее ботиночные тесемки, продолжал:

— Только давайте условимся. Никаких эксцессов. Вы не должны меня душить, не должны выбрасываться из окна и, самое главное, не умирайте от *паралича сердца*. Если вы вздумаете тут же скоропостижно скончаться, то поставите меня этим в глупое положение. Погибнет плод длительного добросовестного труда. В общем, давайте потолкуем. Уже не секрет, что вы меня не любите. Никогда я не добьюсь того, чего Коля Остен-Бакен добился от Инги Зайонц, подруги моего детства. Поэтому я не стану вздыхать напрасно, не стану хватать вас за талию Считайте серенаду законченной. Утихли балалайки, гусли и позолоченные арфы. Я пришел к вам, как юридическое лицо к юридическому лицу. Вот *папка* в три-четыре кило. Она прода-

ется и стоит миллион рублей, тот самый миллион, который вы из жадности не хотите мне подарить. Купите.

Корейко склонился над столом и прочел на папке: «Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 г. Окончено 10 августа 1930 г.».

— Какая чепуха! — сказал он, разводя руками. — Что за несчастье такое! То вы приходили ко мне с какими-то деньгами, теперь дело выдумали. Просто смешно.

— Ну что, состоится покупка? — настаивал великий комбинатор. — Цена невысокая. За кило замечательнейших сведений из области подземной коммерции беру всего по триста тысяч.

— Какие там еще сведения! — грубо спросил Корейко, протягивая руку к папке.

— Самые интересные! — ответил Остап, вежливо отводя его руку. — Сведения о вашей второй и главной жизни, которая разительно отличается от вашей первой, сорокашестирублевой, геркулесовской. Первая ваша жизнь всем известна. От $10^{ти}$ до $4^{х}$ вы за советскую власть. Но вот о вашей второй жизни, от $4^{х}$ до $10^{ти}$, знаю я один. Вы учли ситуацию?

Корейко не ответил. Тень лежала в ефрейторских складках его лица.

— Нет, — решительно сказал великий комбинатор, — вы произошли не от обезьяны, как все граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго, совсем как парнокопытное млекопитающее. Это я говорю вам как специалист по *коровам* и копытам. Итак, еще раз: у вас, по моим сведениям, миллионов семь-восемь. Папка продается за миллион. Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете. Это я говорю вам, как юридическое лицо юридическому лицу. Я останусь таким же бедным поэтом и многоженцем, каким был, но до самой смерти меня будет тешить мысль, что я избавил общественность от великого сквалыжника.

— Покажите дело, — сказал Корейко задумчиво.

— Не суетитесь, — заметил Остап, раскрывая папку, — командовать парадом буду я. В свое время вы были извещены об этом по телеграфу. Так вот, парад наступил, и я, как вы можете заметить, *командую им*.

Александр Иванович взглянул на первую страницу дела и, увидев наклеенную на ней собственную фотографию, неприятно улыбнулся и сказал:

— Что-то не пойму, чего вы от меня хотите? Посмотреть разве из любопытства.

— Я тоже из любопытства, — заявил великий комбинатор. — Ну что ж, давайте приступим, исходя из этого в конце концов

невинного чувства. Господа присяжные заседатели, Александр Иванович Корейко родился в... Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время маленький Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество. Пропустим еще страницу. А вот и юность, начало жизни, *«иду красивый, двадцатидвухлетний»*. Здесь уже можно остановиться. Из любопытства. *Первый арест.* Страница шестая дела!..

Остап перевернул страницу шестую и огласил *содержание седьмой*, восьмой и далее, по двенадцатую включительно.

— И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного, как то: торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье. Все эти факты, господа присяжные заседатели, интересуют нас с точки зрения чистого любопытства.

Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, который, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускает его из зубов и тащит его за собой в течение всех десяти дней большого процесса.

— Не лишено также любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году...

Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но его руки бесцельно шарили по столу, как у слепого.

— Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: «Промысловая артель химических продуктов «Реванш»». Однако пойдем дальше. Страницы сорок вторая — пятьдесят третья. Место действия — маленькая доверчивая республика. Синее небо, верблюды, оазисы и пижоны в золотых тюбетейках. Мой подзащитный помогает строить электростанцию. Подчеркиваю — помогает. Посмотрите на его лицо, господа присяжные заседатели!..

Увлекшийся Остап повернулся к Александру Ивановичу и указал на него пальцем. Но эффектно описать рукой плавную дугу, как это делывали присяжные поверенные, ему не удалось. Подзащитный неожиданно захватил руку на лету и молча стал ее выкручивать. В то же время г. подзащитный другой рукой вознамерился вцепиться в горло г. присяжного поверенно-

го. С полминуты противники ломали друг друга, дрожа от напряжения. На Остапе расстегнулась рубашка, и в просвете мелькнула татуировка. Наполеон по-прежнему держал пивную кружку, но был так красен, словно бы успел основательно нализаться.

— Не давите на мою психику! — сказал Остап, оторвав от себя Корейко и переводя дыхание. — Невозможно заниматься!

— Негодяй! Негодяй! — шептал Александр Иванович. — Вот негодяй!

Он сел на пол, кривясь от боли, причиненной ему потомком янычаров.

— Заседание продолжается! — молвил Остап как ни в чем не бывало. — И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Конечно, из детского любопытства. Он просто хотел узнать, что находится у меня внутри. Спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри: благородное и очень здоровое сердце, отличные легкие и печень без признака камней. Прошу занести этот факт в протокол. А теперь — продолжим наши игры, как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников.

Игры чрезвычайно не понравились Александру Ивановичу. Командировка, из которой Остап вернулся, дыша *молодым вином и юным барашком*, оставила в деле обширные следы. Тут была копия заочного приговора, снятые на кальку планы благотворительного комбината, *выписки* из *Счета Прибылей и Убытков*, а также фотографии электрического ущелья и кинокоролей.

— И, наконец, господа присяжные заседатели, третий этап деятельности моего драчливого подзащитного — скромная конторская работа в *ГЕРКУЛЕС'е* для общества и усиленная торгово-подземная деятельность — для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, *камушками* и прочими компактными предметами первой необходимости. И, наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный.

При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейко и описал ею давно задуманную эффектную дугу. Затем Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал:

— Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно. А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовцем Полыхаевым?

Миллионер-конторщик молчал.

— Вопросов больше не имею. Ф-фу!.. Я устал и есть хочу. Скажите, Александр Иванович, нет ли у вас холодной котлеты за пазухой? Нету? Удивительная бедность, в особенности если принять во внимание величину суммы, которую вы при помощи Полыхаева выкачали из доброго *ГЕРКУЛЕС'а*. Вот собственноручные объяснения Полыхаева, единственного геркулесовца, который знал, кто скрывается под видом сорокашестирублевого конторщика. Но и он по-настоящему не понимал, кто вы такой. Зато это знаю я. Да, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Но я все-таки позволю себе просить о снисхождении, при том, однако, условии, что подзащитный купит у меня папку. Я кончил.

К концу речи великого комбинатора Александр Иванович успокоился. Заложив руки в карманы легких брюк, он подошел к окну. Молодой день в трамвайных бубенцах уже шумел по городу. За палисадом шли осоавиахимовцы, держа винтовки вкривь и вкось, будто несли мотыги. По оцинкованному карнизу, стуча красными вербными лапками и поминутно срываясь, прогуливались голуби. Александр Иванович, приучивший себя к экономии, потушил настольную лампу и сказал:

— Так это вы посылали мне дурацкие телеграммы?

— Я, — ответил Остап, — «*грузите* апельсины бочках братья карамазовы». Разве плохо?

— Глуповато.

— А нищий-полуидиот? — спросил Остап, чувствуя, что парад удался. — Хорош?

— Мальчишеская выходка! И книга о миллионерах — тоже. А когда вы пришли в виде киевского надзирателя, я сразу понял, что вы мелкий жулик. К сожалению, я ошибся. Иначе черта с два вы *меня бы* нашли.

— *Вы ошиблись!* И на старуху бывает *разруха*, как *сказала Инга* Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном.

— Ну, ограбление — это еще понятно, но гири! Почему вы украли у меня гири?

— Какие гири? Никаких гирь я не крал.

— Вам просто стыдно признаться. И вообще вы наделали массу глупостей.

— Возможно, — заметил Остап, — я не ангел. У меня есть недочеты. Однако я с вами заболтался. Меня ждут мулаты. Прикажете получить деньги?

— Да, деньги! — сказал Корейко. — С деньгами заминка. Папка хорошая, слов нет, купить можно, но, подсчитывая мои доходы, вы совершенно упустили из виду расходы и прямые убытки. Миллион — это несуразная цифра.

— До *свидания*, — холодно *сказал* Остап, — и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете.

— Так дела не делают, — сказал Корейко с купеческой улыбкой.

— Может быть, — вздохнул Остап, — но я, знаете, не финансист. Я — свободный художник и холодный философ.

— За что ж вы хотите получить деньги? Я их заработал, а вы...

— Я не только трудился. Я даже пострадал. После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей, вера в человечество?

— Стоит, стоит, — успокоил Александр Иванович.

— Значит, пойдем в закрома? — спросил Остап. — Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?

— Пойдем, — ответил Корейко. — Там увидите.

— Может быть, далеко? — засуетился Остап. — Я могу машину.

Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал: «Под небом знойной Аргентины».

Глава двадцать третья

Сердце шофера

На улице Остап взял Александра Ивановича под руку, и оба комбинатора быстро пошли по направлению к вокзалу.

— А вы лучше, чем я думал, — дружелюбно сказал Бендер. — И правильно. С деньгами нужно расставаться легко, без стонов.

— Для хорошего человека и миллиона не жалко, — ответил конторщик, к чему-то прислушиваясь.

Когда они повернули на улицу Меринга, над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам *становится не* по себе, хочется почему-то просить прибавки к жалованью по причине опасной службы. Сирена продолжала надрываться. К ней присоединились сухопутные гудки и другие сирены, более далекие и еще более грустные. Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнал ливень. При этом все ухмылялись и поглядывали на небо. Торговки семечками, жирные старухи, бежали, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара подскакивали стеклянные стаканчики. Через улицу вкось промчался Адольф Николаевич Бомзе. Он благополучно успел проскочить в вертящуюся дверь *ГЕРКУЛЕС'а*. Прогалопировал на разноцветных лошадках взвод конного ре-

зерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась. Остап заметил, что далеко впереди от бывшего кафе «Флорида» отделился табунчик пикейных жилетов. Размахивая газетами, канотье и панамскими шляпами, старики затрусили по мостовой. Но не успели они добраться до угла, как раздался *оглушающий* пушечный выстрел, пикейные жилеты пригнули головы, остановились и сейчас же побежали обратно. Полы их чесучовых пиджаков *раздулись.*

Поведение пикейных жилетов рассмешило Остапа. Пока он любовался их удивительными жестами и прыжками, Александр Иванович успел развернуть захваченный из дому пакет.

— Скабрезные старики! Опереточные комики! — сказал Остап, *оборачиваясь* к Корейко.

Но *Корейки* не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очами и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул.

— Что это за *штуки*? — грозно сказал он, протягивая руку к противогазу. — Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку.

Но в эту минуту набежала группа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко. Придерживая свою папку, Остап сразу же стал смотреть на ноги чудовищ, но едва ему показалось, что он различил вдовьи брюки Александра Ивановича, как его взяли под руки, и молодецкий голос сказал:

— Товарищ! Вы отравлены!

— Кто отравлен? — закричал Остап, вырываясь. — Пустите!

— Товарищ, вы отравлены газом, — радостно повторил санитар. — Вы попали в отравленную зону! Видите, газовая бомба.

На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они сверкнули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже шесть масок.

— Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны. Вы же знаете, что идут маневры. Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище.

Великий комбинатор никак не мог понять, что сопротивление бесполезно. Игрок, ухвативший на рассвете счастливую талию и удивлявший весь стол, неожиданно, в десять минут спустил все забежавшему мимоходом, из любопытства, молодому человеку. И уже не сидит он, бледный и торжествующий, и уже не толкутся вокруг него марафоны, выклянчивая мелочь на счастье. Домой он пойдет пешком.

К Остапу подбежала комсомолка с красным крестом на переднике. Она вытащила из брезентовой сумки бинты и вату и, хмуря брови, чтобы не рассмеяться, обмотала руку великого комбинатора поверх рукава. Закончив акт милосердия, девушка *все-таки* засмеялась и убежала к следующему раненому, который покорно отдал ей свою ногу. Остапа потащили к носилкам. Там произошла новая схватка, во время которой раскачивались хоботы, а первый санитар-распорядитель громким лекторским голосом продолжал пробуждать в Остапе сознательность и другие гражданские доблести.

— Братцы! — бормотал великий комбинатор, в то время как его пристегивали к носилкам ремнями. — Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецко-подданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани.

Последние слова потерпевшего на поле брани были:

— Спите, орлы боевые. Соловей, соловей, пташечка.

После этого Остапа понесли, и он замолчал, устремив глаза в небо, где начиналась кутерьма. Катились плотные, как сердца, светлые клубки дыма. На большой высоте неровным углом шли прозрачные целлулоидные самолеты. От них расходилось звонкое дрожание, словно бы все они были связаны между собой жестяными нитями. В коротких промежутках между орудийными ударами продолжали выть сирены.

Остапу пришлось вытерпеть еще одно унижение. Его несли мимо *ГЕРКУЛЕС'а*. Из окон *всех* четырех этажей лесоучреждения выглядывали служащие. Весь финсчет стоял на подоконниках. Лапидус-младший пугал Кукушкинда, делая вид, что хочет столкнуть его вниз. Берлага сделал большие глаза и поклонился носилкам. В окне второго этажа на фоне пальм стояли, обнявшись, Полыхаев и Скумбриевич. Заметив связанного Остапа, они зашептались и быстро захлопнули окно.

Перед вывеской «Газоубежище № 34» носилки остановились, Остапу помогли подняться, и, так как он снова попытался вырваться, санитару-распорядителю пришлось снова воззвать к его сознательности.

Газоубежище расположилось в домовом клубе. Это был длинный и светлый полуподвал с *серебристым* потолком, к которому на проволоках были подвешены модели военных и почтовых самолетов. В глубине клуба помещалась маленькая сцена, на заднике которой были нарисованы два синих окна с *луною* и звездами и коричневая дверь. Под стеной с надписью: «Войны не хотим, но к отпору готовы» — мыкались пикейные жилеты, захваченные всем табунчиком. По сцене расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, с

шумом пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил:

— По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на удушающие, слезоточивые, общеядовитые, нарывные, раздражающие и *т. д.* В числе слезоточивых отравляющих веществ можем отметить *хлорпикрин*, бромистый *бензил*, бромацетон, *хлорацетофенон*...

Остап перевел мрачный взор с лектора на слушателей. Молодые люди смотрели оратору в рот или записывали лекцию в *книжечки*, или возились у щита с винтовочными частями. Во втором ряду одиноко сидела девушка спортивного вида, задумчиво глядя на театральную луну.

«Хорошая девушка, — решил Остап, — жалко, времени нет. О чем она думает? Уж наверно не о бромистом *бензиле*. Ай-яй-яй! Еще сегодня утром я мог прорваться с такой девушкой куда-нибудь в Океанию, на Фиджи или *острова* Жилтоварищества, или в Рио-де-Жанейро».

При мысли об утраченном Рио Остап заметался по убежищу.

Пикейные жилеты в числе сорока человек уже оправились от потрясения, подвинтили свои крахмальные воротнички и с жаром толковали о *Пан*-Европе, о морской конференции трех держав и о гандизме.

— Слышали? — говорил один жилет другому. — Ганди приехал в Данди.

— *Ганди это* голова! — вздохнул тот. — И *Данди это* голова.

Возник спор. Одни жилеты утверждали, что *Данди это* город и головою быть не может. Другие с сумасшедшим упорством доказывали противное. В общем, все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни.

Лектор снова сморщился, потому что дверь открылась, и в помещение со стуком прибыли новые жильцы — Балаганов и Паниковский. Газовая атака *застала* их при возвращении из ночной экспедиции. После работы над гирями они были перепачканы, как шкодливые коты. При виде командора молочные братья потупились.

— Вы что, на именинах у архиерея были? — хмуро спросил Остап.

Он боялся расспросов о ходе *«дела Корейко»*, поэтому сердито соединил брови и перешел в нападение.

— Ну, гуси-лебеди, *где были*, что поделывали?

— Ей-богу, — сказал Балаганов, прикладывая *руку* к груди. — *Это* все Паниковский затеял.

— Паниковский? — строго сказал командор.

— Честное, благородное слово! — воскликнул нарушитель конвенции. — Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю! Это балагановские штуки!

— Шура! — еще более строго молвил Остап.

— И вы ему поверили? — с упреком сказал уполномоченный по копытам. — Ну, как вы думаете, разве я без вашего разрешения взял бы эти гири?

— Так это вы взяли гири? — закричал Остап. — Зачем же?

— Паниковский сказал, что они золотые.

Остап посмотрел на Паниковского. Только сейчас он заметил, что под его пиджаком нет уже полтинничной манишки и оттуда на свет божий глядит голая грудь. Не говоря ни слова, великий комбинатор свалился на стул. Он затрясся, ловя руками воздух. Потом из его горла вырвались вулканические раскаты, из глаз выбежали слезы, и смех, в котором сказалось все утомление ночи, все разочарование в борьбе с Корейко, так жалко спародированной молочными братьями, *ужасный* смех раздался в газоубежище. Пикейные жилеты вздрогнули, а лектор еще громче и отчетливей заговорил о боевых отравляющих веществах.

Смех еще покалывал Остапа тысячью нарзанных иголочек, а он уже чувствовал себя освеженным и помолодевшим, как человек, прошедший все парикмахерские инстанции: и дружбу с бритвой, и знакомство с ножницами, и одеколонный дождик, и даже причесывание бровей специальной щеточкой. Лаковая океанская волна уже плеснула в его сердце, и на вопрос Балаганова о делах он ответил, что все идет превосходно, если не считать неожиданного бегства миллионера в неизвестном направлении.

Молочные братья не обратили на слова Остапа должного внимания. Их радовало, что дело с гирями сошло так легко.

— Смотрите, Бендер, — сказал уполномоченный по копытам, — вон барышня *сидят*. Это с нею Корейко всегда гулял.

— Значит, это и есть Зося Синицкая? — с ударением произнес Остап. — Вот уж действительно, средь шумного бала, случайно...

Остап протолкался к сцене, вежливо остановил оратора и, узнав у него, что газовый плен продлится еще часа полтора-два, поблагодарил и присел тут же, у сцены, рядом с Зосей. Через некоторое время девушка уже не смотрела на размалеванное окно, *а, неприлично* громко смеясь, она вырывала свой гребень из рук Остапа. Что касается великого комбинатора, то он, судя по движению его губ, говорил, не останавливаясь.

В газоубежище притащили инженера Талмудовского. Он отбивался двумя чемоданами. Его румяный лоб был влажен от пота и блестел, как блин.

— Ничего не могу сделать, товарищ! — говорил распорядитель. — Маневры! Вы попали в отравленную зону.

— Но ведь я ехал на извозчике! — кипятился инженер. — На из-воз-чи-ке! Я спешу на вокзал в интересах службы!

— Товарищ, будьте сознательны!

— Почему ж я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике! — негодовал Талмудовский.

Он так напирал на это обстоятельство, будто езда на извозчике делала седока неуязвимым и лишала хлорпикрин, бром-ацетон и бромистый *бензил* их губительных отравляющих свойств. Неизвестно, сколько бы еще времени Талмудовский переругивался с осоавиахимовцами, если *б* в газоубежище не вошел новый отравленный и, судя по замотанной в марлю голове, *также раненый* гражданин. При виде нового гостя Талмудовский замолчал и проворно нырнул в толпу пикейных жилетов. Но человек в марле сразу же заметил корпусную фигуру инженера и направился прямо к нему.

— Наконец-то я вас поймал, инженер Талмудовский! — сказал он зловеще. — На каком основании вы бросили завод?

Талмудовский повел во все стороны маленькими кабаньими глазками. Убедившись, что убежать некуда, он сел на свои чемоданы и закурил папиросу.

— Приезжаю к нему в гостиницу, — продолжал человек в марле громогласно, — говорят: выбыл. Как это, спрашиваю, выбыл, ежели он только вчера прибыл и по контракту обязан работать год. Выбыл, говорят, с чемоданами в Казань. Уже думал, все кончено, опять нам искать специалиста, но вот поймал, сидит, видите, покуривает. Вы летун, инженер Талмудовский! Вы разрушаете производство!

Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком: «Это вы разрушаете производство!» — схватил обличителя за талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как большая муха. Вскоре из угла послышались обрывки фраз: «При таком окладе», «Идите, поищите», «А командировочные?» Человек в марле с тоской смотрел на инженера.

Уже лектор закончил свои наставления, показав под конец, как нужно пользоваться противогазом, уже раскрылись двери газоубежища и пикейные жилеты, держась друг за друга, побежали к «Флориде», уже Талмудовский, отбросив своего преследователя, вырвался на волю, крича во все горло извозчика, а великий комбинатор все еще болтал с Зосей.

— Какая фемина! — ревниво сказал Паниковский, выходя с Балагановым на улицу. — Ах, если *б* гири были золотые! Честное, благородное слово, я *б* на ней женился!

При *упоминании* о злополучных гирях Балаганов больно толкнул Паниковского локтем. Это было вполне своевременно. В дверях газоубежища показался Остап с феминой под руку. Он долго прощался с Зосей, томно глядя на нее в упор. Зося последний раз улыбнулась и ушла.

— О чем вы с ней говорили? — подозрительно спросил Паниковский.

— Так, ни о чем, печки-лавочки, — ответил Остап. — Ну, золотая рота, за дело! Надо найти подзащитного!

Паниковский был послан в *ГЕРКУЛЕС, Балаганов на* квартиру Александра Ивановича. Сам Остап бросился на вокзалы. Но миллионер-конторщик исчез. В *ГЕРКУЛЕС'е* его марка не была снята с табельной доски, в квартиру он не *возвращался,* а за время газовой атаки с вокзалов отбыло восемь поездов дальнего следования. Но Остап и не ждал другого результата.

— В конце концов, — сказал он невесело, — ничего страшного нет. Вот в Китае разыскать нужного человека трудновато. *Там* живет четыреста миллионов населения. А у нас очень легко. *Всего* лишь *160* миллионов, в три раза легче, чем в Китае. Лишь бы были деньги. А они у нас есть.

Однако из банка Остап вышел, держа в *руках* тридцать четыре рубля.

— Это все, что осталось от десяти тысяч, — сказал он с неизъяснимой печалью, — а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.

И он посмотрел на молочных братьев с укоризной. Паниковский пожал плечами, как бы говоря: «Вы знаете, Бендер, как я вас уважаю! Я всегда говорил, что вы осел!» Балаганов ошеломленно погладил свои кудри и спросил:

— Что ж мы будем делать?

— Как что? — вскричал Остап. — А контора по заготовке рогов и копыт? А инвентарь? За один чернильный прибор «Лицом к деревне» любое учреждение с радостью отдаст сто рублей! А пишущая машинка! А дыропробиватель, оленьи рога, столы, барьер, самовар! Все это можно продать! Наконец, в запасе у нас есть золотой зуб Паниковского. Он, конечно, уступает по величине гирям, но все-таки это молекула золота, благородный металл.

У конторы друзья остановились. Из открытой двери неслись молодые львиные голоса вернувшихся из командировки студентов животноводческого техникума, сонное *бормотание* Фунта и еще какие-то незнакомые басы и баритоны явно *агрономского* тембра.

— Это состав преступления! — кричали практиканты. — Мы и тогда еще удивлялись. За всю кампанию заготовлено только двенадцать кило несортовых рогов.

— Вы пойдете под суд! — загремели басы и баритоны. — Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам?

Балаганов задрожал.

— Контора умерла, — шепнул Остап, — и мы здесь больше не нужны. Мы пойдем по дороге, залитой солнцем, а Фунта поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки.

Экс-начальник отделения не ошибся. Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов *в гости* к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.

— Фунт всегда сидел, — услышали антилоповцы низкий глухой голос старика, когда экипаж проезжал мимо, — Фунт сидел при Александре *втором освободителе*, при Александре *третьем миротворце*, при Николае втором — *кровавом*, при Александре Федоровиче Керенском...

И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы.

— А теперь что мы будем делать? — спросил Балаганов.

— Прошу не забывать, что вы проживаете на одном отрезке времени с Остапом Бендером, — грустно сказал великий комбинатор. — Прошу помнить, что у него есть замечательный саквояж, в котором находится все для добывания карманных денег. Идемте домой, к Лоханкину.

В Лимонном переулке их ждал новый удар.

— Где же дом? — воскликнул Остап. — Ведь тут же еще вчера вечером был дом!

Но дома не было, не было «Вороньей слободки». По обгорелым балкам ступал только страховой инспектор. Найдя на заднем дворе бидон из-под керосина, он понюхал его и с сомнением покачал головой.

— Ну, а теперь *что же?* — спросил Балаганов, испуганно улыбаясь.

Великий комбинатор не ответил. Он был подавлен утратой саквояжа. Сгорел волшебный мешок, в котором была индусская чалма, была афиша «Приехал жрец», был докторский халат, стетоскоп. Чего там только не было!

— Вот, — вымолвил наконец Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, но они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал. Бендер шел позади всех, опустив

голову и машинально мурлыча: «Кончен, кончен день забав. Стреляй, мой маленький зуав».

В таком состоянии они притащились на постоялый двор. В глубине, под навесом, желтела *Антилопа*. На трактирном крыльце сидел Козлевич. Сладостно отдуваясь, он втягивал из блюдечка горячий чай. У него было красное горшечное лицо. Он блаженствовал.

— Адам! — сказал великий комбинатор, останавливаясь перед шофером. — У нас ничего не осталось. Мы нищие, Адам! Примите нас! Мы погибаем!

Козлевич встал. Командор, униженный и бедный, стоял перед ним с непокрытой головой. Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез. Он сошел со ступенек и поочередно обнял всех антилоповцев.

— Такси свободен! — сказал он, глотая слезы жалости. — Прошу садиться.

— Но, может быть, нам придется ехать далеко, очень далеко, — молвил Остап, — может быть, на край земли, а может быть, еще дальше. Подумайте.

— Куда хотите! — ответил верный Козлевич. — Такси свободен!

Паниковский плакал, закрывая лицо кулачками и шепча:

— Какое сердце! Честное, благородное слово! Какое сердце!..

Глава двадцать четвертая

Погода благоприятствовала любви

Обо всем, что великий комбинатор сделал в дни, последовавшие за переселением на постоялый двор, Паниковский отзывался с большим неодобрением.

— Бендер безумствует! — говорил он Балаганову. — Он нас совсем погубит!

И на самом деле, вместо того, чтобы постараться как можно дольше растянуть последние тридцать четыре рубля, обратив их исключительно на закупку продовольствия, Остап отправился в цветочный магазин и купил за тридцать пять рублей большой, как клумба, шевелящийся букет роз. Недостающий рубль он взял у Балаганова. Между цветов он поместил записку: «Слышите ли вы, как бьется мое большое сердце?» Балаганову было приказано отнести цветы Зосе Синицкой.

— Что вы делаете? — сказал Балаганов, взмахнув букетом. — Зачем этот шик?

— Нужно, Шура, нужно, — ответил Остап. — Ничего не поделаешь. У меня большое сердце. Как у теленка. И потом это все равно не деньги. Нужна идея.

Вслед за тем Остап уселся в *Антилопу* и попросил Козлевича вывезти его куда-нибудь за город.

— Мне необходимо, — сказал он, — пофилософствовать в

одиночестве обо всем происшедшем и сделать необходимые прогнозы в будущее.

Весь день верный Адам катал великого комбинатора по белым приморским дорогам, мимо домов отдыха и санаторий, где отдыхающие шлепали туфлями, поколачивали молотками крокетные шары или прыгали у волейбольных сеток. Телеграфная проволока издавала виолончельные звуки. Дачницы тащили в ковровых кошелках синие баклажаны и дыни. Молодые люди с носовыми платками на мокрых после купанья волосах дерзко заглядывали в глаза женщинам и отпускали любезности, полный набор которых имелся у каждого черноморца в возрасте до двадцати пяти лет. Если шли две дачницы, молодые черноморцы говорили им вслед: «Ах, какая хорошенькая та, которая с краю». При этом они от души хохотали. Их смешило, что дачницы никак не смогут определить, к которой из них относится комплимент. Если же навстречу попадалась одна дачница, то остряки останавливались, якобы пораженные громом, и долго чмокали губами, изображая любовное томление. Молодая дачница краснела и перебегала через дорогу, роняя синие баклажаны, что вызывало у ловеласов гомерический смех.

Остап полулежал на жестких антилоповских подушках и мыслил. Сорвать деньги с Полыхаева или Скумбриевича не удалось — геркулесовцы уехали в отпуск. Безумный бухгалтер Берлага был не в счет — от него нельзя было ждать хорошего удоя. А между тем планы Остапа и его большое сердце требовали пребывания в Черноморске. Срок этого пребывания он сейчас и сам затруднился бы определить.

Услышав знакомый замогильный голос, Остап взглянул на тротуар. За шпалерой тополей шествовала под руку немолодая уже чета. Супруги, видимо, шли на берег. Позади тащился Лоханкин. Он нес в руках дамский зонтик и корзинку, из которой торчал термос и свешивалась купальная простыня.

— Варвара, — тянул он, — слушай, Варвара!

— Чего тебе, горе мое? — спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.

— Я обладать хочу тобой, Варвара!..

— Нет, каков мерзавец! — заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.

И странная семья исчезла в антилоповской пыли.

Когда пыль упала на землю, Бендер увидел на фоне моря и цветочного партера большое стеклянное ателье. Гипсовые львы с измаранными мордами сидели у *подножия* широкой лестницы. Из ателье бил беспокойный запах грушевой эссенции. Остап понюхал воздух и попросил Козлевича остановить-

ся. Он вышел из машины и снова принялся втягивать ноздрями живительный запах эссенции.

— *Как это* я сразу не догадался! — пробормотал он, вертясь у подъезда.

Он устремил взор на вывеску «1я Черноморская кинофабрика», погладил лестничного льва по теплой гриве и, промолвив. «Голконда», быстро отправился назад, на постоялый двор.

Всю ночь он сидел у подоконника и писал при свете керосиновой лампочки. Ветер, забегавший в окно, перебирал исписанные листки. Перед сочинителем открывался не слишком привлекательный пейзаж. Деликатный месяц освещал не бог весть какие хоромы. Постоялый двор дышал, шевелился и *храпел* во сне. Невидимые, в темных углах перестукивались лошади. Мелкие спекулянты спали на подводах, подложив под себя свой жалкий товар. Распутавшаяся лошадь бродила по двору, осторожно переступая через оглобли, волоча за *собой* недоуздок и суя морду в подводы, в поисках ячменя. Подошла она и к окну сочинителя и, положив голову на подоконник, с печалью посмотрела на Остапа.

— Иди, иди, лошадь, — заметил великий комбинатор, — не твоего это ума дело!

Перед рассветом, когда постоялый двор стал оживать и между подводами уже бродил мальчик с ведром воды, тоненько выкликая: «Кому кони напувать?», Остап окончил свой труд, вынул из «*дела* Корейко» чистый лист бумаги и вывел на нем заголовок:

«Шея»
Многометражный фильм.
Сценарий О.Бендера

На 1й Черноморской кинофабрике был тот ералаш, какой бывает только на конских ярмарках и именно в ту минуту, когда всем обществом ловят *карманщика.*

В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так. Люди в синих беретах сталкивались с людьми в рабочих комбинезонах, разбегались по многочисленным лестницам и немедленно по этим же лестницам бежали вниз. В вестибюле они описывали круг, на секунду останавливались, остолбенело глядя перед собой, и снова пускались *бежать* наверх с такой прытью, будто бы их стегали сзади мокрым линьком. Стремглав проносились ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы, режиссеры со своими адъютантами, осветители, редакторы-монтажеры, пожилые

сценаристки, заведующие запятыми и хранители большой чугунной печати.

Остап, принявшийся было расхаживать по кинофабрике обычным своим шагом, вскоре заметил, что никак не может включиться в этот кружащийся мир. Никто не отвечал на его расспросы, никто не останавливался.

— Надо будет примениться к особенностям противника, — сказал Остап.

Он тихонько побежал и сразу же почувствовал облегчение. Ему удалось даже перекинуться двумя словечками с какой-то адъютантшей. Тогда великий комбинатор побежал с возможной быстротой и вскоре заметил, что включился в темп. Теперь он бежал ноздря в ноздрю с заведующим литературной частью.

— Сценарий! — крикнул Остап.

— Какой? — спросил завлит, отбивая твердую рысь.

— Хороший! — ответил Остап, выдвигаясь на полкорпуса вперед.

— Я вас спрашиваю, какой? Немой или звуковой?

— Немой.

Легко выбрасывая ноги в толстых чулках, завлит обошел Остапа на повороте и крикнул:

— Не надо.

— То есть *как не* надо? — спросил великий комбинатор, начиная тяжело скакать.

— А так. Немого кино уже нет. Обратитесь к звуковикам.

Оба они на миг остановились, остолбенело посмотрели друг на друга и разбежались в разные стороны. Через пять минут Бендер, размахивая рукописью, опять бежал в подходящей компании, между двумя рысистыми консультантами.

— Сценарий! — сообщил Остап, тяжело дыша.

Консультанты, дружно перебирая рычагами, оборотились к Остапу.

— Какой сценарий?

— Звуковой.

— Не надо, — ответили консультанты, наддав ходу.

И великий комбинатор опять сбился с ноги и позорно заскакал.

— Как же *это не* надо?

— Так вот и не надо. Звукового кино еще нет.

В течение получаса добросовестной рыси Бендер уяснил себе щекотливое положение дел на 1-й Черноморской кинофабрике. Вся щекотливость заключалась в том, что немое кино уже не работало ввиду наступления эры звукового кино, а звуковое еще не работало по причине организаци-

онных неполадок, связанных с ликвидацией эры немого кино.

В разгаре рабочего дня, когда бег ассистентов, консультантов, экспертов, администраторов, режиссеров, адъютантш, осветителей, сценаристок и хранителей большой чугунной печати достиг резвости знаменитого в свое время «Крепыша», распространился слух, что где-то, в какой-то комнате, сидит человек, который в срочном порядке конструирует звуковое кино. Остап со всего ходу вскочил в большой кабинет и остановился, пораженный тишиной. За столом боком сидел маленький человек с бедуинской бородкой в золотом пенсне со шнурком. Нагнувшись, он с усилием стаскивал с ноги ботинок.

— Здравствуйте, товарищ! — громко сказал великий комбинатор.

Но человечек не ответил. Он снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок.

— Здравствуйте, — повторил Остап. — Я принес сценарий.

Человек с бедуинской бородкой не спеша надел ботинок и молча стал его шнуровать. Закончив это дело, он повернулся к своим бумагам и, закрыв один глаз, начал выводить бледные каракули.

— Что ж вы молчите? — заорал Бендер с такой силой, что на столе кинодеятеля звякнула телефонная трубка.

Только тогда кинодеятель поднял голову, посмотрел на Остапа и сказал:

— Пожалуйста, говорите громче. Я не слышу.

— Пишите ему записки, — посоветовал проносившийся мимо консультант в пестром жилете, — он глухой.

Остап подсел к столу и написал на клочке бумаги:

«Вы звуковик?»

— Да, — ответил глухой.

«Принес звуковой сценарий. Называется «Шея», народная трагедия в шести частях», — быстро написал Остап.

Глухой посмотрел на записку сквозь золотое пенсне и сказал:

— Прекрасно. Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы.

«Рад содействовать. Как в смысле аванса?» — написал Остап.

— «Шея», это как раз то, что нам нужно! — сказал глухой. — Посидите здесь, я сейчас приду. Только никуда не уходите. Я ровно через минуту.

Глухой захватил сценарий многометражного фильма «Шея» и выскользнул из комнаты.

— Мы вас втянем в звуковую группу! — крикнул он, скрываясь за дверью. — Через минуту я вернусь.

После этого Остап просидел в кабинете полтора часа, но глухой не возвращался. Только выйдя на лестницу и включившись в темп, Остап узнал, что глухой уже давно уехал в автомобиле и сегодня не вернется. И вообще никогда сюда не вернется, потому что его внезапно перебросили в Умань для ведения культработы среди ломовых извозчиков. Но ужаснее всего было то, что глухой увез сценарий многометражного фильма «Шея». Великий комбинатор выбрался из круга бегущих, движения которых все ускорялись, и ошалело опустился на скамью, припав к плечу сидевшего тут же швейцара.

— Вот *и* я! — сказал вдруг швейцар, развивая, видимо, давно мучившую его мысль. — Сказал мне помреж Терентьев бороду отпустить. Будешь, говорит, Навуходоносора играть или *Балтазара* в фильме, вот названия не помню. Я и отрастил, смотри, какая бородища, патриаршая. А теперь что с ней делать, с бородой? Помреж говорит, не будет больше немого фильма, а в звуковом, говорит, тебе играть невозможно, голос у тебя неприятный. Вот и сижу с бородой, тьфу, как козел! Брить жалко, а носить стыдно. Так и живу.

— А съемки у вас производятся? — спросил Бендер, постепенно приходя в сознание.

— Какие могут быть съемки? — важно ответил бородатый швейцар: — *летошний* год сняли немой фильм из римской жизни. До сих пор отсудиться не могут по случаю уголовщины.

— Почему же они все бегают? — осведомился великий комбинатор, показывая на лестницу.

— У нас не все бегают, — заметил швейцар, — вот товарищ Супругов не бегает. Деловой человек. Все думаю к нему насчет бороды сходить, узнать, как за бороду платить будут: по ведомости или ордер отдельный...

Услышав слово *ордер*, Остап пошел к Супругову. Швейцар не соврал. Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор.

Великого комбинатора он встретил чрезвычайно сухо.

— Я занят, — сказал он павлиньим голосом, — вам я могу *уделить две* минуты.

— Этого вполне достаточно, — начал Остап. — Мой сценарий «Шея»...

— Короче, — сказал Супругов.

— Сценарий «Шея»...

— Вы говорите толком, что вам нужно?

— «Шея»...

— Короче. Сколько вам следует?

— У меня какой-то глухой...

— Товарищ! Если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда.

— Девятьсот рублей, — пробормотал великий комбинатор.

— Триста, — категорически заявил Супругов. — Получите и уходите. И имейте в виду, вы украли у меня лишних полторы минуты.

Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку.

Выйдя из бухгалтерии, Остап сунул деньги в карман и сказал:

— Навуходоносор прав. Один здесь деловой человек — и тот Супругов.

Между тем беготня по лестницам, кружение, визг и гоготанье на 1й Черноморской кинофабрике достигли предела. *Адъютантши* скалили зубы. Помрежи вели черного козла, восхищаясь его фотогеничностью. Консультанты, эксперты и хранители чугунной печати сшибались друг с другом и хрипло хохотали. Пронеслась курьерша с помелом. Великому комбинатору почудилось даже, что один из ассистентов-аспирантов в голубых панталонах взлетел над толпой и, обогнув люстру, уселся на карнизе.

В ту же минуту раздался бой вестибюльных часов.

— *Баммм!* — ударили часы.

Вопли и клекот потрясли стеклянное ателье. Ассистенты, консультанты, эксперты и редакторы-монтажеры катились вниз по лестницам. У выходных дверей началась свалка.

— *Баммм! Баммм!* — били часы.

Тишина выходила из углов. Исчезли хранители большой печати, заведующие запятыми, администраторы и адъютантши. Последний раз мелькнуло помело курьерши.

— *Баммм!* — ударили часы в четвертый раз.

В ателье уже никого не было. И только в дверях, зацепившись за медную ручку карманом пиджака, бился, жалобно визжал и рыл копытцами мраморный пол ассистент-аспирант в голубых панталонах.

Служебный день завершился.

С берега, из рыбачьего поселка, донеслось пенье петуха.

Когда антилоповская касса пополнилась киноденьгами, авторитет командора, несколько поблекший после бегства Корейко, упрочился. Паниковскому была выдана небольшая сумма на кефир и обещаны золотые челюсти. Балаганову Остап ку-

пиджак и в придачу к нему скрипящий, как седло, кожаный бумажник. Хотя бумажник был пуст, Шура часто вынимал его и заглядывал внутрь. Козлевич получил пятьдесят рублей на закупку бензина.

Антилоповцы вели *честную*, нравственную, почти что деревенскую жизнь. Они помогали заведующему постоялым двором наводить порядки и вошли в курс цен *на* ячмень и сметану. Паниковский иногда выходил во двор, озабоченно раскрывал рот ближайшей лошади, глядел *на* зубы и бормотал: «Добрый жеребец», хотя перед ним стояла добрая кобыла.

Один лишь командор пропадал по целым дням, а когда появлялся на постоялом дворе, бывал весел и рассеян. Он подсаживался к друзьям, которые пили чай в грязной стеклянной галерее, закладывал за колено сильную ногу в красном башмаке и дружелюбно говорил:

— В самом ли деле прекрасна жизнь, Паниковский, или мне это только кажется?

— Где это вы безумствуете? — ревниво спрашивал нарушитель конвенции.

— Старик! Эта девушка не про вас, — отвечал Остап.

При этом Балаганов сочувственно хохотал и разглядывал новый бумажник, а Козлевич усмехался в свои кондукторские усы. Он не раз уже катал командора и Зосю по *приморскому* шоссе.

Погода благоприятствовала любви. Пикейные жилеты утверждали, что такого августа не было еще со времен порто-франко. Ночь показывала чистое телескопическое небо, а день подкатывал к городу освежающую морскую волну. Дворники у своих ворот торговали полосатыми монастырскими арбузами, и граждане надсаживались, сжимая арбузы с полюсов и склоняя ухо, чтобы услышать желанный треск. По вечерам со спортивных полей возвращались потные счастливые футболисты. За ними, подымая пыль, бежали мальчики. Они показывали пальцами на знаменитого голкипера, а иногда даже подымали его на плечи и с уважением несли.

Однажды вечером командор предупредил экипаж *Антилопы*, что назавтра предстоит большая увеселительная прогулка за город с раздачей гостинцев.

— Ввиду того что наш детский утренник посетит одна девушка, — сказал Остап значительно, — попросил бы господ вольноопределяющихся умыть лица, почиститься, а главное, не употреблять в поездке грубых выражений.

Паниковский очень взволновался, выпросил у командора три рубля, сбегал в баню и всю ночь потом чистился и скребся, как солдат перед парадом. Он встал раньше всех и очень

торопил Козлевича. Антилоповцы смотрели на Паниковского с удивлением. Он был гладко выбрит *и* припудрен так, что походил на *клюкву в сахаре*. Он поминутно обдергивал на себе пиджак и с трудом ворочал шеей в оскар-уайльдовском воротничке.

Во время прогулки, *которая прошла хорошо и весело*, Паниковский держался весьма чинно. Когда его знакомили с Зосей, он изящно согнул стан, но при этом так сконфузился, что даже пудра на его щеках покраснела. Сидя в автомобиле, он поджимал левую ногу, скрывая *порванный* ботинок, из которого *проглядывал* большой палец. Зося была в белом платье, обшитом красной ниткой. Антилоповцы ей очень понравились. Ее смешил грубый Шура Балаганов, который всю дорогу причесывался гребешком «Собинов». Иногда же он очищал нос пальцем, после чего обязательно вынимал носовой платок и томно им обмахивался. Адам Казимирович учил *ее* управлять *Антилопой*, чем также завоевал ее расположение. Немного смущал *Зосю* Паниковский. Она думала, что он не разговаривает с ней из гордости. Но чаще всего она останавливала взгляд на медальном лице командора.

На заходе солнца Остап *раздал* обещанные гостинцы. Козлевич получил брелок в виде компаса, который очень подошел к его толстым серебряным часам. Балаганову был преподнесен «Чтец-декламатор» в *коленкоровом* переплете, а *Паниковскому розовый* галстук с синими цветами.

— А теперь, друзья мои, — сказал Бендер, когда *Антилопа* возвратилась в город, — мы с Зосей Викторовной немного погуляем, а вам пора на постоялый двор, бай-бай.

Уже постоялый двор заснул и Балаганов с Козлевичем *пускали носовые трели*, а Паниковский с новым галстуком на шее бродил среди подвод, ломая руки в немой тоске.

— Какая фемина! — шептал он. — Я люблю ее, как дочь!

Остап сидел с Зосей на ступеньках музея древностей. *По* площади, выложенной лавой, прогуливались молодые люди, любезничая и смеясь. За строем платанов светились окна международного клуба моряков. Иностранные матросы в мягких шляпах шагали по два и по три, обмениваясь непонятными короткими замечаниями.

— Почему вы меня полюбили? — спросила Зося, трогая Остапа за руку.

— Вы нежная и удивительная, — ответил командор, — вы лучше всех на свете.

Долго и молча сидели они в черной тени музейных колонн, думая о маленьком *своем* счастье. Было тепло и темно, как между ладонями.

— Помните, я рассказывала вам о *Корейке?* — сказала вдруг Зося. — О том, который делал мне предложение?

— Да, — сказал Остап рассеянно.

— Он очень забавный человек, — продолжала Зося. — Помните, я вам рассказывала, как неожиданно он уехал?

— Да, — сказал Остап более внимательно, — он очень забавный.

— Представьте себе, сегодня я получила от него письмо. *Очень* забавное...

— Что? — воскликнул влюбленный, поднимаясь с места.

— Вы ревнуете? — лукаво спросила Зося.

— М-м, немножко. Что же вам пишет этот пошляк?

— Он вовсе не пошляк. Он просто очень несчастный и бедный человек. Садитесь, Остап. Почему вы встали? Серьезно, я его совсем не люблю. Он просит меня приехать к нему.

— Куда, куда приехать? — закричал Остап. — Где он?

— Нет, я вам не скажу. Вы ревнивец. Вы его еще убьете.

— Ну что вы, Зося! — осторожно сказал командор. — Просто любопытно узнать, где это люди устраиваются.

— О, он очень далеко. Пишет, что нашел очень выгодную службу, здесь ему мало платили. Он теперь на постройке Восточной *магистрали.*

— В каком месте?

— Честное слово, вы слишком любопытны! Нельзя быть таким Отелло!

— Ей-богу, Зося, вы меня смешите. Разве я похож на старого глупого мавра? Просто хотелось бы узнать, в какой части Восточной *магистрали* устраиваются люди.

— Я скажу, если вы хотите. Он работает табельщиком в *северном* укладочном городке, — кротко сказала девушка, — но он только так называется — городок. *В* самом деле это поезд. Мне Александр Иванович очень интересно описал. Этот поезд укладывает рельсы. Понимаете? И по ним же движется. А навстречу ему, с юга, идет другой такой же городок. Скоро они встретятся. Тогда будет торжественная смычка. Все это в пустыне, он пишет, верблюды... Правда, интересно?

— Необыкновенно интересно, — сказал великий комбинатор, бегая под колоннами. — Знаете что, Зося, надо идти. Уже поздно. И холодно. И, вообще, идемте!

Он поднял Зосю со ступенек, вывел на площадь и здесь замялся.

— Вы разве меня не проводите домой? — тревожно спросила *Зося.*

— Что? — сказал Остап. — Ах, домой? Видите, я...

— Хорошо, — сухо молвила Зося, — до *свидания.* И не приходите больше ко мне. Слышите?

Но великий комбинатор уже ничего не слышал. Только пробежав квартал, он остановился.

— Нежная и удивительная! — пробормотал он.

Остап повернул назад, вслед за любимой. Минуты две он несся под черными деревьями. Потом снова остановился, снял капитанскую фуражку и затоптался на месте.

— Нет, это не Рио-де-Жанейро! — сказал он наконец.

Он нахлобучил фуражку и, уже не рассуждая, помчался на постоялый двор.

В ту же ночь *из двора*, бледно светя фарами, выехала *Антилопа*. Заспанный Козлевич с усилием поворачивал рулевое колесо. Балаганов успел заснуть в машине во время коротких сборов. Паниковский грустно поводил *глазами*, вздрагивая от ночной свежести. На его лице еще виднелись следы праздничной пудры.

— Карнавал окончился! — крикнул командор, когда *Антилопа* со стуком проезжала под железнодорожным мостом. — Начинаются суровые будни!

А в комнате старого ребусника у букета засохших роз плакала нежная и удивительная.

Глава двадцать пятая

Три дороги

А*нтилопе* было нехорошо. Она останавливалась даже на легких подъемах и *буквально* катилась назад, в моторе слышались посторонние шумы и хрипенье, будто бы под желтым капотом автомобиля кого-то душили. Машина была перегружена. Кроме экипажа, она несла на себе большие запасы горючего. В бидонах и бутылях, которые заполняли все свободные места, булькал бензин. Козлевич *покачивал* головой, поддавал газу и сокрушенно смотрел на Остапа.

— Адам, — говорил командор, — вы наш отец, мы ваши дети. Курс на восток! У *вас прекрасный* навигационный прибор, компас-брелок. Не сбейтесь с пути!

Антилоповцы катили уже третий день, но, кроме Остапа, никто толком не знал конечной цели нового путешествия. Паниковский тоскливо смотрел на лохматые кукурузные поля и несмело шепелявил:

— Зачем мы опять едем? К чему это все? Так хорошо было в Черноморске.

И при воспоминании о чудной фемине он судорожно вздыхал. Кроме того, ему хотелось есть, а есть было нечего — деньги кончились.

— Вперед! — *отвечал* Остап. — Не нойте, старик! Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн ке-

фира. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? *«Студебеккер»*? *«Линкольн»*? *«Ройс»*? *«Испано-Сюизу»*?

— *«Изотта-Фраскини»*, — сказал Козлевич, зарумянившись.

— Хорошо. Вы ее получите. Она будет называться *Антилопа-Вторая* или *Дочь Антилопы*, как вам будет угодно. А сейчас нечего унывать. Довольствием я вас обеспечу. Правда, сгорел мой саквояж, но остались несгораемые идеи. Если уж совсем плохо придется, мы остановимся в каком-нибудь счастливом городке и устроим там севильский бой быков. Паниковский будет пикадором. Одно это вызовет нездоровый интерес публики, а, следовательно, огромный сбор.

Машина подвигалась по широкому шляху, отмеченному следами тракторных шпор. Шофер неожиданно затормозил.

— Куда ехать? — спросил он. — Три дороги.

Пассажиры вылезли из машины и, разминая ослабевшие ноги, прошли немного вперед. На распутье стоял наклонный каменный столб, на котором сидела толстая ворона. Сплющенное солнце садилось за кукурузные лохмы. Узкая тень Балаганова уходила к горизонту. Землю чуть тронула темная краска, и передовая звезда своевременно сигнализировала наступление ночи.

Три дороги лежали перед антилоповцами — асфальтовая, шоссейная и проселочная. Асфальт еще желтился от солнца, голубой пар стоял над шоссе, проселок был совсем темным и терялся в поле сейчас же за столбом. Остап крикнул на ворону, которая очень испугалась, но не улетела, побродил в раздумье на перекрестке и сказал:

— Объявляю конференцию русских богатырей открытой! Налицо имеются: Илья Муромец — Остап Бендер, Добрыня Никитич — Балаганов, и Алеша Попович — всеми нами уважаемый Михаил Паниковский.

Козлевич, пользуясь остановкой, заполз под *Антилопу* с французским ключом, а потому в число богатырей включен не был.

— Дорогой Добрыня, — распорядился Остап, — станьте, пожалуйста, справа. *Месье* Попович, займите ваше место с левой стороны. Приложите ладони ко лбам и вглядывайтесь вперед.

— Что это за шутки еще? — возмутился Алеша Попович. — Я голоден. Едем скорее куда-нибудь.

— Стыдно, Алешенька, — сказал Остап, — станьте, как полагается древнему витязю. И раздумывайте. Смотрите, как Доб-

рыня себя ведет. С него хоть сейчас можно былину писать. Итак, богатыри, по какой дороге ехать? На какой из них валяются деньги, необходимые нам для текущих расходов? Я знаю, Козлевич двинулся бы по асфальту, шоферы любят хорошие дороги. Но Адам — честный человек, он плохо разбирается в жизни. Витязям асфальт ни к чему. Он ведет, вероятно, в зерновой гигант. Мы потеряемся там в шуме машин. Нас еще придавит каким-нибудь *катерпиллером* или комбайном. Умереть под комбайном — это скучно. Нет, богатыри, нам не ехать по асфальтовой дороге. Теперь — шоссе. Козлевич, конечно, от него тоже не отказался бы. Но поверьте Илье Муромцу — шоссе нам не годится. Пусть обвиняют нас в отсталости, но мы не поедем по этой дороге. Чутье подсказывает мне встречу с нетактичными колхозниками и прочими образцовыми гражданами. Кроме того, им не до нас. По их обобществленным угодьям бродят сейчас многочисленные литературные и музыкальные бригады, собирая материалы для агропоэм и огородных кантат. Остается проселок, граждане богатыри! Вот *он древний* сказочный путь, по которому двинется *Антилопа!* Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет! Здесь еще летает догорающая жар-птица, и людям нашей профессии перепадают золотые перышки. Здесь сидит еще на своих сундуках *Кащей*, считавший себя бессмертным и теперь с ужасом убедившийся, что ему приходит конец. Но нам с вами, богатыри, от него кое-что перепадет, в особенности если мы представимся ему в качестве странствующих монахов. С точки зрения дорожной техники этот сказочный путь отвратителен. Но для нас другого пути нет. Адам! Мы едем!

Козлевич грустно вывел машину на проселок, где она немедленно принялась выписывать кренделя, крениться набок и высоко подкидывать пассажиров. Антилоповцы хватались друг за друга, сдавленно ругались и стукались коленями о твердые бидоны.

— Я хочу есть! — стонал Паниковский. — Я хочу гуся! Зачем мы уехали из Черноморска?..

Машина визжала, выдираясь из глубокой колеи и снова в нее проваливаясь.

— Держитесь, Адам! — кричал Бендер. — Во что бы то ни стало держитесь! Пусть только *Антилопа* довезет нас до Восточной *магистрали*, и мы наградим ее золотыми шинами с мечами и бантами!

Козлевич не слушал. От сумасшедших бросков руль вырывался из его рук. А Паниковский продолжал томиться.

— Бендер, — захрипел он вдруг, — вы знаете, как я вас уважаю, но вы ничего не понимаете! Вы не знаете, что такое гусь! Ах, как я люблю эту птицу! Это дивная, жирная птица, честное

благородное слово. Гусь! Бендер! Крылышко! Шейка! Ножка! Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор — одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!..

— Знаем, — сказал командор, — видели в Арбатове. Второй раз не советую.

Паниковский замолчал, но уже через минуту, когда новый толчок машины бросил его на Бендера, снова раздался его горячечный шепот:

— Бендер! Он гуляет по дороге. Гусь! Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер! В этом их слабая сторона!..

Теперь нарушитель конвенции почти пел.

— Он идет на меня и шипит, как граммофон. Но я не из робкого десятка, Бендер! Другой бы на моем месте убежал, а я стою и жду. Вот он подходит и протягивает шею, белую гусиную шею с желтым клювом. Он хочет меня укусить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает. И тут, в порядке самозащиты, я его хвата...

Но Паниковский не успел закончить своей речи. Раздался ужасный тошнотворный треск, и антилоповцы в секунду очутились прямо на дороге в самых разнообразных позах. Ноги Балаганова торчали из канавы. На животе великого комбинатора лежал бидон с бензином. Паниковский стонал, легко придавленный рессорой. Козлевич поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов.

Антилопы не было. На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры. Медные кишечки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Цепь сползала в колею, как гадюка. В наступившей тишине послышался тонкий звон, и откуда-то с пригорка прикатилось колесо, видимо, далеко закинутое ударом. Колесо описало дугу и мягко легло у ног Козлевича.

И только тогда шофер понял, что все кончилось. *Антилопа* погибла. Адам Казимирович сел на землю и охватил голову руками. Через несколько минут командор тронул его за плечо и сказал изменившимся голосом:

— Адам, нужно идти.

Козлевич встал и сейчас же опустился на прежнее место.

— Надо идти, — повторил Остап. — *Антилопа* была верная машина, но на свете есть еще много машин. Скоро вы сможете выбрать любую. Идем, нам нужно торопиться. Нужно где-ни-

будь переночевать, поесть, раздобыть денег на билеты. Ехать придется далеко. Идем, идем, Козлевич. Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты. Где Паниковский? Где этот гусекрад? Шура! Ведите Адама!

Козлевича потащили под руки. Он чувствовал себя кавалеристом, у которого по его недосмотру погибла лошадь. Ему казалось, что теперь над ним будут смеяться все пешеходы.

После гибели *Антилопы* жизнь сразу затруднилась. Ночевать пришлось в поле. Остап сразу же сердито заснул, заснули Балаганов с Козлевичем, а Паниковский всю ночь сидел у костра и дрожал. Антилоповцы поднялись с рассветом, но добраться до ближайшей деревни смогли только к четырем часам дня. Всю дорогу Паниковский плелся позади. Он прихрамывал. От голода глаза его приобрели кошачий блеск, и он, не переставая, жаловался на судьбу и командора.

В деревне Остап приказал экипажу ждать на *третьей* улице и никуда не отлучаться, а сам пошел на *первую*, в сельсовет. Оттуда он вернулся довольно быстро.

— Все устроено, — сказал он повеселевшим голосом, — сейчас нас поставят на квартиру и дадут пообедать. После обеда мы будем нежиться на сене. Помните? — *Молоко* и сено. А вечером мы даем спектакль. Я его уже запродал за пятнадцать рублей. Деньги получены. Шура! Вам придется что-нибудь продекламировать, из «Чтеца-декламатора», я буду показывать антирелигиозные карточные фокусы, а Паниковский... Где Паниковский? Куда он девался?

— Он только что *здесь был*, — сказал Козлевич.

Но тут за плетнем, возле которого стояли антилоповцы, *послышалось* гусиное гоготанье и бабий визг, пролетели белые перья, и на улицу выбежал Паниковский. Видно, рука изменила тореадору, и он, в порядке самозащиты, нанес птице неправильный удар. За ним гналась хозяйка, размахивая поленом.

— Жалкая, ничтожная женщина! — кричал Паниковский, устремляясь вон из деревни.

— Что за трепло! — воскликнул Остап, не скрывая досады. — Этот негодяй сорвал нам спектакль. Бежим, покуда не отобрали пятнадцать рублей.

Между тем разгневанная хозяйка догнала Паниковского, изловчилась и огрела его поленом по хребту. Нарушитель конвенции свалился наземь, но сейчас же вскочил и помчался с неестественной быстротой. Свершив *акт* возмездия, хозяйка радостно повернула назад. Пробегая мимо антилоповцев, она погрозила им поленом.

— Теперь наша артистическая карьера окончилась, — сказал Остап, скорым шагом выбираясь из деревни, — *обед*, отдых — все пропало.

Паниковского они настигли только километра через три. Он лежал в придорожной *траве* и громко жаловался. От усталости, страха и боли он побледнел, и многочисленные старческие румянцы сошли с его лица. Он был так жалок, что командор отменил расправу, которую собирался над ним учинить.

— Хлопнули Алешу Поповича да по могутной спинушке! — сказал Остап, проходя.

Все посмотрели на Паниковского с отвращением. И опять он потащился в конце колонны, стеная и лепеча:

— Подождите меня, не спешите. Я старый, я больной, мне плохо... Гусь! Ножка! Шейка!.. Фемина!.. Жалкие, ничтожные люди!..

Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод гнал их вперед. Никогда еще им не было так тесно и неудобно на свете. Дорога тянулась бесконечно, и Паниковский отставал все больше и больше. Друзья уже спустились в неширокую желтую долину, а нарушитель конвенции все еще черно рисовался на гребне холма в зеленоватом сумеречном небе.

— Старик стал невозможным! — сказал голодный Бендер. — Придется его рассчитать. Идите, Шура, притащите этого симулянта!

Недовольный Балаганов отправился выполнять поручение. Пока он *вбегал* на холм, фигура Паниковского исчезла.

— Что-то случилось, — сказал Козлевич через несколько времени, глядя на гребень, с которого семафорил руками Балаганов.

Шофер и командор поднялись вверх.

Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута под спину. Глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв.

— Паралич сердца, — сказал Остап, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Могу определить и без стетоскопа. Бедный старик.

Он отвернулся. Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил:

— А я его побил за гири. И еще раньше с ним дрался.

Козлевич вспомнил о погибшей *Антилопе*, с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.

— Бросьте, Адам, — *сказал* великий комбинатор, — *я* знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы *скажете «бог* дал, бог и взял», *потом «все* под богом ходим», *потом* еще что-нибудь лишенное смысла, *вроде «ему* теперь все-таки лучше, чем нам». Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача — тело должно быть предано земле.

Было уже совсем темно, когда для нарушителя конвенции *нашлось* последнее пристанище. Это была естественная могила, вымытая дождями у основания каменной, перпендикулярно поставленной плиты. Давно, видно, стояла эта плита у дороги. Может быть, красовалась на ней некогда надпись: «*Влад"ніе пом"щика* отставного *маіора* Георгія *Афанасіевича* Волкъ-Лисицкаго», а может быть, был это просто межевой знак потемкинских времен, да это было и неважно. Паниковского положили в яму, накопали палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию:

Здесь лежит
Михаил Самуэлевич
Паниковский,
человек без паспорта

Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:

— Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все.

Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтобы высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.

Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция.

— А вот и цивилизация, — сказал Остап, — может быть, буфет, еда. Поспим на скамьях. Утром двинем на восток. Как вы полагаете?

Шофер и бортмеханик безмолвствовали.

— Что же вы молчите, как женихи?

— Знаете, Бендер, — сказал наконец Балаганов, — я не поеду. Вы не обижайтесь, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы там все пропадем. Я остаюсь.

— Я то же хотел вам сказать, — поддержал Козлевич.

— Как хотите, — заметил Остап с внезапной сухостью.

На станции буфета не было. Горела керосиновая лампа-молния. В пассажирском зале дремали на мешках две бабы. Весь железнодорожный персонал бродил по дощатому перрону, тревожно вглядываясь в *темноту*, за семафор.

— Какой поезд? — спросил Остап.

— Литерный, — нервно ответил начальник станции, поправляя красную фуражку с серебряными позументами. — Особого назначения. Задержан на две минуты. Разъезд пропуска не дает.

Раздался гул, задрожала проволока, из гула вылупились волчьи глазки, и *огромный* блестящий поезд с размаху влетел на станцию. Засияли широкие стекла мягких вагонов, под самым носом антилоповцев пронеслись букеты и винные бутылки *вагона*-ресторана, на ходу соскочили проводники с фонарями, и перрон сразу наполнился веселым русским говором и иностранной речью. Вдоль вагонов висели хвойные дуги и лозунги: «Привет *героям-строителям* Восточной *магистрали*».

Литерный поезд с гостями шел на *торжество открытия* дороги.

Великий комбинатор исчез. Через полминуты он снова появился и зашептал:

— Я еду! Как еду — *не знаю*, но еду! Хотите со мной? Последний раз спрашиваю.

— Нет, — сказал Балаганов.

— Не поеду, — сказал Козлевич, — не могу больше.

— Что ж вы будете делать?

— А что мне делать, — *ответил* Шура, — *пойду* в дети лейтенанта Шмидта, и все.

— *Антилопу* думаю собрать, — жалобно молвил Адам Казимирович, — пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам.

Остап хотел что-то сказать, но длинный свисток закрыл ему рот. Он притянул к себе Балаганова, погладил его по спине, расцеловался с Козлевичем, махнул рукой и побежал к поезду, вагоны которого уже сталкивались между собой от первого толчка паровоза. Но, не добежав, он повернул назад, сунул в руку Козлевича пятнадцать рублей, полученные за проданный спектакль, и вспрыгнул на подножку движущегося поезда.

Оглянувшись, он увидел в сиреневой мгле две маленькие фигурки, *подымавшиеся* по насыпи. Балаганов возвращался в беспокойный стан детей лейтенанта Шмидта. Козлевич брел к останкам *Антилопы*.

Часть третья

ЧАСТНОЕ ЛИЦО

Глава двадцать шестая

Пассажир литерного поезда

У асфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было всего шесть вагонов: багажный, где, против обыкновения, помещался не багаж, а хранились на льду запасы пищи, вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, правительственный салон, *принадлежавший когда-то певице Вальцевой (теперь здесь, вместо знаменитой исполнительницы романса «Все говорят, что я ветрена бываю, все говорят, что никого я не люблю. Но почему же я всех забываю, лишь одного я забыть не могу», ехали представители правительства и члены Совета Национальностей).* Остальные три вагона были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами, надлежало разместиться делегации рабочих-ударников, а также иностранным и советским корреспондентам. Поезд готовился выйти на смычку рельсов Восточной Магистрали.

Путешествие предстояло длительное. Ударники впихивали в вагонный тамбур дорожные корзины с болтающимися на железном пруте черными замочками. Советская пресса металась по перрону, размахивая лакированными фанерными саквояжами. Иностранцы следили за носильщиками, переносившими их толстые кожаные чемоданы, кофры и картонки с цвет-

ными наклейками туристских бюро и пароходных компаний. Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная магистраль», на обложке которой был изображен верблюд, нюхающий рельсы. Книжка продавалась тут же, с багажной тележки. Автор книги, журналист Паламидов, уже несколько раз проходил мимо тележки, ревниво поглядывая на покупателей. Он считался знатоком Магистрали и ехал туда уже в третий раз.

Приближалось время отъезда, но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного пассажирского поезда. Не было на перроне старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил последний взгляд на своего дедушку. Разумеется, не было и дедушки, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед железнодорожными сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих-ударников доставили на вокзал профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопроса о прощальных поцелуях. Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделываться рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты, в количестве тридцати человек, ехали на открытие Магистрали в полном составе, с женами и граммофонами, так что провожать их было некому.

Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за блокноты и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой и годами, но в его кудрях, как луна в джунглях, светилась лысина.

— Противно на вас смотреть! — кричал он провожающим. — Разве вы можете понять, что такое Восточная Магистраль!

Если бы руки горячего Лавуазьяна не были бы заняты большой пишущей машинкой в клеенчатом кучерском чехле, то он, может быть, даже и побил бы кого-нибудь из друзей, так он был страстен и предан делу газетной информации. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем было.

Прибывший на вокзал раньше всех сотрудник профсоюзного органа Ухудшанский неторопливо расхаживал вдоль поезда. Он нес с собой «Туркестанский Край, полное географическое описание нашего отечества, настольная и дорожная книга для русских людей», сочинение Семенова-Тян-Шанского, изданное в 1903 году. Он останавливался около групп отъезжающих и провожающих и с некоторой сатирической нотой в голосе говорил:

— Уезжаете? Ну, ну.

— Остаетесь? Ну, ну.

Таким манером он прошел к голове поезда, долго, откинув голову назад, смотрел на паровоз и, наконец, сказал машинисту:

— Работаете? Ну, ну.

Затем журналист Ухудшанский ушел в купе, развернул последний номер своего профоргана и отдался чтению собственной статьи под названием «Улучшить работу лавочных комиссий» с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно». Статья заключала в себе отчет о каком-то заседании, и отношение автора к описываемому событию можно было бы определить одной фразой: «Заседаете? Ну, ну». Ухудшанский читал до самого отъезда.

Один из провожающих, человек с розовым плюшевым носом и бархатными височками, произнес пророчество, страшно всех напугавшее.

— Я знаю такие поездки, — *говорил* он, — сам ездил. Ваше будущее мне известно. Здесь вас человек сто. Ездить вы будете в общей сложности целый месяц. Двое из вас отстанут от поезда на маленькой глухой станции без денег и документов и догонят вас только через неделю, голодные и оборванные. У кого-нибудь обязательно украдут чемодан. Может быть, у Паламидова, или у Лавуазьяна, или у Навроцкого. И потерпевший будет ныть всю дорогу, выпрашивать у соседей кисточку для бритья. Кисточку он будет возвращать невымытой, а тазик потеряет. Один путешественник, конечно, умрет, и друзья покойного, вместо того, чтобы ехать на смычку, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. Это очень скучно и противно — возить прах. Кроме того, в дороге начнется склока. Поверьте мне! Кто-нибудь, хотя бы тот же Паламидов или Ухудшанский, совершит антиобщественный поступок. И вы будете долго и тоскливо его судить, а он будет с визгом и стонами отмежевываться. Все мне известно. Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея: бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сшитое в виде халата. И, конечно же, все вы по вечерам будете петь в вагоне «Стеньку Разина», будете глупо реветь: «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Мало того, даже иностранцы будут петь: «Вниз по матушке, по *Вольге*, сюр нотр мер Вольга», по нашей матери Волге.

Лавуазьян разгневался и замахнулся на пророка пишущей *машиной*.

— Вы нам завидуете! — сказал он. — Мы не будем петь.

— Запоете, голубчики. Это неизбежно. Уж мне все известно.

— Не будем петь.

— Будете. И если вы честные люди, то немедленно напишите мне об этом открытку.

В это время раздался сдержанный крик. С крыши багажного вагона упал фоторепортер Меньшов. Он взобрался туда для того, чтобы заснять моменты отъезда. Несколько *минут* Меньшов лежал на *высоком* перроне, держа над головой аппарат. Потом он поднялся, озабоченно проверил затвор и снова полез на крышу.

— Падаете? — спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой.

— Какое это падение! — презрительно сказал фоторепортер. — Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в Парке *Культуры* и *Отдыха*!

— Ну, ну, — заметил представитель профоргана и скрылся в окне.

Взобравшись на крышу и припав на одно колено, Меньшов продолжал работу. На него с выражением живейшего удовлетворения смотрел норвежский писатель, который уже разместил свои вещи в купе и вышел на перрон прогуляться. У писателя были светлые детские волосы и большой варяжский нос. Норвежец был так восхищен фото-молодечеством Меньшова, что почувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Быстрыми шагами он подошел к старику-ударнику с Трехгорки, приставил свой указательный палец к его груди и пронзительно воскликнул:

— Вы!!

Затем он указал на собственную грудь и так же пронзительно вскричал:

— Я!!

Исчерпав таким образом все имевшиеся в его распоряжении русские слова, писатель приветливо улыбнулся и побежал к своему вагону, так как прозвучал второй звонок. Ударник тоже побежал к себе. Меньшов спустился на землю. Закивали головы, показались последние улыбки, пробежал *поэт* в пальто с черным бархатным воротником. Когда хвост поезда уже мотался на выходной стрелке, из буфетного зала выскочили два брата-корреспондента, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. В зубах у Скамейкина был зажат шницель по-венски. Братья, прыгая, как молодые собаки, промчались вдоль перрона, соскочили на запятнанную нефтью землю и только здесь, среди шпал, поняли, что за поездом им не угнаться.

А поезд, выбегая из строящейся Москвы, уже завел свою оглушительную песню. Он бил колесами, адски хохотал под мостами и, только оказавшись среди дачных лесов, немного поуспокоился и развил большую скорость. Ему предстояло описать на глобусе порядочную кривую, предстояло переменить не-

сколько климатических провинций — переместиться из центральной прохлады в горячую пустыню, — миновать много больших и малых городов и перегнать московское время на четыре часа.

К вечеру первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника капиталистического мира: представитель свободомыслящей австрийской газеты господин Гейнрих и американец Хирам Бурман. Они пришли знакомиться. Господин Гейнрих был невелик ростом. На мистере Хираме была мягкая шляпа с подкрученными полями. Оба говорили по-русски довольно чисто и правильно. Некоторое время все молча стояли в коридоре, с интересом разглядывая друг друга. Для разгона заговорили о Художественном театре. Гейнрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос.

— У нас такого вопроса уже нет, — сказал Паламидов.

— Как же может не быть еврейского вопроса? — удивился Хирам.

— Нету. Не существует.

Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему *было* больно.

— Но ведь в России есть евреи? — сказал он осторожно.

— Есть, — ответил Паламидов.

— Значит, есть и вопрос?

— Нет. Евреи есть, а вопроса *нет*.

Электричество, скопившееся в вагонном коридоре, было несколько разряжено появлением Ухудшанского. Он шел к умывальнику с полотенцем на шее.

— Разговариваете? — сказал он, покачиваясь от быстрого хода поезда. — Ну, ну.

Когда он возвращался назад, чистый и бодрый, с каплями воды на висках, спор охватил уже весь коридор. Из купе вышли совжурналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли еще два иностранца, итальянский корреспондент с фашистским жетоном, изображающим ликторский пучок и топорик, *в петлице пиджака*, и немецкий профессор-востоковед, ехавший на торжество по приглашению Вокса. Фронт спора был очень широк — от строительства социализма в СССР до входящих на Западе в моду мужских беретов. И по всем пунктам, каковы бы они ни были, возникали разногласия.

— Спорите? Ну, ну, — сказал Ухудшанский, удаляясь в свое купе.

В общем шуме можно было различить только отдельные выкрики.

— Раз так, — говорил господин Гейнрих, хватая путиловца Суворова за косоворотку, — то почему вы тринадцать лет только болтаете? Почему вы не устраиваете мировой революции, о которой вы столько говорите? Значит, не можете? Тогда перестаньте болтать!

— А мы и не будем делать у вас революции! Сами сделаете!

— Я? Нет, я не буду делать революции.

— Ну, без вас сделают и вас не спросят.

Мистер Хирам Бурман стоял, прислонившись к тисненому кожаному простенку, и безучастно глядел на спорящих. Еврейский вопрос провалился в какую-то дискуссионную трещину в самом же начале разговора, а другие темы не вызывали в его душе никаких эмоций. От группы, где немецкий профессор положительно отзывался о преимуществах советского брака перед церковным, отделился стихотворный фельетонист, подписывавшийся псевдонимом Гаргантюа. Он подошел к призадумавшемуся Хираму и стал что-то с жаром ему объяснять. Хирам принялся слушать, но скоро убедился, что ровно ничего не может разобрать. Между тем Гаргантюа, поминутно поправляя что-нибудь в туалете Хирама, то подвязывая ему галстук, то снимая с него пушинку, то застегивая и снова расстегивая пуговицу, говорил довольно громко и, казалось, даже отчетливо. Но в его речи был какой-то неуловимый дефект, превращавший слова в труху. Беда усугублялась тем, что Гаргантюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника подтверждения.

— Ведь верно? — говорил он, ворочая головой, словно бы собирался своим большим хорошим носом клюнуть некий корм. — Ведь правильно? *Понятно?*

Только эти слова и были понятны в речах Гаргантюа. Все остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Мистер Бурман из вежливости соглашался и вскоре убежал. Все соглашались с Гаргантюа, и он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чем угодно.

— Вот видите, — сказал он Паламидову, — вы не умеете разговаривать с людьми. А я его убедил. Только что я ему доказал, и он со *мной* согласился, что никакого еврейского вопроса у нас уже не существует. Ведь верно? Ведь правильно?

Паламидов ничего не разобрал и, кивнув головой, стал вслушиваться в беседу, происходившую между немецким востоковедом и проводником вагона. Проводник давно порывался вступить в разговор и только сейчас нашел свободного слушателя по плечу. Узнав предварительно звание, а также имя и фамилию собеседника, проводник отставил веник в сторону и плавно начал:

— Вы, наверно, не слыхали, гражданин профессор, в Средней Азии есть такое животное, называется верблюд. У него на спине две кочки имеются. И был у меня железнодорожник знакомый, вы, наверно, слыхали, товарищ Должностюк, багажный раздатчик. Сел он на этого верблюда между кочек и ударил его хлыстом. *А верблюд* был злой и стал его кочками давить, чуть было вовсе не задавил. Должностюк, однако, успел соскочить. Боевой был парень, вы, наверно, слыхали. Тут верблюд ему весь китель оплевал, а китель только из прачечной...

Вечерняя беседа догорала. Столкновение двух миров окончилось благополучно. Ссоры как-то не вышло. *Существование* в литерном поезде двух систем — капиталистической и социалистической — волей-неволей должно было *продолжаться* около месяца. Враг мировой революции, господин Гейнрих, рассказал старый дорожный анекдот, после чего все пошли в ресторан ужинать, переходя из вагона в вагон по трясущимся железным щитам и жмуря глаза от сквозного ветра. В ресторане, однако, население поезда расселось порознь. Тут же, за ужином, состоялись смотрины. Заграница, представленная корреспондентами крупнейших газет и телеграфных агентств всего мира, чинно налегла на хлебное вино и с ужасной вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков.

Разные люди сидели в *вагоне-ресторане:* и провинциал из Нью-Йорка — мистер Бурман, и канадская девушка, прибывшая из-за океана только за час до отхода литерного поезда и поэтому еще очумело вертевшая головой над котлетой в длинной металлической тарелочке, и японский дипломат, и другой японец, помоложе, и господин Гейнрих, желтые глаза которого *чему-то* усмехались, и молодой английский дипломат с тонкой теннисной талией, и немец-востоковед, весьма терпеливо выслушавший рассказ проводника о существовании странного животного с двумя кочками на спине, и американский экономист, и чехословак, и поляк, и четыре американских корреспондента, в том числе пастор, пишущий в газете союза христианских молодых людей, и стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией, которая прославилась тем, что в прошлом году отстала в Минеральных Водах от поезда и в целях рекламы некоторое время *скрывалась* в станционном буфете (это событие вызвало в американской прессе большой переполох. Три дня печатались статьи под заманчивыми заголовками: «Девушка из старинной семьи в лапах диких кавказских горцев» и «Смерть или выкуп»), и многие другие. Одни относились ко всему советскому

враждебно, другие надеялись в наикратчайший срок разгадать загадочные души азиатов, *и третьи, старавшиеся* добросовестно уразуметь, что же в конце концов происходит в *стране* Советов.

Советская сторона шумела за своими столиками. Ударники принесли *еду* с собою в бумажных пакетах и налегли на чай *с лимоном* в подстаканниках из белого крупповского металла. Более состоятельные журналисты заказали шницеля, а Лавуазьян, которого внезапно охватил припадок славянизма, решил не ударить лицом в грязь перед иностранцами и потребовал почки-соте. Почек он не съел, так как не любил их сызмальства, но тем не менее надулся гордостью и бросал на иноземцев вызывающие взгляды. И на советской стороне были разные люди. Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со *сталинградского* тракторного завода, десять лет назад лежавший в окопах против Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный Восточной Магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы. Сидели тут металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром. Как бы удивился дипломат с теннисной талией, если бы узнал, что маленький вежливый стихотворец Гаргантюа восемь раз был в плену у разных гайдамацких атаманов и один раз даже был расстрелян махновцами, о чем не любил распространяться, так как сохранил неприятнейшие воспоминания, выбираясь с простреленным плечом из общей могилы. Возможно, что и представитель христианских молодых людей схватился бы за сердце, выяснив, что веселый Паламидов был председателем армейского трибунала, а Лавуазьян в интересах газетной информации переоделся женщиной, проник на собрание баптисток, о чем и написал большую антирелигиозную корреспонденцию, что ни один из присутствующих советских граждан не крестил своих детей и что среди этих исчадий *ада* имеются даже четыре писателя.

Разные люди сидели в *вагоне*-ресторане.

На второй день сбылись слова плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполнили «Эй, *полным, полным* коробочка» с не менее странным припевом «Эх, юхнем!». Открытки человеку

с плюшевым носом никто не послал, было совестно. Один лишь Ухудшанский крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая *губы* и делая вид, что читает «Полное географическое описание нашего отечества». Он был строго наказан. Музыкальный пароксизм случился с ним ночью, далеко за Самарой. В полночный час, когда необыкновенный поезд уже спал, из купе Ухудшанского послышался шатающийся голос: «Есть на Волге утес, диким мохом порос». Путешествие взяло свое.

А еще позже, когда заснул и Ухудшанский, дверь с площадки отворилась, на секунду послышался вольный гром колес, и в пустой блистающий коридор, озираясь, вошел Остап Бендер. Секунду он колебался, *потом* сонно махнул рукой и раскрыл первую же дверь купе. При свете синей ночной лампочки спали Гаргантюа, Ухудшанский и фотограф Меньшов. Четвертый, верхний диванчик был пуст. Великий комбинатор не стал раздумывать. Чувствуя слабость в ногах после тяжелых скитаний, невозвратимых утрат и двухчасового стояния на подножке вагона, он взобрался наверх. *Оттуда* представилось чудесное видение — у окна, на столике, задрав ножки вверх, как оглобли, лежала белотелая вареная курица.

— Я иду по неверному пути Паниковского, — прошептал Остап.

С этими словами он поднял курицу к себе и съел ее без хлеба и соли. Косточки он засунул под твердый холщовый валик. Он заснул счастливый под *скрипение* переборок, вдыхая неповторимый железнодорожный запах краски.

Глава двадцать седьмая

«Позвольте войти наемнику капитала!»

Ночью Остапу приснилось грустное затушеванное лицо Зоси, а потом появился Паниковский. Нарушитель конвенции был в извозчичьей шляпе с пером и, ломая руки, говорил: «Бендер! Бендер! Вы не знаете, что такое курица! Это дивная, жирная птица, курица!» Остап не понимал и сердился: «Какая курица? Ведь ваша специальность — гусь!» Но Паниковский настаивал на своем: «Курица, курица, курица!»

Бендер проснулся. Низко над головой он увидел потолок, выгнутый, как крышка *бабушкиного* сундука. У самого носа великого комбинатора шевелилась багажная сетка. В купе было очень светло. В *полуопущенное* окно рвался горячий воздух оренбургской степи.

— Курица! — донеслось снизу. — Куда же девалась моя курица? Кроме нас, в купе никого нет! Ведь верно? Позвольте, а это чьи ноги?

Остап закрыл глаза рукой и тут же с неудовольствием вспомнил, что так делывал и Паниковский, когда ему грозила беда. Отняв руку, великий комбинатор увидел *две* головы, показавшиеся на уровне его полки.

— Спите? Ну, ну, — сказала первая голова.

— Скажите, дорогой, — доброжелательно молвила вторая, — это вы съели мою курицу? Ведь верно? Ведь правильно?

Фоторепортер Меньшов сидел внизу, по локоть засунув обе руки в черный фотографический мешок. Он перезаряжал кассеты. *При этом лицо у него было задумчивое, словно бы он шарил под юбкой.*

— Да, — *вызывающе* сказал Остап, — я ее съел.

— Вот спасибо! — неожиданно воскликнул Гаргантюа. — А я уж и не знал, что с ней делать. Ведь жара, курица могла испортиться. Правильно? Выбрасывать жалко! Ведь верно?

— Разумеется, — сказал Остап осторожно, — я очень рад, что смог оказать вам эту маленькую услугу.

— Вы от какой газеты? — спросил фоторепортер, продолжая с томной улыбкой шарить в мешке. — Вы не в Москве сели?

— Вы, я вижу, фотограф, — сказал Остап, уклоняясь от прямого ответа, — знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся.

Меньшов засмеялся. Шутка нового пассажира пришлась ему по вкусу. И в это утро никто больше не задавал великому комбинатору скользких вопросов. Он спрыгнул с дивана и, погладив свои щеки, на которых за три дня отросла разбойничья щетина, вопросительно посмотрел на доброго Гаргантюа. Стихотворный фельетонист распаковал чемодан, вынул оттуда бритвенный прибор и, протянув его Остапу, долго что-то объяснял, клюя невидимый корм и поминутно требуя подтверждения своим словам.

Покуда Остап брился, мылся и чистился, Меньшов, опоясанный фотографическими ремнями, распространил по всему вагону известие, что в их купе едет новый провинциальный корреспондент, догнавший ночью поезд на аэроплане и съевший курицу Гаргантюа. Рассказ о курице вызвал большое оживление. Почти все корреспонденты захватили с собой в дорогу домашнюю снедь: коржики, рубленые котлеты, батоны и крутые яйца. Эту снедь никто не ел. Корреспонденты предпочитали ходить в ресторан. И не успел Бендер закончить свой туалет, как в купе явился тучный писатель в мягкой детской курточке. Он положил на стол перед Остапом двенадцать яиц и сказал:

— Съешьте. Это яйца. Раз яйца существуют, то должен же кто-нибудь их есть?

Потом писатель выглянул в окно, посмотрел на бородавчатую степь и с горечью молвил:

— Пустыня — это бездарно! Но она существует. И с этим приходится считаться.

Он был философ. Выслушав благодарность Остапа, писатель потряс головой и пошел к себе дописывать рассказ. Будучи человеком пунктуальным, он твердо решил каждый день обязательно писать по рассказу. Это решение он выполнял с прилежностью первого ученика. По-видимому, он вдохновлялся мыс-

лью, что раз бумага существует, то должен же на ней кто-нибудь писать.

Примеру философа последовали другие пассажиры. Навроцкий принес фаршированный перец в банке, Лавуазьян — котлеты с налипшими на них газетными строчками, Сапегин — селедку и коржики, а Днестров — стакан яблочного повидла. Приходили и другие, но Остап прекратил прием.

— Не могу, не могу, друзья мои, — говорил он, — сделай одному одолжение, как уже все наваливаются.

Корреспонденты ему очень понравились. Остап готов был умилиться, но он так наелся, что был не в состоянии предаваться каким бы то ни было чувствам. Он с трудом влез на свой диван и проспал *там* почти весь день.

Шли третьи сутки пути. В ожидании событий литерный поезд томился. До Магистрали было еще далеко, ничего достопримечательного *еще* не случилось, и все же московские корреспонденты, иссушаемые вынужденным *бездельем*, подозрительно косились друг на друга.

«Не узнал ли кто-нибудь чего-нибудь и не послал ли об этом молнию в свою редакцию?»

Наконец Лавуазьян не сдержался и отправил телеграфное сообщение:

«Проехали оренбург тчк трубы паровоза валит дым тчк молнируйте инструкции аральское море лавуазьян».

Тайна вскоре раскрылась, и на следующей же станции у телеграфного окошечка образовалась очередь. Все послали *короткие* сообщения о бодром настроении и о трубе паровоза, из коей валит дым.

Для иностранцев широкое поле деятельности открылось тотчас за Оренбургом, когда они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха в остроконечной меховой шапке и с кнутом в руке. На полустанке, где поезд случайно задержался, по меньшей мере двадцать фотоаппаратов нацелились на верблюжью морду. Началась экзотика, корабли пустыни, вольнолюбивые сыны степей и прочее романтическое тягло.

Американка из старинной семьи вышла из вагона в круглых очках с темными стеклами. От солнечного света ее защищал также зеленый зонтик. В таком виде ее долго снимал ручной кинокамерой «Аймо» седой американец. Сначала она стояла рядом с верблюдом, потом впереди него и, наконец, на нем, уместившись между кочками, о которых так тепло рассказывал проводник. Маленький и злой Гейнрих шнырял в толпе и всем говорил:

— Вы за ней присматривайте, а то она случайно застрянет на станции, и опять будет сенсация в американской прессе: «Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда».

Японский дипломат стоял в двух шагах от казаха. Оба молча смотрели друг на друга. У них были совершенно одинаковые,

чуть сплющенные лица, жесткие усы, желтая лакированная кожа и глаза, припухшие и неширокие. Они сошли бы за близнецов, если бы казах не был в бараньей шубе, подпоясанной ситцевым кушаком, а японец в сером лондонском костюме, и если бы казах не начал читать лишь в прошлом году, а японец не *окончил* двадцать лет назад двух университетов — в Токио и Париже. Дипломат отошел на шаг, нагнул голову к зеркалке и щелкнул затвором. Казах засмеялся, сел на своего шершавого конька *и зарысил* в степь.

Но уже на следующей станции в романтическую повесть вошли новые элементы. За станционным зданием лежали красные цилиндрические бочки — железная тара для горючего, желтело новое деревянное здание, и перед ним, тяжело втиснувшись в землю гусеничными цепями, тянулась тракторная шеренга. На решетчатом штабеле шпал стояла девушка-трактористка в черных рабочих штанах и валенках. Тут советские корреспонденты взяли реванш. Держа фотоаппараты на уровне глаз, они стали подбираться к девушке. Впереди всех крался Меньшов. В зубах он держал алюминиевую кассету и движениями своими напоминал стрелка, делающего перебежку в цепи. Но если верблюд фотографировался с полным сознанием своего права на известность, то трактористка оказалась скромнее. Снимков пять она перенесла спокойно, а потом покраснела и ушла. Фотографы перекинулись на тракторы. Кстати, на горизонте, позади машин, виднелась цепочка верблюдов. Все это — тракторы и верблюды — отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто *кого*».

Остап проснулся перед заходом солнца. Поезд продолжал бежать в пустыне. По коридору *бегал* Лавуазьян, подбивая товарищей на издание специальной поездной газеты. Он даже придумал название — «На всех парах».

— Ну, что это за название! — сказал Остап. — Вот я видел стенгазету одной пожарной команды, называлась она — «Из огня да в полымя». Это было по существу.

— Вы — профессионал пера? — закричал Лавуазьян. — Сознайтесь, что вам просто лень писать для рупора поездной общественности!

Великий комбинатор не отрицал того, что он профессионал пера. В случае надобности он мог бы без запинки объяснить, какой орган печати представляет он в этом поезде — «Черноморскую газету». Впрочем, в этом не было особенной нужды, потому что поезд был специальный и его не посещали сердитые контролеры с никелированными щипцами. Но Лавуазьян уже сидел со своей пишущей *машинкой* в вагоне ударников, где его предложение вызвало суматоху. Уже старик с Трехгорки писал химическим карандашом заметку о необходимости устроить в поезде вечер обмена опытом и литературное чтение, уже иска-

ли карикатуриста и мобилизовали Навроцкого для собирания анкеты о том, какое предприятие из числа представленных делегатами лучше выполнило промфинплан.

Вечером в купе Гаргантюа, Меньшова, Ухудшанского и Бендера собралось множество газетного *народу*. Сидели тесно, по шесть человек на диванчике. Сверху свешивались головы и ноги. Ощутительно свежая ночь остудила журналистов, страдавших весь день от жары, а длинные такты колес, не утихавшие уже три дня, располагали к дружбе. Говорили о Восточной Магистрали, вспоминали своих редакторов и секретарей, рассказывали о смешных газетных ляпсусах и всем скопом журили Ухудшанского за отсутствие в его характере журналистской жилки. Ухудшанский высоко поднимал голову и с превосходством отвечал:

— Треплетесь? Ну, ну.

В разгаре веселья явился господин Гейнрих.

— Позвольте войти наемнику капитала, — бойко сказал он.

Гейнрих устроился на коленях толстого писателя, отчего писатель крякнул и стоически подумал: «Раз у меня есть колени, то должен же кто-нибудь на них сидеть? Вот он и сидит».

— Ну, как строится социализм? — нахально спросил представитель свободомыслящей газеты.

Как-то так случилось, что со всеми поездными иностранцами обращались учтиво, добавляя к *фамилиям*: «мистер», «герр» или «синьор», а корреспондента свободомыслящей газеты называли просто Гейнрих, считали трепачом и не принимали всерьез. Поэтому на прямо поставленный вопрос Паламидов ответил:

— Гейнрих! Напрасно вы хлопочете! Сейчас вы будете опять ругать советскую власть, это скучно и неинтересно. И потом мы это можем услышать от злой старушки из очереди.

— Совсем не то, — сказал Гейнрих, — я хочу рассказать библейскую историю про Адама и Еву. Вы позволите?

— Слушайте, Гейнрих, почему вы так хорошо говорите по-русски? — спросил Сапегин.

— Научился в Одессе, когда в *1918* году с армией генерала фон Бельца оккупировал этот прелестный город. Я состоял тогда в чине лейтенанта. Вы, *наверно*, слышали про фон Бельца?

— Не только слышали, — сказал Паламидов, — но и видели. Ваш фон Бельц лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего Одесским военным округом с простреленной головой. Он застрелился, *когда узнал*, что в вашем отечестве произошла революция.

При слове «революция» господин Гейнрих *невесело* улыбнулся и сказал:

— Генерал был верен присяге.

— А вы почему не застрелились, Гейнрих? — спросили с верхней полки. — Как у вас там вышло с присягой?

— Ну что, будете слушать библейскую историю? — раздраженно сказал представитель свободомыслящей газеты.

Однако его еще некоторое время пытали расспросами насчет присяги и только тогда, когда он совсем уже разобиделся и собрался уходить, согласились слушать историю.

Рассказ господина Гейнриха об Адаме и Еве

— Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его — Адам. И была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти молодые люди отправились однажды погулять в московский рай — в Парк *Культуры* и *Отдыха*. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви. Но ваши Адам и Ева были марксисты и, возможно, говорили о мировой революции. Во всяком случае, вышло так, что, прогуливаясь по бывшему Нескучному саду, они присели на траву под деревом. Не знаю, какое это было дерево. Может быть, это было древо познания добра и зла. Но марксисты, как вам известно, не любят мистики. Им, по всей вероятности, показалось, что это простая рябина. Продолжая беседовать, Ева сорвала с дерева ветку и подарила ее Адаму. Но тут показался человек, которого лишенные воображения молодые марксисты приняли за садового сторожа. А между тем это был, по всей вероятности, ангел с огненным мечом. Ругаясь и ворча, ангел повел Адама и Еву в контору на предмет составления протокола за повреждения, нанесенные садовому хозяйству. Это ничтожное бытовое происшествие отвлекло молодых людей от высокой политики, и Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева заметила, что перед ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через три года у них было уже два сына.

Дойдя до этого места, господин Гейнрих неожиданно *замолчал*, запихивая в рукава мягкие полосатые манжеты.

— Ну, и что же? — спросил Лавуазьян.

— А то, — гордо сказал Гейнрих, — что одного сына зовут Каин, а другого — Авель, и что через известный срок Каин убьет Авеля, Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и вообще вся библейская история начнется сначала, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с тремя сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа. И так далее. Ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно *кипятитесь* насчет новой жизни.

И Гейнрих удовлетворенно откинулся назад, придавив узкой селедочной спиной толстого добродушного писателя.

— Все это было бы прекрасно, — сказал Паламидов, — если было бы подкреплено доказательствами. Но доказать вы ничего

не можете. Вам просто хочется, чтобы было так. Запрещать вам верить в чудо, *на которое вы только и надеетесь,* нет надобности. Верьте, молитесь.

— А у вас есть доказательства, что будет иначе? — воскликнул представитель свободомыслящей газеты.

— Есть, — ответил Паламидов, — одно из них вы увидите послезавтра, на смычке Восточной Магистрали.

— Ну-у, начинается, — заворчал Гейнрих. — Строительство! Заводы! Пятилетка! Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух! Все повторится! Будет и тридцатилетняя война, и столетняя война, и опять будут сжигать людей, которые посмеют сказать, что земля круглая. И опять обманут бедного *Якова,* заставив его работать семь лет бесплатно и подсунув ему некрасивую близорукую жену Лию взамен полногрудой *Ребекки.* Все, все повторится! И *Вечный жид* по-прежнему будет скитаться по земле...

— Вечный *жид* никогда больше не будет скитаться! — сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором.

— И на это вы тоже можете представить доказательства в течение двух дней? — возопил Гейнрих.

— Хоть сейчас, — любезно ответил Остап. — Если общество позволит, я расскажу о том, что произошло с так называемым вечным жидом.

Общество охотно позволило. Все приготовились слушать рассказ нового пассажира, а Ухудшанский даже промолвил: «Рассказываете? Ну, ну».

И великий комбинатор начал.

Рассказ Остапа Бендера о Вечном жиде

— Не буду напоминать вам длинной и скучной истории Вечного еврея. Скажу только, что около двух тысяч лет этот пошлый старик шатался по всему миру, не прописываясь в гостиницах и надоедая гражданам своими жалобами на высокие железнодорожные тарифы, из-за которых ему приходилось ходить пешком. Его видели множество раз. Он присутствовал на историческом заседании, где Колумбу так и не удалось отчитаться в авансовых суммах, взятых на открытие Америки. Еще совсем молодым человеком он видел пожар Рима. Лет полтораста *прожил* в Индии, необыкновенно *поражая* йогов своей живучестью и сварливым характером. Одним словом, старик мог бы порассказать много интересного, если бы к концу каждого столетия писал мемуары. Но Вечный *жид* был неграмотен и к тому же имел дырявую память.

Не так давно старик проживал в прекрасном городе Рио-де-Жанейро, пил прохладительные напитки, глядел на океанские

пароходы и разгуливал под пальмами в белых штанах — штаны эти он купил по случаю восемьсот лет назад, в Палестине, у какого-то рыцаря, *отвоевывающего* гроб господень, и они были еще совсем как новые. И вдруг старик забеспокоился. Захотелось ему в Россию, на Днепр. Он бывал везде: и на Рейне, и на Ганге, и на Миссисипи, и на Ян-Цзы, и на Нигере, и на Волге. И не был он только на Днепре. Захотелось ему, видите ли, бросить взгляд *и* на эту широкую реку.

Аккурат в *1919* году Вечный *жид* в своих рыцарских брюках нелегально перешел румынскую границу. Стоит ли говорить о том, что на животе у него *хранились* восемь пар шелковых чулок и флакон парижских духов, которые одна кишиневская дама просила передать киевским родственникам. В то бурное время ношение контрабанды на животе называлось: «носить в припарку». Этому делу старика живо обучили в Кишиневе. Когда Вечный *жид*, выполнив поручение, стоял на берегу Днепра, свесив неопрятную зеленую бороду, к нему подошел человек с желто-голубыми лампасами и петлюровскими погонами и строго спросил:

— Жид?

— Жид, — ответил старик.

— Ну, пойдем, — пригласил человек с лампасами.

И повел его к куренному атаману.

— Жида поймали, — доложил он, подталкивая старика коленом.

— Жид? — спросил атаман с веселым удивлением.

— Жид, — ответил скиталец.

— А вот поставьте его к стенке, — ласково сказал куренной.

— Но ведь я же Вечный! — закричал старик.

Две тысячи лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить.

— Молчи, жидовская морда! — радостно закричал чубатый атаман. — Рубай его, хлопцы-молодцы!

И *вечного* странника не стало.

— Вот и все, — заключил Остап.

— Думаю, что вам, господин Гейнрих, как бывшему лейтенанту австрийской армии известны повадки ваших друзей-петлюровцев? — сказал Паламидов.

Гейнрих ничего не ответил и сейчас же ушел. Сначала все думали, что он обиделся, но уже на другой день выяснилось, что из советского вагона корреспондент свободомыслящей газеты направился к мистеру Хираму Бурману, которому и продал историю о Вечном *жиде* за сорок долларов. И Хирам на первой же станции передал рассказ Остапа Бендера по телеграфу в свою газету.

Глава двадцать восьмая

Потный вал вдохновенья

На утро четвертого дня пути поезд взял на восток. *Пустыня окончилась.*

Мимо снеговых цепей — *гималайских* отрогов — с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения (мостики, трубы для пропуска весенних вод и др.), а также бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд проскочил городок под тополями и долго вертелся у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подскакивал к горе то справа, то слева, поворачивал назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил — и выскочил, наконец, на волю. Исправно поработав колесами, поезд молодецки осадил на последней станции перед началом Восточной Магистрали.

В клубах удивительного солнечного света, на фоне алюминиевых гор, стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок станционных рабочих новой железной дороге.

В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую, величиною с кошку, модель паровоза, или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб. Такое мучительное превращение

маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения.

Но паровоз ОВ, ударно выпущенный из капитального ремонта, был совершенно нормальной величины, и по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера. Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и «овечка», как принято называть в полосе отчуждения паровозы серии ОВ, неся на своем передке плакат «Даешь смычку», покатил к южному истоку Магистрали — станции Горной.

Ровно два года назад здесь лег на землю первый черно-синий рельс, выпущенный *Надеждинским* заводом. С тех пор из прокатных станов завода беспрерывно вылетали огненные полосы рельсов. Магистраль требовала их все больше и больше. Укладочные городки, шедшие навстречу друг другу, в довершение всего устроили соревнование и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго.

Вечер на станции Горной, *освещенный* розовыми и зелеными ракетами, был настолько хорош, что старожилы, если бы *здесь* имелись, конечно, *утверждали* бы, что такого вечера они не запомнят. К *счастию*, в Горной старожилов не было. Еще в 1928 году здесь не было не только что старожилов, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился литерный поезд.

Пока под керосино-калильными фонарями шел митинг и все население столпилось у трибуны, фоторепортер Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу подходящей, она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, стоявший шагах в двадцати от нее, получился бы слишком маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленькой вышла бы арка. В таких случаях Магомет обычно шел к горе, прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил подать поезд под арку таким же легким тоном, каким просят в трамвае немножко подвинуться. Кроме того, он настаивал, чтобы из трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянулся к арке, из трубы пова-

лил требуемый пар, и машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки. Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе.

Поздно ночью литерный поезд шел уже по Восточной Магистрали. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, ни к кому не обращаясь, скорбно сказал:

— Странный случай! Оказывается, эту проклятую арку я снимал на пустую кассету! Так что ничего не вышло.

— Не беда, — с участием ответил ему Лавуазьян, — пустое дело. Попросите машиниста, и он живо даст *задний*. Всего лишь через три часа вы снова будете в Горной и повторите свой снимок. А смычку можно будет отложить на день.

— Черта с два теперь снимешь! — печально молвил фоторепортер. — У меня вышел весь магний, а то, конечно, пришлось бы вернуться.

Путешествие по Восточной *магистрали* доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к *северному* укладочному городку, где находился Корейко. Нравились Остапу и литерные пассажиры. Это были люди молодые, веселые, без бюрократической сумасшедшинки, так отличавшей его геркулесовских знакомых. Для полноты счастья не хватало денег. Подаренную провизию он съел, а для *вагона*-ресторана требовались наличные. Сперва Остап, когда новые друзья тащили его обедать, отговаривался отсутствием аппетита, но вскоре понял, что так жить нельзя. Некоторое время он присматривался к Ухудшанскому, который весь день проводил у окна в коридоре, глядя на телеграфные столбы и на птичек, слетавших с проволоки. При этом легкая сатирическая улыбка трогала губы Ухудшанского, *он* закидывал голову *назад* и шептал птицам: «Порхаете? Ну, ну». Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей Ухудшанского «Улучшить работу лавочных комиссий». После этого Бендер еще *раз* оглядел диковинного журналиста с ног до головы, нехорошо улыбнулся и, почувствовав знакомое волнение стрелка-охотника, заперся в купе.

Оттуда он вышел только через три часа, держа в руках большой, разграфленный, как ведомость, лист бумаги.

— Пишете? — вяло спросил Ухудшанский.

— Специально для вас, — ответил великий комбинатор. — Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш со-

брат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я, *мой милый пастушок,* изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас *охватит* потный вал *вдохновения*. Вот. Извольте посмотреть.

И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано:

Торжественный комплект

Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей

Раздел I. Словарь

Существительные

1. Клики
2. Трудящиеся
3. Заря
4. Жизнь
5. Маяк
6. Ошибки
7. Стяг (флаг)
8. Ваал
9. Молох
10. Прислужник
11. Час
12. Враг
13. Поступь
14. Вал
15. Пески
16. Скок
17. Конь
18. Сердце
19. Прошлое

Прилагательные

1. Империалистический
2. Капиталистический
3. Исторический
4. Последний
5. Индустриальный
6. Стальной
7. Железный

Глаголы

1. Пылать
2. Взметать(ся)
3. Выявлять
4. Рдеть
5. Взвивать(ся)
6. Вершить(ся)
7. Петь
8. Клеветать
9. Скрежетать
10. Грозить

Художеств. эпитеты

1. Злобный
2. Зубовный

Прочие части речи

1. Девятый
2. Двенадцатый
3. Пусть!
4. Пускай!
5. Вперед!

[Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки, кавычки и т.п.]

Примеч. Запятые *ставить* перед «что», «который» и «если». *Точку с запятой — перед «но».* Многоточия, восклиц. знаки и кавычки — где только возможно.

Раздел II. Творческая часть
(Пользоваться материалами раздела *I^го^*)

§ 1. Передовая статья
Девятый вал

Восточная *магистраль, этот* железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клевещущего врага, на которого уже взметается девятый вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для прислужников империалистического Молоха, этого капиталистического Ваала; но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка инду-

стриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни; вперед!

§ 2. Художеств. очерк-фельетон

Пусть!..

— Вперед!..

Он пылает под клики трудящихся...

Он *вызывает* зарю новой жизни...

— Маяк!

Индустриализации!

Пусть отдельные ошибки. Пусть. Но зато как рдеют... как несутся... как взвиваются... эти стяги!.. Эти флаги!..

Пусть — Ваал капитализма! Пусть — Молох империализма! Пусть!

Но на прислужников уже взметается:

— Последний вал!

— Девятый час!

— Двенадцатый Ваал!

Пусть клевещут. Пусть скрежещут. Пусть выявляется злобный зубовный враг!

Вершится историческая поступь. Пески прошлого взметаются скоком стали.

Это — «железный конь»!..

Это:

— Восточная

— Магистраль!

«Поют сердца»...

§ 3. Художеств. Стихотворение

А) Тринадцатый вал

Поют сердца под грохот дней,
Дрожит зарей маяк.
Пускай индустрии огней
Трепещет злобный враг.

Железный конь несет вперед
Исторьи скок взметать,
Семью трудящихся несет
Ошибки выявлять.

Взвивается последний час,
Зардел девятый вал,
Двенадцатый вершится час
тебе, Молох-Ваал!

Б) Восточный вариант

Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак.

Азиатский орнамент

1. Урюк (абрикосы)
2. Арык (канал)
3. Ишак (осел)
4. Плов (пища)
5. Бай (нехороший человек)
6. Басмач (нехороший человек)
7. Шакал (животное)
8. Кишлак (деревня)
9. Пиала (чашка)
10. Медресе (духовное училище)
11. Ичиги (обувь)
12. Шайтан (черт)
13. Арба (телега)
14. *Шайтан-Арба* (Средне-Азиатск. ж.д.)
15. *Твоя-моя* не понимай (выражение)
16. Мала-мала

Добавление

При помощи материалов *Раздела I^го^* по методам *Раздела II^го^* сочиняются также: романы, повести, поэмы в прозе, рассказы, бытовые зарисовки, художеств. репортаж, хроника, эпопеи, *пиесы, политобозрения*, игра в политфанты, радиооратории и т.д.

Когда Ухудшанский ознакомился с содержанием документа, глаза его, доселе мутные, оживились. Ему, пробавлявшемуся до сих пор отчетами о заседаниях, *открылись внезапно сверкающие* стилистические высоты.

— И за все — двадцать пять тугриков, двадцать пять монгольских рублей, — нетерпеливо сказал великий комбинатор, томимый голодом.

— У меня нет монгольских, — молвил сотрудник профоргана, не выпуская из рук «Торжественного комплекта».

Остап согласился взять обыкновенными рублями, пригласил Гаргантюа, которого называл уже «кум и благодетель», и вместе с ним отправился в вагон-ресторан. Ему принесли *графин*

водки, блиставший льдом и ртутью, салат и большую, тяжелую, как подкова, котлету. После водки, которая произвела в его голове легкое кружение, великий комбинатор таинственно сообщил куму и благодетелю, что в *северном* укладочном городке он надеется разыскать человека, который должен ему небольшую сумму. Тогда он созовет всех корреспондентов на пир. На это Гаргантюа ответил длинной убедительной речью, в которой, по обыкновению, нельзя было разобрать ни слова. Остап подозвал буфетчика, расспросил, везет ли тот шампанское, и сколько бутылок везет, и что еще имеется из деликатесов, и в каких количествах имеется, и что все эти сведения нужны *ему* потому, что дня через два он намерен дать банкет своим собратьям по перу. Буфетчик заявил, что сделано будет все, что возможно.

— Согласно законов гостеприимства, — добавил он почему-то.

По мере приближения к месту смычки кочевников становилось все больше. Они спускались с холмов наперерез поезду, в шапках, похожих на китайские пагоды. Литерный, грохоча, с головой уходил в скалистые порфировые выемки, прошел новый трехпролетный мост, последняя ферма которого была надвинута только вчера, и принялся осиливать знаменитый Хрустальный перевал. Знаменитым сделали его *строители*, выполнившие все подрывные и укладочные работы в три месяца вместо восьми, намеченных по плану.

Поезд постепенно обрастал бытом. Иностранцы, выехавшие из Москвы в твердых, словно бы сделанных из аптекарского фаянса воротничках, в тяжелых шелковых галстуках и суконных костюмах, стали распоясываться. Одолевала жара. Первым изменил форму одежды один из американцев. Стыдливо посмеиваясь, он вышел из своего вагона в странном наряде. На нем были желтые толстые башмаки, чулки и брюки-гольф, роговые очки и русская косоворотка хлебозаготовительного образца, вышитая крестиками. И чем жарче становилось, тем меньше иностранцев *оставались* верными идее европейского костюма. Косоворотки, апашки, гейши, сорочки-фантази, толстовки, лжетолстовки и полутолстовки, одесские сандалии и тапочки полностью преобразили работников прессы капиталистического мира. Они приобрели разительное сходство *с* старинными советскими служащими, и их мучительно хотелось чистить, выпытывать, что они делали до 1917 года, не бюрократы ли они, не головотяпы ли и благополучны ли по родственникам.

Прилежная «овечка», увешанная флагами и гирляндами, поздней ночью втянула литерный поезд на станцию Гремящий Ключ, место смычки. Кинооператоры жгли римские свечи.

При их резком белом свете стоял начальник строительства, взволнованно глядя на поезд. В вагонах не было огней. Все спали. И только правительственный салон светился большими квадратными окнами. Дверь его быстро открылась, и на низкую землю спрыгнул член правительства.

Начальник Магистрали сделал шаг вперед, взял под козырек и произнес рапорт, которого ждала вся страна. Восточная Магистраль, соединившая прямым путем Сибирь и Среднюю Азию, была закончена на год раньше срока.

Когда формальность была выполнена, рапорт отдан и принят, два немолодых и несентиментальных человека поцеловались.

Все корреспонденты, и советские, и иностранные, и Лавуазьян, в нетерпении пославший телеграмму о дыме, шедшем из паровозной трубы, и канадская девушка, сломя голову примчавшаяся из-за океана, — все спали. Один только Паламидов метался по свежей насыпи, разыскивая телеграф. Он рассчитал, что если молнию послать немедленно, то она появится еще в утреннем номере. И в черной пустыне он нашел наспех сколоченную избушку телеграфа.

«Блеске звезд, — писал он, сердясь на карандаш, — отдан рапорт окончании магистрали тчк присутствовал историческом поцелуе начальника магистрали членом правительства паламидов».

Первую часть телеграммы редакция поместила, а поцелуй выкинула. Редактор сказал, что члену правительства неприлично целоваться *и что Паламидов, вероятно, соврал.*

Глава двадцать девятая

Гремящий Ключ

Солнце встало над холмистой пустыней в 5 часов 02 минуты 46 секунд. Остап поднялся на минуту позже. Фоторепортер Меньшов уже обвешивал себя сумками и ремнями. Кепку он надел задом наперед, чтобы козырек не мешал смотреть в видоискатель. Фотографу предстоял большой день. Остап тоже надеялся на большой день и, даже не умывшись, выпрыгнул из вагона. Желтую папку он захватил с собой.

Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне, сипели паровозы, и белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге: «Магистраль — первое детище пятилетки».

Еще все спали и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда Остап увидел, что чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки. Тысячи всадников, сидя в деревянных седлах и понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся в той самой точке, которая была принята два года назад как место будущей смычки.

Кочевники ехали целыми аулами. Отцы семейств двигались верхом, верхами, по-мужски, ехали жены, ребята по трое *рыси-*

ли на собственных лошадках, и даже злые тещи и те посылали вперед своих верных коней, ударяя их каблуками под живот. Конные группы вертелись в пыли, носились по полю с красными знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса. Чудес было много — поезда, рельсы, молодцеватые фигуры кинооператоров, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте, и радиорепродукторы, из которых несся свежий голос «раз, два, три, четыре, пять, шесть», проверялась готовность радиоустановки. Два укладочных городка, два строительных предприятия на колесах, с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих, стояли друг против друга, перед трибуной, отделенные только двадцатью метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове *южного* городка висел плакат: «Даешь Север!», в голове *северного* — «Даешь Юг!».

Рабочие обоих городков смешались в одну кучу. Они увиделись впервые, хотя знали и помнили друг о друге с самого начала постройки, когда их разделяли полторы тысячи километров пустыни, скал, озер и рек. Соревнование в работе ускорило свидание на год. Последний месяц рельсы укладывали бегом. И Север и Юг стремились опередить друг друга и первыми войти в Гремящий Ключ. Победил Север. Теперь начальники обоих городков, один в графитной толстовке, а другой в белой косоворотке, мирно беседовали у стрелы, причем на лице начальника Севера против воли время от времени появлялась змеиная улыбка. Он спешил ее согнать и хвалил Юг, но улыбка снова подымала его выцветшие на солнце усы.

Остап побежал к вагонам северного городка, но городок был пуст. Все его жители ушли к трибуне, перед которой уже сидели музыканты. Обжигая губы о горячие металлические мундштуки, они играли увертюру. Советские журналисты заняли левое крыло трибуны. Лавуазьян, свесившись вниз, умолял Меньшова заснять его при исполнении служебных обязанностей. Но Меньшову было не до того. Он снимал ударников Магистрали группами и в одиночку, заставляя костыльщиков размахивать молотами, а грабарей — опираться на лопаты. На правом крыле сидели иностранцы. Кроме литерных корреспондентов были там еще китайский, афганский и персидский консулы. У входов на трибуну красноармейцы проверяли пригласительные билеты. У Остапа билета не было. Комендант поезда выдавал их по списку, где представитель «Черноморской газеты» О. Бендер не значился. Напрасно Гаргантюа манил великого комбинатора наверх, крича: «Ведь верно? Ведь правильно?». Остап отрицательно мотал головой, водя глазами по трибуне, на которой тесно уместились герои и гости.

В первом ряду спокойно сидел табельщик Северного укладочного городка Александр Корейко. Для защиты от солнца голова его была прикрыта газетной треуголкой. Он чуть выдвинул ухо, чтобы получше слышать первого оратора, который уже пробирался к микрофону.

— Александр Иванович! — крикнул Остап, сложив руки трубой.

Корейко посмотрел вниз и поднялся. Музыканты заиграли «Интернационал», но богатый табельщик выслушал гимн невнимательно. Вздорная фигура великого комбинатора, *бегавшего* по площадке, очищенной для последних рельсов, сразу же лишила его душевного спокойствия. Он посмотрел через голову толпы, соображая, куда бы убежать. Но вокруг была пустыня.

Пятнадцать тысяч всадников непрестанно *рысили* взад и вперед, десятки раз переходили вброд холодную речку и только к началу митинга расположились в конном *строю* позади трибуны. А некоторые, застенчивые и гордые, так и промаячили весь день на вершинах холмов, не решаясь подъехать ближе к гудящему и ревущему митингу.

Строители Магистрали праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев и героев. На полотно со звоном полетели рельсы. В минуту они были уложены, и рабочие-укладчики, забившие миллионы костылей, уступили право на последние удары своим руководителям.

— Согласно законов гостеприимства, — сказал буфетчик, сидя с поварами на крыше вагона-ресторана.

Инженер-краснознаменец сдвинул на затылок большую фетровую шляпу, схватил молот с длинной ручкой и, сделав плачущее лицо, ударил прямо по земле. Дружелюбный смех костыльщиков, среди которых были силачи, *забивавшие* костыль одним ударом, сопутствовал этой операции. Однако мягкие удары о землю *вскоре* стали перемежаться звоном, свидетельствовавшим, что молот иногда приходит в соприкосновение с костылем. Размахивали молотами секретарь крайкома, члены правительства, начальники Севера и Юга и гости-*ударники*. Самый последний костыль в каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу начальник строительства.

Начались речи. Они произносились по два раза — на казахском и русском языках.

— Товарищи, — медленно сказал костыльщик-ударник, стараясь не смотреть на орден Красного Знамени, только что приколотый к его рубашке, — что сделано, то сделано, и говорить тут много не надо. А от всего нашего укладочного коллектива просьба правительству немедленно отправить нас на новую

стройку. Мы хорошо сработались вместе и последние месяцы укладывали по пяти километров рельсов в день. Обязуемся эту норму удержать и повысить. И да здравствует наша мировая революция! Я еще хотел сказать, товарищи, что шпалы поступали с большим браком, приходилось отбрасывать. Это дело надо поставить на высоту!

Корреспонденты уже не могли пожаловаться на отсутствие событий. Записывались речи. Инженеров хватали за талию и требовали от них сведений с точными цифровыми данными. Стало жарко, пыльно и деловито. Митинг в пустыне задымился, как огромный костер. Лавуазьян, нацарапав десять строчек, бежал на телеграф, отправлял молнию и снова принимался записывать. Ухудшанский ничего не записывал и телеграмм не посылал. В кармане у него лежал «Торжественный комплект», который давал возможность в пять минут составить прекрасную корреспонденцию с азиатским орнаментом. Будущее Ухудшанского было обеспечено. И поэтому он с более высокой, чем обычно, сатирической нотой в голосе говорил собратьям:

— Стараетесь? Ну, ну.

Неожиданно в ложе советских журналистов появились отставшие в Москве Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. Их взял с собой самолет, прилетевший на смычку рано утром. Он опустился в десяти километрах от Гремящего Ключа, за далеким холмом, на естественном аэродроме, и братья-корреспонденты только сейчас добрались оттуда пешим порядком. Еле поздоровавшись, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин выхватили из карманов блокноты и принялись наверстывать упущенное время.

Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей и солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз, за холодную речку, на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших банкетных столах, уставленных мисочками и зелеными нарзанными бутылками. Рядом расположились киоски, куда по временам бегали пить участники митинга. Корейко мучился от жажды, но крепился под своей детской треуголкой. Великий комбинатор издали дразнил его, подымая над головой бутылку лимонада и желтую папку с ботиночными тесемками.

На стол, рядом с графином и микрофоном, поставили девочку-пионерку.

— Ну, девочка, — весело сказал начальник строительства, — скажи нам, что ты думаешь о Восточной Магистрали?

Не удивительно было бы, если б девочка внезапно топнула ножкой и начала: «Товарищи! Позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои...» — и так далее, потому что встречаются у нас примерные дети, которые с печальной старательнос-

тью произносят двухчасовые речи. Однако пионерка *из* Гремящего Ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала:

— Да здравствует пятилетка!

Паламидов подошел к иностранному профессору-экономисту, желая получить у него интервью.

— Я восхищен, — сказал профессор, — все строительство, которое я видел в СССР, — грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать.

Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на двухстах страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран.

А на двухсот первой странице профессор заявил, что именно по этой причине *страну* Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу. Профессор оказался *человеком более деловым*, чем болтливый Гейнрих.

Из-за холма поднялся белый самолет. Во все стороны врассыпную кинулись казахи: Большая тень самолета бросилась через трибуну и, выгибаясь, побежала в пустыню. Казахи, крича и поднимая кнуты, погнались за тенью. Кинооператоры встревоженно завертели свои машинки. Стало еще более суматошно и пыльно. Митинг окончился.

— Вот что, товарищи, — говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую, — давайте условимся — пошлых вещей не писать.

— Пошлость отвратительна! — поддержал Лавуазьян. — Она ужасна!

И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об Узун-Кулаке, что значит Длинное *ухо*, что в свою очередь значит — *Степной* телеграф. Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно читать. Не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлостей в восточном вкусе!

На опустевшей трибуне, среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка, сидел один только Корейко. Он никак не решался сойти вниз.

— Сойдите, Александр Иванович! — кричал Остап. — Пожалейте себя! Глоток холодного нарзана! А? Не хотите? Ну, хоть меня пожалейте! Я хочу есть! Ведь я все равно не уйду! Может быть, вы хотите, *чтобы* я спел вам серенаду Шуберта «Легкою *стопою* ты приди, друг мой»? Я могу!

Но Корейко не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что деньги придется отдать. Пригнувшись и останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз.

— На вас треугольная шляпа? — резвился Остап. — А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте! Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лейхтвейса, где вы храните свои тугрики!

— Сперва обедать, — сказал Корейко, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль.

— Можно и пообедать. Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы, — соврал Остап на всякий случай.

И, вспомнив о молодцах, он погрустнел.

Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на *востоке* все, а на *западе* только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, *запивая* его лимонадом. Европейцы засели за столы.

Много трудов, забот и волнений перенесли строители Магистрали за два года работы. *Но* немало беспокойства причинила им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждалось меню, азиатское и европейское. *Вызывал* продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные Штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в *спор*. Наконец ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство — иностранцы, дипломаты, москвичи! Как их накормить поизящнее? Все-таки они у себя там, в Лондонах и Нью-Йорках, привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве, у известного Мартьяныча, и теперь доживал свои дни заведующим нарпитовской столовой у Куриного базара.

— Так вы смотрите, Иван Осипович, — говорили ему в управлении, — не подкачайте. Иностранцы будут. Нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонистее.

— Верьте слову, — бормотал старик со слезами на глазах, — каких людей кормил! Принца Вюртембергского кормил! *Шаляпина, Федора Ивановича! Самого Чехова кормил, Антона Павловича! Я уж не подведу!* Мне и денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Покормлю вот — и умру!

Иван Осипович страшно разволновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел. *Но* оставить Европу без обеда *он* не решился. Представленную им смету сильно урезали, и старик, шепча себе под нос: «Накормлю — и умру», добавил шестьдесят рублей из своих сбережений.

В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал:

— Отойди, Мамай, не видишь, что делается! Ах, господи! Соус пикан перестоится. А консоме с пашотом не готово!

На столе уже стояла закуска. Все было сервировано чрезвычайно красиво и с большим умением. Торчком стояли твердые салфетки, на стеклянных тарелочках, во льду, лежало масло, скрученное в бутоны, селедки держали во рту серсо из лука или маслины, были цветы, и даже обыкновенный серый хлеб выглядел весьма презентабельно.

Наконец гости явились за стол. Все были запылены, красны от жары и очень голодны. Никто не походил на принца Вюртембергского. Иван Осипович вдруг почувствовал приближение беды.

— Попрошу у гостей извинения, — сказал он искательно, — еще пять минуточек — и начнем обедать. Личная у меня к вам просьба — не трогайте ничего на столе до обеда, чтоб все было как полагается.

На минуту он убежал в кухню, светски пританцовывая, а когда вернулся назад, неся на блюде какую-то парадную рыбу, то увидел страшную сцену разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом, а Гейнрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта. На столе все смешалось. Гости, удовлетворявшие первый голод, весело обменивались впечатлениями.

— Это что же? — спросил старик упавшим голосом.

— Где же суп, папаша? — закричал Гейнрих с набитым ртом.

Иван Осипович ничего не ответил. Он только махнул салфеткой и пошел прочь. Дальнейшие заботы он бросил на своих подчиненных.

Когда комбинаторы пробились к столу, толстый человек с висячим, как банан, носом произносил первую застольную речь. К *крайнему своему* удивлению, Остап узнал в нем инженера Талмудовского.

— Да! Мы герои! — восклицал Талмудовский, протягивая вперед стакан с нарзаном. — Привет нам, строителям Магистрали! Но каковы условия нашей работы, граждане! Скажу, например, про оклад *жалования*. Не спорю, на Магистрали оклад лучше, чем в других местах, но вот культурные удобства! Театра нет! Пустыня! Канализации никакой!.. Нет, я так работать не могу!

— Кто это такой? — спрашивали *друг друга* строители. — Вы не знаете?

Между тем Талмудовский уже вытащил из-под стола *свои* чемоданы.

— Плевал я на договор! — кричал он, направляясь к выходу. — Что? Подъемные назад? Только судом, только судом!

И даже толкая обедающих чемоданами, он вместо «пардон» свирепо кричал: «Только судом!»

Поздно ночью он уже катил в моторной дрезине, присоединившись к дорожным мастерам, ехавшим по делу к южному истоку *магистрали*. Талмудовский сидел верхом на чемоданах и разъяснял мастерам причины, по которым честный специалист не может работать в этой дыре. С ними *ехал* метрдотель Иван Осипович. В горе он не успел даже снять *фрака*. Он был сильно пьян.

— Варвары! — кричал он, высовываясь на бреющий ветер и грозя кулаком в сторону Гремящего Ключа. — Всю сервировку к свиньям собачьим!.. *Антон* Павловича кормил, принца Вюртембергского!.. Приеду домой и умру! Вспомнят тогда *Иван* Осиповича. Сервируй, скажут, банкетный стол на восемьдесят четыре персоны, к свиньям собачьим. А ведь некому будет. Нет *Иван* Осиповича Трикартова. Скончался. Отбыл в лучший мир, иде же несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная... *Ве-е-э-чная па-а-мять*!..

И покуда старик отпевал самого себя, хвосты его фрака трещали на ветру, как вымпелы.

Остап, не дав *Корейке* доесть компота, поднял его из-за стола и потащил рассчитываться. По приставной лестничке комбинаторы взобрались в товарный вагон, где помещалась канцелярия Северной укладки и стояла складная полотняная кровать табельщика. Здесь они заперлись.

После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набираясь сил для участия в вечернем *гулянии*, фельетонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение:

«Срочная москва степной телеграф тире узун-кулак квч длинное ухо зпт разнес аулам весть состоявшейся смычке магистрали рубашкин».

Вторая *бумага* была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось:

«Легенда озера Иссык-Куль»

Старый кара-калпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. Двести тысяч четыреста восемьде-

сят пять лун тому назад молодая, быстроногая, как *джайран* (горный баран), жена хана — красавица *Сунбурун* горячо полюбила молодого нукера Ай-Булака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик двенадцать лун возносил молитвы, а потом, со слезами на глазах, запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в семь *джасасым* (18 кило), бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя — Иссык-Куль, что значит «Сердце красавицы склонно к измене».

Ян Скамейкин-Сарматский (Поршень).

— Ведь верно? — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. — Ведь правильно?

— Конечно, возмутительно! — отвечал Паламидов. — Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено! По-вашему, Иссык-Куль переводится как «Сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой ли! Не наврал ли вам липовый кара-калпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом: «Не бросайте молодых красавиц в *озера*, а бросайте в *озера* легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики»?

Писатель в детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и Узун-Кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом.

— А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз Узун-Кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать?

— Но ведь уже тысячу раз писали! — сказал Лавуазьян.

— Узун-Кулак существует, — вздохнул писатель, — и с этим приходится считаться.

Глава *тридцатая*

Александр-ибн-Иванович

В нагретом и темном товарном вагоне воздух был плотный и устойчивый, как в старом ботинке. Пахло кожей и ногами. Корейко зажег кондукторский фонарь и полез под кровать. Остап задумчиво смотрел на него, сидя на пустом ящике из-под макарон. Оба комбинатора были утомлены борьбой и отнеслись к событию, которого Корейко чрезвычайно опасался, а Бендер ждал всю жизнь, с каким-то казенным спокойствием. Могло бы показаться даже, что дело происходит в кооперативном магазине, покупатель спрашивает головной убор, а продавец лениво выбрасывает на прилавок лохматую кепку булыжного цвета. Ему все равно — возьмет покупатель кепку или не возьмет. Да и сам покупатель не очень-то горячится, спрашивая только для успокоения совести: «А может, другие есть?», — на что обычно следует ответ: «Берите, берите, а то и этого не будет». И оба смотрят друг на друга с полнейшим равнодушием. Корейко долго возился под кроватью, как видно, отстегивая крышку чемодана и копаясь в нем наугад.

— Эй, там, на шхуне! — устало крикнул Остап. — Какое счастье, что вы не курите. Просить папиросу у такого скряги, как вы, было бы просто мучительно. Вы никогда не протянули бы портсигар, боясь, что у вас вместо одной папиросы заберут не-

сколько, а долго копались бы в кармане, с трудом приоткрывая коробку и вытаскивая оттуда жалкую, согнутую папиросу. Вы нехороший человек. Ну что вам стоит вытащить весь чемодан!

— Еще чего! — буркнул Корейко, задыхаясь под кроватью.

Сравнение со скрягой-курильщиком было ему неприятно. Как раз в эту минуту он вытягивал из чемодана толстенькие пачки. Никелированный язычок замка царапал его оголенные до локтя руки. Для удобства он лег на спину и продолжал работать, как шахтер в забое. Из тюфяка в глаза миллионера сыпалась полова и прочая соломенная дрянь, *какие-то хлебные усики и порошок.*

«Ах, как плохо, — думал Александр Иванович, — плохо и страшно. Вдруг он сейчас меня задушит и заберет все деньги. Очень просто. Разрежет на части и отправит малой скоростью в разные города. А голову заквасит в бочке с капустой».

Корейко прошибло погребной сыростью. В страхе он выглянул из-под кровати. Бендер дремал на своем ящике, клоня голову к железнодорожному фонарю.

«А может, его... малой скоростью, — подумал Александр Иванович, продолжая вытягивать пачки и ужасаясь, — в разные города. *И ни одна собака.* Строго конфиденциально. А?»

Он снова выглянул. Великий комбинатор вытянулся и отчаянно, как дог, зевнул. Потом он взял кондукторский фонарь и принялся им размахивать, выкликая:

— Станция Хацепетовка! Выходите, гражданин! Приехали! Кстати, совсем забыл вам сказать, может быть, вы собираетесь меня зарезать? Так знайте — я против. И потом меня уже один раз убивали. Был такой взбалмошный старик, из хорошей семьи, бывший предводитель дворянства, он же регистратор ЗАГСа, Киса Воробьянинов. Мы с ним на паях искали счастья на сумму в сто пятьдесят тысяч рублей. И вот перед самым размежеванием добытой суммы глупый предводитель полоснул меня бритвой по шее. Ах, как это было пошло, Корейко! Пошло и больно. Хирурги еле-еле спасли мою молодую жизнь, за что я им глубоко признателен.

Наконец Корейко вылез из-под кровати, пододвинув к ногам Остапа пачки с деньгами. Каждая пачка была аккуратно заклеена в белую бумагу и перевязана шпагатом.

— Девяносто девять пачек, — сказал Корейко грустно, — по десять тысяч в каждой. Бумажками по 25 червонцев. Можете не проверять, у меня как в банке.

— А где же сотая пачка? — спросил Остап с энтузиазмом.

— Десять тысяч я вычел в счет ограбления на морском берегу.

— Ну, это уже свинство. Деньги истрачены на вас же. Не занимайтесь формалистикой.

Корейко, вздыхая, выдал недостающие деньги, взамен чего получил свое жизнеописание в желтой папке с ботиночными тесемками. Жизнеописание он тут же сжег в железной печке, труба которой выходила сквозь крышу вагона. Остап в это время взял на выдержку одну из пачек, сорвал обертку и, убедившись, что Корейко не обманул, сунул ее в карман.

— Где же валюта? — придирчиво спросил великий комбинатор. — Где мексиканские доллары, турецкие лиры, где фунты, рупии, пезеты, центавосы, румынские леи, где лимитрофные латы и злотые? Дайте хоть часть валютой.

— Берите, берите что есть, — отвечал Корейко, сидя *на корточках* перед печкой и глядя на корчащиеся в огне документы, — берите, а то и этого скоро не будет. Валюты не держу.

— Вот я и миллионер! — воскликнул Остап с веселым удивлением. — Сбылись мечты идиота!

Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. И хотя он знал, что никаких таинственных пещер, бочонков с золотом и лампочек Аладдина в наше суровое время не полагается, все же ему стало чего-то жалко. Стало ему немного скучно, как Роальду Амундсену, когда он, проносясь в дирижабле «Норге» над Северным полюсом, к которому пробирался всю жизнь, без воодушевления сказал своим спутникам: «*Вот* мы и прилетели». Внизу был битый лед, трещины, холод, пустота. Тайна раскрыта, цель достигнута, делать больше нечего, и надо менять профессию. Но печаль минутна, потому что впереди слава, почет и уважение — звучат хоры, стоят шпалерами гимназистки в белых пелеринах, плачут старушки — матери полярных исследователей, съеденных товарищами по экспедиции, исполняются национальные гимны, стреляют ракеты, и старый король прижимает исследователя к своим колючим орденам и звездам.

Минутная слабость прошла. Остап побросал пачки в мешочек, любезно предложенный Александром Ивановичем, взял его под мышку и откатил тяжелую дверь товарного вагона.

Праздник кончался. Ракеты золотыми удочками закидывались в небо, вылавливая оттуда красных и зеленых рыбок, холодный огонь брызгал в глаза, вертелись пиротехнические солнца, *бураки*[14] *подкидывали вверх винегрет из светящихся помидоров и восклицательных знаков.* За хижиной телеграфа на деревянной сцене шел спектакль для кочевников. Некоторые из них сидели на скамьях, другие же *смотрели* представление с высоты своих седел. Часто ржали лошади. Литерный поезд был освещен от хвоста до головы.

[14] Бурак — одна из фейерверочных фигур. *(Прим. ред.)*

— Да! — воскликнул Остап. — Банкет в *вагоне*-ресторане! Я и забыл! Какая радость! Идемте, Корейко, я вас угощаю, я всех угощаю! Согласно законов гостеприимства! Коньяк с лимончиком, клецки из дичи, фрикандо с шампиньонами, старое венгерское, новое венгерское, шампанское вино!..

— Фрикандо, фрикандо, — сказал Корейко злобно, — а потом посадят. Я не хочу себя афишировать!

— Я обещаю вам райский ужин на белой скатерти, — настаивал Остап. — Идемте, идемте! И вообще бросьте отшельничество. *Спешите* выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. Не то налетят посторонние лица и сожрут вашу порцию *в жизни*. Я устрою вас в литерный поезд — там я свой человек, — и уже завтра мы будем в сравнительно культурном центре. А там с нашими миллионами... Александр Иванович!..

Великому комбинатору хотелось сейчас всех облагодетельствовать, хотелось, чтобы всем было весело. Темное лицо *Корейки* тяготило его. И он принялся убеждать Александра Ивановича. Он был согласен с тем, что афишировать себя не следует, но к чему морить себя голодом? Остап и сам толком не разбирал, зачем ему понадобился *невеселый* табельщик, но, раз начав, он не мог уже остановиться. Под конец он стал даже угрожать.

— Будете вот сидеть на своем чемодане, а в один погожий денек явится к вам костлявая — и косой по шее! А? Представляете себе аттракцион? Спешите, Александр Иванович, котлеты еще на столе. Не будьте твердолобым.

После потери миллиона Корейко стал мягче и восприимчивей.

— Может, в самом деле проветриться, — сказал он неуверенно, — *прокатиться* в центр. Но, конечно, без шика, без этого гусарства.

— Какое уж тут гусарство! Просто два врача-общественника едут в Москву, чтобы посетить Художественный театр и собственными глазами взглянуть на мумию в Музее изящных искусств. Берите чемодан.

Миллионеры пошли к поезду. Остап небрежно помахивал своим мешком, как кадилом. Александр Иванович улыбался глупейшим образом. Литерные пассажиры прогуливались, стараясь держаться поближе к вагонам, потому что уже прицепляли паровоз. В темноте мерцали белые штаны корреспондентов.

В купе на верхней *полке* Остапа лежал под простыней незнакомый ему человек и читал газету.

— Ну, слезайте, — дружелюбно сказал Остап, — пришел хозяин.

— Это мое место, товарищ, — заметил незнакомец. — Я Лев Рубашкин.

— Знаете, Лев Рубашкин, не пробуждайте во мне зверя, уходите отсюда.

Великого комбинатора толкал на борьбу недоумевающий взгляд Александра Ивановича.

— Вот еще новости, — сказал корреспондент заносчиво, — кто вы такой?

— Не ваше собачье дело! Говорят вам — слезайте, и слезайте.

— Всякий пьяный, — визгливо начал Рубашкин, — будет здесь хулиганить...

Остап молча схватил корреспондента за голую ногу. На крики Рубашкина сбежался весь вагон. Корейко на всякий случай убрался на площадку.

— Деретесь? — спросил Ухудшанский. — Ну, ну.

Остапа, который уже успел хлопнуть Рубашкина мешком по голове, держали за руки Гаргантюа и толстый писатель в детской курточке.

— Пусть он покажет билет! — надрывался великий комбинатор. — Пусть покажет плацкарту!

Рубашкин, совершенно голый, прыгал с полки на полку и требовал коменданта. Оторвавшийся от действительности Остап тоже настаивал на вызове начальства. Скандал завершился большой неприятностью. Рубашкин предъявил и билет, и плацкарту, после чего трагическим голосом потребовал того же от Бендера.

— А я не покажу из принципа! — заявил великий комбинатор, поспешно покидая место происшествия. — У меня такие принципы!

— Заяц! — завизжал Лев Рубашкин, выскочивший в коридор нагишом. — Обращаю ваше внимание, товарищ комендант, здесь ехал заяц!

— Где заяц? — провозгласил комендант, в глазах которого появился гончий блеск.

Александр Иванович, пугливо притаившийся за выступом трибуны, вглядывался в темноту, но ничего не мог различить. Возле поезда возились фигуры, прыгали папиросные огни и слышались голоса: «Потрудитесь предъявить!», «А я вам говорю, что из принципа!», «Хулиганство!», «Ведь верно? Ведь правильно?», «Должен же кто-нибудь ехать без билета?» Стукнули буферные тарелки, над самой землей, шипя, пробежал тормозной воздух, и светлые окна вагонов сдвинулись с места. Остап еще хорохорился, но мимо него уже ехали полосатые диваны, багажные сетки, проводники с фонарями, букеты и потолочные пропеллеры вагона-ресторана. Уезжал банкет с шампанским вином, со старым и новым венгерским. Из рук вырвались клецки из дичи и унеслись в ночь. Фрикандо, нежное фрикан-

до, о котором так горячо повествовал Остап, покинуло Гремящий Ключ. Александр Иванович приблизился.

— Я этого так не оставлю, — ворчал Остап, — бросили в пустыне корреспондента советской прессы. Я подыму на ноги всю общественность. Корейко! Мы выезжаем первым же курьерским поездом! Закупим все места в международном вагоне!..

— Что вы, — сказал Корейко, — какой уж там курьерский! Отсюда никакие поезда не ходят. По плану эксплуатация начнется только через два месяца.

Остап поднял голову. Он увидел черное абиссинское небо, дикие звезды и все понял. Но робкое напоминание Корейко о банкете придало ему новые силы.

— За холмом стоит самолет, — сказал Бендер, — тот, который прилетел на торжество. Он уйдет только на рассвете. Мы успеем.

Для того чтобы успеть, миллионеры двинулись широким дромадерским шагом. Ноги их разъезжались в песке, горели костры кочевников. Тащить чемодан и мешок было не то чтобы тяжело, но крайне противно. Покуда они карабкались на холм со стороны Гремящего Ключа, с противной стороны на холм в треске пропеллеров надвигался рассвет. Вниз с холма Бендер и Корейко уже бежали, боясь, что самолет улетит без них.

Под высокими, как крыши, рифлеными крыльями самолета ходили маленькие механики в кожаных пальто. Три пропеллера слабо вертелись, вентилируя пустыню. На квадратных окнах пассажирской кабины болтались занавески с плюшевыми шариками. Пилот прислонился спиной к алюминиевой ступеньке и ел пирожок, запивая его нарзаном из бутылки.

— Мы пассажиры! — крикнул Остап, задыхаясь. — Два билета первого класса!

Ему никто не ответил. Пилот бросил бутылку и стал надевать перчатки с раструбами.

— Есть места? — повторил Остап, хватая пилота за руку.

— Пассажиров не берем, — сказал пилот, берясь за лестничный поручень. — Это специальный рейс.

— Я покупаю самолет! — поспешно сказал великий комбинатор. — Заверните в бумажку.

— С дороги! — крикнул механик, подымаясь вслед за пилотом.

Пропеллеры исчезли в быстром вращении. Дрожа и переваливаясь, самолет стал разворачиваться против ветра. Воздушные вихри вытолкнули миллионеров назад, к холму. С Остапа слетела капитанская фуражка и покатилась в сторону Индии с такой быстротой, что ее прибытия в Калькутту следовало бы ожидать не позже, чем через три часа. Так бы она и вкатилась на главную улицу Калькутты, вызвав своим загадочным появле-

нием внимание кругов, близких к Интеллидженс-Сервис, если бы самолет не улетел и буря не улеглась. В воздухе самолет блеснул ребрами и сгинул в солнечном свете. Остап сбегал за фуражкой, которая повисла на кустике саксаула, и молвил:

— Транспорт отбился от рук. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? *Семьсот* километров. Это не воодушевляет. Остается одно — принять ислам и передвигаться на верблюдах.

Насчет ислама Корейко промолчал, но мысль о верблюдах ему понравилась. Заманчивый вид *вагона*-ресторана и самолета утвердил его в желании совершить развлекательную поездку врача-общественника, конечно, без гусарства, но и не без некоторой лихости.

Аулы, прибывшие на смычку, еще не снялись, и верблюдов удалось купить неподалеку от Гремящего Ключа. Корабли пустыни обошлись по сто восемьдесят рублей за штуку.

— Как дешево, — шепнул Остап, — давайте купим пятьдесят верблюдов. Или сто!

— Это гусарство, — хмуро сказал Александр Иванович, — что с ними делать? Хватит и двух.

Казахи с криками усадили путешественников между горбами, помогли привязать чемодан, мешок и провизию на дорогу — бурдюк с кумысом и двух баранов. Верблюды поднялись сперва на задние ноги, *отчего* миллионеры низко поклонились, а потом на передние ноги и зашагали вдоль полотна Восточной Магистрали. Бараны, привязанные веревочками, трусили позади, время от времени катя шарики и блея душераздирающим образом.

— Эй, шейх Корейко! — крикнул Остап. — Александр-ибн-Иванович! Прекрасна ли жизнь?

Шейх ничего не ответил. Ему попался ледащий верблюд, и он яростно лупил его по плешивому заду *саксаульной* палкой.

Глава *тридцать первая*

Багдад

Семь дней верблюды тащили через пустыню новоявленных шейхов. В начале путешествия Остап веселился от души. Все его потешало: и барахтающийся между верблюжьими кочками Александр-Ибн-Иванович, и ледащий корабль пустыни, старавшийся увернуться от своих обязанностей, и мешок с миллионом, ударами которого великий комбинатор иногда подбадривал непокорных баранов. Себя Остап называл полковником Лоуренсом.

— Я *Эмир*-динамит, — кричал он, покачиваясь на высоком хребте. — Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую *какие-нибудь* племена. Честное слово! Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига *Наций* удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок, они любят продавать огнестрельное оружие племенам, и марш-марш, в Данию. Германия пропустит — в счет репараций. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Ах! Паниковского нет! *Какой из него вышел бы прекрасный мародер.* Ему бы датского гуся!..

Но через несколько дней, когда от баранов остались только веревочки, а кумыс был весь выпит, даже *Эмир*-динамит погрустнел и только меланхолически бормотал:

— В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли.

Оба шейха сильно похудели, оборвались, поросли *бородками* и стали похожи на дервишей из небогатого прихода.

— Еще немного терпения, Ибн-Корейко, и мы приедем в городок, не уступающий Багдаду. Плоские кровли, туземные оркестры, ресторанчики в восточном вкусе, сладкие вина, легендарные девицы и сорок тысяч вертелов с шашлыками карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими. И, наконец, железная дорога.

На восьмой день путники подъехали к древнему кладбищу. До самого горизонта окаменевшими волнами протянулись ряды полуциркульных гробниц. Покойников здесь не зарывали. Их клали на землю, обстраивая каменными колпаками. Над пепельным городом мертвых сверкало страшное солнце. Древний *восток* лежал в своих горячих гробах.

Комбинаторы стегнули *своих* верблюдов и вскоре въехали в оазис. Далеко вокруг озаряли город зеленые факелы тополей, отражавшиеся в залитых водой квадратных рисовых полях. Одиноко стояли карагачи, точно воспроизводящие форму гигантского глобуса на деревянной ножке. Стали попадаться ослики, несшие на себе толстых седоков в халатах и вязанки клевера.

Корейко и Бендер ехали мимо лавочек, торгующих зеленым табаком в порошке и вонючим коническим мылом, похожим на головки шрапнелей. Ремесленники с белыми кисейными бородами возились над медными листами, свертывая их в тазы и узкогорлые кувшины. Сапожники сушили на солнце маленькие кожи, выкрашенные чернилами. Темно-синие, желтые и голубые изразцы мечетей блестели жидким стеклянным светом.

Остаток дня и ночь миллионеры тяжело и бесчувственно проспали в гостинице, а утром выкупались в белых ваннах, побрились и вышли в город. Безоблачное настроение шейхов портила *только* необходимость тащить с собою чемодан и мешок.

— Я считаю первейшей своей обязанностью, — сказал Бендер хвастливо, — познакомить вас с волшебным погребком. Он называется «Под луной». Я тут был лет пять тому назад, читал лекции о борьбе с абортами. Какой погребок! Полутьма, прохлада, хозяин из Тифлиса, местный оркестр, холодная водка, танцовщицы с бубнами и кимвалами. Закатимся туда на весь день. Могут же быть у врачей-общественников свои ми-

ниатюрные слабости. Я угощаю. Золотой теленок отвечает за все.

И великий комбинатор тряхнул своим мешком.

Однако погребка «Под луной» уже не было. К удивлению Остапа, не было даже той улицы, на которой звучали его бубны и кимвалы. Здесь шла прямая европейская улица, которая обстраивалась сразу во всю длину. Стояли заборы, висела алебастровая пыль, и грузовики раскаляли и без того горячий воздух. Посмотрев минутку на фасады из серого кирпича с длинными лежачими окнами, Остап толкнул Корейко и, промолвив: «Есть еще местечко, содержит один из Баку», повел его на другой конец города. Но на *«местечке»* не было уже стихотворной вывески, сочиненной лично духанщиком из Баку:

Уважай себя,
Уважай нас,
Уважай Кавказ,
Посети нас.

Вместо *этого* глазам шейхов предстал картонный плакат с арабскими и русскими буквами: *«Городской музей изящных искусств»*.

— Войдем, — печально сказал Остап, — там по крайней мере прохладно. И потом посещение музея входит в программу путешествующих врачей-общественников.

Они вступили в большую, выбеленную мелом комнату, опустили на пол свои миллионы и долго отирали горячие лбы рукавами. В музее было только восемь экспонатов: зуб мамонта, подаренный молодому музею городом Ташкентом, картина маслом «Стычка с басмачами», два эмирских халата, золотая рыбка в аквариуме, витрина с засушенной саранчой, фарфоровая статуэтка фабрики Кузнецова и, наконец, макет обелиска, который город собирался поставить на главной площади. Тут же, у *подножия* проекта, лежал большой жестяной венок с лентами. Его привезла недавно специальная делегация из соседней республики, но так как обелиска еще не было (ассигнованные на него средства ушли на постройку бани, которая оказалась гораздо нужнее), делегация, произнеся соответствующие речи, возложила венок на проект.

К посетителям тотчас же подошел юноша в ковровой бухарской тюбетейке на бритой голове и, волнуясь, как автор, спросил:

— Ваши впечатления, товарищи?

— Ничего себе, — сказал Остап.

Молодой человек заведовал музеем и без промедления стал говорить о затруднениях, которые переживает его детище.

Кредиты недостаточны. Ташкент отделался одним зубом, а своих ценностей, художественных и исторических, некому собирать. Не присылают специалиста.

— Мне бы триста рублей! — вскричал заведующий. — Я бы здесь Лувр сделал!

— Скажите, вы хорошо знаете город? — спросил Остап, мигнув Александру Ивановичу. — Не могли бы вы указать нам некоторые достопримечательности? Я знал ваш город, но он как-то переменился.

Заведующий очень обрадовался. Крича, что все покажет лично, он запер музей на замок и повел миллионеров на ту же улицу, где они полчаса назад искали погребок «Под луной».

— Проспект имени Социализма! — сказал он, с удовольствием втягивая в себя алебастровую пыль. — Ах! Какой чудный воздух! Что здесь будет через год! Асфальт! Автобус! Институт по ирригации! Тропический институт! Ну, если Ташкент *и* на этот раз не даст *научные силы*!.. Вы знаете, у них есть столько костей мамонта, а мне они прислали только один зуб, в то время как в нашей республике такая тяга к естествознанию.

— Вот как! — заметил Корейко, с укором глядя на Остапа.

— И вы знаете, — зашептал энтузиаст, — я подозреваю, что это не зуб мамонта. Они подсунули слоновый!

— А как у вас с такими... с кабачками в азиатском роде, знаете, с тимпанами и флейтами? — нетерпеливо спросил великий комбинатор.

— Изжили, — равнодушно ответил юноша, — давно уже надо было истребить эту заразу, рассадник эпидемий. Весною как раз последний вертеп придушили. Назывался «Под луной».

— Придушили? — ахнул Корейко.

— Честное слово. Но зато открыта фабрика-кухня. Европейский стол. *Механическое хлебопечение*. Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз.

— Что делается! — воскликнул великий комбинатор, закрывая лицо руками.

— Вы еще ничего не видели, — сказал заведующий музеем, застенчиво смеясь. — Едем на фабрику-кухню обедать.

Они уселись в линейку под полотняным навесом с фестонами, обшитыми синей каймой, и поехали. По пути любезный проводник поминутно заставлял миллионеров высовываться из-под балдахина и показывал им здания уже возведенные, здания возводящиеся и места, где они еще только будут возводиться. Корейко смотрел на Остапа злыми глазами. Остап отворачивался и говорил:

— Какой чудный туземный базарчик! Багдад!

— Семнадцатого числа начнем сносить, — сказал молодой человек, — здесь будет больница и коопцентр.

— И вам не жалко этой экзотики? Ведь Багдад!

— Очень красиво! — вздохнул Корейко.

Молодой человек рассердился.

— Это для вас красиво, для приезжих, а нам тут жить приходится.

В большом зале фабрики-кухни, среди кафельных стен, под ленточными мухоморами, свисавшими с потолка, путешественники ели перловый суп и маленькие коричневые биточки. Остап осведомился насчет вина, но получил восторженный ответ, что недавно недалеко от города открыт источник минеральной воды, превосходящей своими вкусовыми данными прославленный нарзан. В доказательство была потребована бутылка новой воды и распита при гробовом молчании.

— А как кривая проституции? — с надеждой спросил Александр-Ибн-Иванович.

— Резко пошла на снижение, — ответил неумолимый молодой человек.

— Ай, что делается! — сказал Остап с фальшивым смехом.

Но он действительно не знал, что делается. Когда встали из-за стола, выяснилось, что молодой человек успел заплатить за всех. Он ни за что не соглашался взять деньги у миллионеров, уверяя, что послезавтра все равно получит *жалование*, а до этого времени как-нибудь обернется.

— Ну, а веселье? Как город веселится? — уже без экстаза спрашивал Остап. — Тимпаны, кимвалы?

— Разве вы не знаете? — удивился заведующий музеем. — На прошлой неделе у нас открылась городская филармония. Большой симфонический квартет имени Бебеля и Паганини. Едем сейчас же! Как это я упустил из виду!

После того как он заплатил за обед, отказаться от посещения филармонии было невозможно из этических соображений. Выйдя оттуда, Александр-Ибн-Иванович сказал дворницким голосом:

— Городская фисгармония!

Великий комбинатор покраснел.

По дороге в гостиницу молодой человек неожиданно остановил возницу, высадил миллионеров, взял их за руки и, подымаясь от распиравшего его восторга на цыпочки, подвел к маленькому камню, огороженному решеточкой.

— Здесь будет стоять обелиск! — сказал он значительно. — Колонна марксизма!

Прощаясь, молодой человек просил приезжать почаще. Добродушный Остап пообещал обязательно приехать, потому что никогда не проводил такого радостного дня, как сегодня.

— Я на вокзал, — сказал Корейко, оставшись наедине с Бендером.

— Поедем в другой город кутить? — спросил Остап. — В Ташкенте можно весело провести дня три.

— С меня хватит, — ответил Александр Иванович, — я поеду на вокзал сдавать чемодан на хранение, буду здесь служить где-нибудь в конторщиках. Подожду капитализма. Тогда и повеселюсь.

— Ну и ждите, — сказал Остап довольно грубо, — а я поеду. Сегодняшний день — это досадное недоразумение, перегибы на местах. Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть!

На вокзальной площади они увидели толпу литерных корреспондентов, которые после смычки совершали экскурсионную поездку по Средней Азии. Они окружали Ухудшанского. Обладатель «Торжественного комплекта» самодовольно поворачивался *на* все стороны, показывая свои приобретения. На нем была бархатная шапка, отороченная шакальим хвостом, и халат, скроенный из ватного одеяла.

Предсказания плюшевого пророка продолжали исполняться.

Глава *тридцать вторая*

Врата великих возможностей

В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском зале *Казанского* вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик *Антилопы* и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа. Парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдаванские постолы. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала.

За большими немытыми окнами *виднелась* блокировка, семафоры и прочие предметы, нужные в железнодорожном хозяйстве. Побежали носильщики, и вскоре через зал потянулось население прибывшего поезда. Последним с перрона вошел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если б внезапно не заметил пла-

чевной фигуры Балаганова. Он сощурился, подошел поближе и некоторое время разглядывал спящего. Потом осторожно, двумя пальцами в перчатке приподнял кепку с лица бортмеханика и улыбнулся.

— Вставайте, граф! *Вас ждут великие дела!* — сказал он, расталкивая Балаганова.

Шура сел, потер лицо рукою и только тогда признал пассажира.

— Командор! — закричал он.

— Нет, нет, — заметил Бендер, защищаясь ладонью, — не обнимайте меня. Я теперь гордый.

Балаганов завертелся вокруг командора. Он не узнавал его. Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром.

— Забурел, забурел! — радостно вскрикивал Балаганов. — Вот забурел!

— Да, я забурел, — сообщил Бендер с достоинством. — Посмотрите на брюки. Европа — «А». А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан *бриллиантовым* перстнем. Четыре карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?

— Да так, — замялся Шура, — больше по мелочам.

В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пива с бутербродами для бортмеханика.

— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все.

— Сто рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было *хорошо* на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно *6400* рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

— Ладно, — сказал Остап, — получите пятьдесят тысяч.

Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову пять белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук.

— Неужели тарелочка? — спрашивал он восхищенно.

— Да, да, тарелочка, — *отвечал* Остап равнодушно. — С голубой каемкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично.

Последние слова он произнес нетвердо.

Парад, надо сказать правду, не ладился, и великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично. Справедливее

было бы сказать, что он ощущает некую неловкость, в чем, однако, не хочет сознаться даже самому себе.

С тех пор как он расстался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного багажа, куда подпольный миллионер сдал свой чемоданишко, прошел месяц.

В первом же городе, в который Остап въехал с чувствами завоевателя, он не *сумел* достать номера в гостинице.

— Я заплачу сколько угодно! — высокомерно сказал великий комбинатор.

— Ничего не выйдет, гражданин, — отвечал портье, — конгресс почвоведов приехал в полном составе осматривать опытную станцию. Забронировано за представителями науки.

И вежливое лицо портье выразило почтение перед конгрессом. Остапу захотелось закричать, что он главный, что его нужно уважать и почитать, что у него в мешке миллион, но он почел за благо воздержаться и вышел на улицу в крайнем раздражении. Весь день он ездил по городу на извозчике. В лучшем ресторане он полтора часа томился в ожидании, покуда почвоведы, обедавшие всем конгрессом, не встанут из-за стола. В театре в этот день давался спектакль для почвоведов, и билеты вольным гражданам не продавались. К тому же Остапа не пустили бы в зрительный зал с мешком в руках, а девать его было некуда. Чтобы не ночевать в интересах науки на улице, миллионер в тот же вечер уехал, отоспавшись в международном вагоне.

Утром Бендер сошел в большом волжском городе. С деревьев, вертясь винтом, слетали желтые прозрачные листья. Волга дышала ветром. Номеров не было ни в одной гостинице.

— Разве что через месяц, — с сомнением говорили отельные заведующие с бородками, и без бородок, и усатые, и просто бритые, — покуда на электроцентрали не смонтируют третий агрегат, и не надейтесь. Все под специалистов отдано. И потом — окружной съезд комсомола. Ничего не можем поделать.

Пока великий комбинатор торчал у высоких конторок *портье*, по гостиничным лестницам торопились инженеры, техники, иностранные специалисты и комсомольцы — делегаты съезда. И снова Остап провел день на извозчике, с нетерпением дожидаясь курьерского поезда, где можно умыться, отдохнуть и почитать газету.

Великий комбинатор провел пятнадцать ночей в разных поездах, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было. В одном месте воздвигали домну, в другом — холодильник, в третьем — цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми. В четвертом месте Остапу поперек дороги стал пионерский слет, и в номере, где миллионер мог бы нескучно провести вечер с подругой, галдели дети. В дороге он

обжился, завел чемодан для миллиона, дорожные вещи и экипировался. Уже Остап замышлял долгое и покойное путешествие во Владивосток, рассчитав, что поездка в оба конца займет три недели, когда вдруг почувствовал, что если сейчас же не осядет на землю, то умрет от какой-нибудь загадочной железнодорожной болезни. И он сделал то, что делывал всегда, когда был счастливым обладателем пустых карманов. Он стал выдавать себя за другого, телеграфируя вперед, что едет инженер, или врач-общественник, или тенор, или писатель. К его удивлению, для всех людей, приезжавших по делу, номера находились, и Остап немножко отошел после поездной качки. Один раз для получения номера *пришлось* даже выдать себя за сына лейтенанта Шмидта. После этого эпизода великий комбинатор предался невеселым размышлениям.

«И это путь миллионера! — думал он с огорчением. — Где уважение? Где почет? Где слава? Где власть?»

Даже Европа — «А», которой Остап хвастался перед Балагановым, — костюм, туфли и шляпа — были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян — это были вещи не свои, не родные, с чужого плеча. Их уже кто-то носил, может быть, час, минуту, но все-таки таскал кто-то чужой. Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. И вообще было плохо. Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любым купчиной с *капиталишкой* в пятьдесят тысяч, отцы города не приезжали в гостиницу представляться, пресса не торопилась брать интервью и вместо *фотографии миллионера* печатала портреты каких-то ударников, зарабатывающих сто двадцать рублей в месяц.

Остап каждый день считал свой миллион, и все был миллион без какой-то мелочи. Он прилагал все усилия, обедал несколько раз в день, пил коллекционные вина, раздавал непомерные чаевые, купил перстень, японскую вазу и шубу на хорьках. Шубу и вазу пришлось подарить номерному, потому что Остап не любил возиться в дороге с громоздкими вещами. Кроме того, в случае надобности он мог накупить еще множество шуб и ваз. За месяц, однако, истрачено было только шесть тысяч.

Нет! Парад решительно не удавался, хотя все было на месте. Вовремя были высланы линейные, к указанному сроку прибыли части, играл оркестр. Но полки смотрели не на него, не ему кричали *ура*, не для него махал руками капельмейстер. Но Остап не сдавался. Он крепко надеялся на Москву.

— А как Рио-де-Жанейро? — возбужденно спросил Балаганов. — Поедем?

— Ну его к черту! — с неожиданной злостью сказал Остап. — Все это выдумка. *Нет* никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.

— Ну и дела! — вздохнул Балаганов.

— Мне один доктор все объяснил, — продолжал Остап. — *Заграница* — это миф о загробной жизни, *кто* туда *попадает*, тот не возвращается.

— Прямо цирк! — воскликнул Шура, ничего не поняв. — Ух, как я теперь заживу! Бедный Паниковский! Он, конечно, нарушил конвенцию, *ну* бог с ним! Вот радовался бы старик.

— Предлагаю почтить память покойного вставанием, — сказал Бендер.

Молочные братья поднялись и минуту простояли молча, глядя вниз, на *переломанные* бисквиты и недоеденный бутерброд.

Тягостное молчание прервал Балаганов.

— Знаете, что с Козлевичем? — сказал он. — Прямо цирк! Он все-таки собрал *Антилопу* и работает в Черноморске. *Прислал письмо*. Вот...

Бортмеханик вынул из кепки письмо.

«Здравствуйте, Шура, — писал водитель *Антилопы*, — как живете? Все ли вы еще сын л. Ш.?.. Мне живется хорошо, только нету денег, а машина после ремонта что-то капризничает и работает только один час в день. Все время ее чиню, прямо сил никаких нет. Пассажиры обижаются. Может, вы, *Шура*, пришлете мне маслопроводный шланг, хоть не новый. Здесь на базаре положительно нельзя достать. Поищите на Смоленском рынке, там, где продают старые замки и ключи. А если вам плохо, то приезжайте, как-нибудь перебьемся! Я стою на углу улицы Меринга, на бирже. Где теперь О. Б.? Ваш с уважением Адам Козлевич. Забыл написать. Ко мне на биржу приходили ксендзы, Кушаковский и Морошек. Был скандал. А. К.».

— Побегу теперь искать шланг, — озабоченно сказал Балаганов.

— Не надо, — ответил Остап, — я ему новую машину куплю. Едем в «Гранд-Отель», я забронировал номер по телеграфу для дирижера симфонического оркестра. А вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Перед вами, Шура, открываются врата великих возможностей!

Они вышли на Каланчевскую площадь. Такси не было. На извозчике Остап ехать отказался.

— Это карета прошлого, — сказал он брезгливо, — в ней далеко не уедешь. Кроме того, там в подкладке живут маленькие мыши.

Пришлось сесть в трамвай. Вагон был переполнен. Это был один из тех зараженных ссорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Склоку в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. Постепенно в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже злая старушка давно сошла, утеряна *и* причина спора, а крики и взаимные оскорбления продолжаются, *в* перебранку вступают все новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.

Волнующиеся пассажиры быстро оттеснили Балаганова от Остапа, и вскоре молочные братья болтались в разных концах вагона, стиснутые грудями и *корзинами*. Остап висел на ремне, с трудом выдирая чемодан, который все время уносило течением. Внезапно, покрывая обычную трамвайную брань, со стороны, где колыхался Балаганов, послышался женский вой:

— Украли!! Держите! Да вот же он стоит!

Все *поворотили* головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали *пробиваться* любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.

— Бандит! — кричала женщина. — Только отвернулась, а он...

Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и *1 р. 70 к.* денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

— Что ж это такое? Ведь я машинально.

— Я тебе покажу машинально! — сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.

В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.

Великий комбинатор отвернулся.

Глава *тридцать третья*

Индийский гость

В четырехугольном замкнутом дворе «Гранд-Отеля» слышались кухонные стуки, шипение пара и крики: «Два чайных комплекта в шестнадцатый», а в белых коридорах было ясно и тихо, как в распределительном зале электростанции. В ста пятидесяти номерах спал конгресс почвоведов, вернувшихся из поездки, тридцать номеров было отведено под делегацию заграничных коммерсантов, которые выясняли наболевший вопрос, можно ли в конце концов прибыльно торговать с Советским Союзом, лучший апартамент из четырех комнат занимал знаменитый индусский поэт и философ, а в маленьком номере, отведенном дирижеру симфонического оркестра, спал Остап Бендер.

Он лежал на плюшевом одеяле, одетый, прижимая к груди чемодан с миллионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя весь кислород, *содержащийся* в комнате, и оставшиеся в ней химические элементы можно было назвать азотом только из вежливости. Пахло скисшим вином, адскими котлетами и еще чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал и повернулся. Чемодан свалился на пол. Остап быстро открыл глаза.

«*Что ж* это было? — пробормотал он, гримасничая. — Гусарство в ресторанном зале! И даже, кажется, какое-то кавалергардство! Фу! Держал себя как купец второй гильдии! Боже

мой, не обидел ли я присутствующих? Там какой-то дурак кричал: «Почвоведы, встаньте!» — а потом плакал и клялся, что в душе он сам почвовед. Конечно, это был я! Да, но по какому это поводу?..»

И он вспомнил, что вчера, решив начать подобающую *миллионеру* жизнь, он постановил выстроить себе особняк в мавританском стиле. Утро он провел в грандиозных мечтах. Он представлял себе дом с минаретами, швейцара с лицом памятника, малую гостиную, *биллиардную* и какой-то конференц-зал. В земельном отделе Совета великому комбинатору разъяснили, что участок получить можно. Но уже в строительной конторе все рухнуло. Упал швейцар, гремя каменной мордой, зашатался золотой конференц-зал, и развалились минареты.

— Вы частное лицо? — спросили миллионера в конторе.

— Да, — ответил Остап, — резко выраженная индивидуальность.

— К сожалению, строим только для коллективов и организаций.

— Кооперативных, общественных и хозяйственных? — спросил *Бендер* с горечью.

— Да, для них.

— А я?

— А вы стройте сами.

— Да, но где же я возьму камни, шпингалеты? Наконец, плинтусы?

— Добудьте как-нибудь. Хотя это трудно. Контингенты уже распределены по заявкам промышленности и кооперации.

По всей *видимости*, это и было причиной безобразного ночного гусарства.

Остап лежа вынул записную *книжку* и стал подсчитывать расходы со времени получения миллиона. На первой страничке была памятная запись:

Верблюд —	180 р.
Баран —	30 р.
Кумыс —	1 р. 75 к.
Итого	211 р. 75 к.

Дальнейшее было не лучше. Шуба, соус, железнодорожный билет, опять соус, опять билет, три чалмы, купленные на черный день, извозчики, ваза и *всяческая* чепуха. Если не считать пятидесяти тысяч Балаганова, которые не принесли ему счастья, миллион был на месте.

— Не дают делать капитальных вложений! — возмущался Остап. — Не дают! Может, зажить интеллектуальной жизнью,

как мой друг Лоханкин? В конце концов материальные ценности я уже накопил, надо прикапливать помаленьку ценности духовные. Надо немедленно выяснить, в *чем смысл* жизни.

Он вспомнил, что в гостиничном вестибюле весь день толкутся девушки, стремящиеся поговорить с приезжим индусским философом о душе.

— Пойду к индусу, — решил он, — узнаю наконец, в чем дело. Это, правда, пижонство, но другого выхода нет.

Не разлучаясь с чемоданом, Бендер, как был, в смятом костюме, спустился в бельэтаж и постучал в *дверь великого* человека. Ему открыл переводчик.

— Философ принимает? — спросил Остап.

— Это смотря кого, — ответил переводчик вежливо. — Вы частное лицо?

— Нет, нет, — испуганно сказал великий комбинатор. — *Я* от одной кооперативной организации.

— Вы с группой? Вас сколько человек? А то, знаете, учителю трудно принимать всех отдельных лиц. Он предпочитает беседовать...

— С коллективом? — подхватил Остап. — Меня как раз коллектив уполномочил разрешить один важный принципиальный вопрос насчет смысла жизни.

Переводчик ушел и через пять минут вернулся. Он *отодвинул* портьеру и пышно сказал:

— Пусть войдет кооперативная организация, желающая узнать, в чем смысл жизни.

На кресле с высокой и неудобной резной спинкой сидел великий философ и поэт в коричневой бархатной рясе и в таком же колпаке. Лицо у него было смуглое и нежное, а глаза черные, как у подпоручика. Борода, белая и широкая, *как* фрачная манишка, закрывала грудь. Стенографистка сидела у его ног. Два переводчика, индус и англичанин, разместились по бокам.

При виде Остапа с чемоданом философ заерзал на кресле и что-то встревоженно зашептал переводчику. Стенографистка спешно *стала* записывать, а переводчик обратился к великому комбинатору:

— Учитель желает узнать, не содержатся ли в чемодане пришельца песни и саги, и не собирается ли пришелец прочесть их вслух, так как учителю прочли уже много песен и саг и он больше не может их слушать.

— Скажите учителю, что саг нету, — почтительно ответил Остап.

Черноглазый старец еще больше обеспокоился и, оживленно говоря, стал со страхом показывать на чемодан пальцем

— Учитель спрашивает, — начал переводчик, — не собирается ли пришелец поселиться у него в номере, потому что к нему на прием еще никогда не приходили с *чемоданами*.

И только после того как Остап успокоил переводчика, а переводчик философа, напряжение прошло и началась беседа.

— Прежде чем ответить на ваш вопрос о смысле жизни, — сказал переводчик, — учитель желает сказать несколько слов о народном образовании в Индии.

— Передайте учителю, — сообщил Остап, — что проблема народного образования волнует меня с детства.

Философ закрыл глаза и принялся неторопливо говорить. Первый час он говорил по-английски, а второй *час по*-бенгальски. Иногда он начинал петь тихим приятным голосом, а один раз даже встал и, приподняв рясу, сделал несколько танцевальных движений, изображавших, как видно, игры школьников в Пенджабе. Затем он сел и снова закрыл глаза, а Остап долго слушал перевод. Сперва Остап вежливо кивал головой, потом сонно смотрел в окно и, наконец, начал развлекаться, перебирал в кармане мелочь, любовался перстнем и даже довольно явственно подмигнул хорошенькой стенографистке, после чего она еще быстрее зачиркала карандашом.

— А как все-таки будет со смыслом жизни? — спросил миллионер, улучив минуту.

— Учитель желает прежде, — объяснил переводчик, — познакомить пришельца с *обширными материалами, которые* он собрал при ознакомлении с постановкой дела народного образования в СССР.

— Передайте его благородию, — ответил Остап. — Что пришелец не возражает.

И машина снова пришла в движение. Учитель говорил, пел пионерские песни, показывал стенгазету, которую ему поднесли дети *146й* трудовой школы, и один раз даже всплакнул. Переводчики бубнили в два голоса, стенографистка писала, а Остап рассеянно чистил ногти.

Наконец Остап громко закашлял.

— Знаете, — сказал он, — переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, *тогда переведите*.

Когда философу подтвердили настойчивое желание Остапа, черноглазый старец заволновался.

— Учитель говорит, — заявил переводчик, — что он сам приехал в вашу великую страну, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Только там, где народное образование поставлено на такую высоту, как у вас, жизнь становится осмысленной. Коллектив...

— До *свидания*, — быстро сказал великий комбинатор, — передайте учителю, что пришелец просит разрешения немедленно уйти.

Но философ уже пел нежным голосом *марш Буденного*, которому он выучился у советских детей. И Остап *убежал* без разрешения.

— Кришна! — кричал великий комбинатор, бегая по своему номеру. — Вишну! Что делается на свете? Где сермяжная правда? А, может быть, я дурак и ничего не понимаю, и жизнь прошла глупо, бессистемно? Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну, а я, как оперный индийский гость, долблю все одно и то же: «Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных». До чего же гадко!

В этот день Остап обедал без водки, и в первый раз оставил чемодан в номере. Потом он смирно сидел на подоконнике, с интересом рассматривая обыкновенных прохожих, которые прыгали в автобус, как белки.

Ночью великий комбинатор вдруг проснулся и сел на кровати. Было тихо, и только из ресторана через замочную скважину пробирался меланхолический бостон.

— Как же я забыл! — сказал он сердито.

Потом он засмеялся, зажег свет и быстро написал телеграмму:

«Зося! Я ошибся, я хочу приехать. Ответ Москва Гранд-Отель».

Он позвонил и потребовал, чтобы телеграмма была отправлена немедленно, молнией.

Коридорный ознакомился в буфетной комнате с содержанием депеши и лег спать, придя к заключению, что дело терпит, успеется и утром.

Зося не ответила. Не было ответа и на другие телеграммы, составленные в *этом* же отчаянном и лирическом роде.

Глава *тридцать четвертая*

Дружба с юностью

Поезд шел в Черноморск.

Первый пассажир снял пиджак, повесил его на медную завитушку багажника, потом стащил ботинки, поочередно поднося толстые ножки почти к самому лицу, и надел туфли с языками.

— Слышали вы историю про одного воронежского землемера, который оказался родственником японского микадо? — спросил он, заранее улыбаясь.

Второй и третий пассажиры придвинулись поближе. Четвертый пассажир уже лежал на верхнем диване под колючим малиновым одеялом, недовольно глядя в иллюстрированный журнал.

— Неужели не слышали? Одно время об этом много говорили. Это был обыкновенный землемер — жена, одна комната, сто двадцать рублей *жалования*. Фамилия — Бигусов. Обыкновенный, ну, совершенно *не замечательный* человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам. Приходит он однажды со службы, а у него в комнате сидит японец в таком, между нами говоря, отличном костюме, в очках и, если хотите знать, в ботинках из змеиной кожи, последняя новость. «Ваша фамилия — Бигусов?» — спрашивает японец. «Да», — говорит Бигусов. «А имя-отчество?» «Такое-то», — отвечает. «Правиль-

но, — говорит японец, — в таком случае, не будете ли вы любезны снять толстовку, *мне* нужно осмотреть ваше голое туловище». «Пожалуйста», — говорит. Ну, между нами говоря, если хотите знать, японец туловище даже не рассматривал, а сразу кинулся к родимому пятну. Было у Бигусова такое пятно, на боку. Посмотрел на него японец через увеличительное стекло, побледнел и говорит: «Поздравляю вас, гражданин Бигусов, и позвольте вам вручить посылку и пакет». Жена, конечно, открыла посылку, *а* там, если хотите знать, — *японский обоюдоострый меч лежит в стружках.* «Почему же мне меч?» — спросил землемер. «А вы, — говорит, — прочтите письмо. Там все написано. Вы самурай». Тут Бигусов тоже побледнел. Воронеж, если хотите знать, не особенно большой центр. Между нами говоря, какое там может быть отношение к самураям? Самое отрицательное! Ну, делать нечего, Бигусов берется за письмо, вскрывает четырнадцать восковых печатей и *читает.* Что же вы думаете? Оказалось, что ровно тридцать шесть лет тому назад проезжал через Воронежскую губернию один японский полупринц — инкогнито. Ну, конечно, между нами говоря, спутался его высочество с одной воронежской девушкой, прижил ребенка инкогнито. И даже хотел жениться, только микадо запретил шифрованной телеграммой. Полупринцу пришлось уехать, а ребенок остался незаконный. Это и был Бигусов. И вот по прошествии стольких лет полупринц стал умирать, а тут, как назло, законных детей нету, некому передать наследство, и к тому же угасает знаменитый род, что для японца хуже всего. Ну, пришлось вспомнить про Бигусова. Вот привалило человеку счастье! Сейчас, говорят, он уже в Японии Старик умер. А Бигусов теперь принц, родственник микадо и к тому же еще, между нами говоря, получил наличными миллион иен. Миллион! Такому дураку!

— Дали бы мне миллион рублей! — сказал второй пассажир, суча ногами. — Я бы им показал, что делать с миллионом!

В пролете между верхними диванами появилась голова четвертого пассажира. Он внимательно поглядел на человека, точно знавшего, что можно сделать с миллионом, и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом.

— Да, — сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный *пергаментный* пакетик с двумя индивидуальными сухарями, — бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве умер дядя и оставил ей миллионное наследство, а она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец. Этот голубчик решил жениться на девушке, пока она не проведала *о наследстве.* А у нее в Москве был жених, и тоже довольно красивый молодой

человек из Палаты *Мер и Весов*. Она его очень любила и, естественно, не хотела выходить замуж за другого. А тот, иностранец, прямо с ума сходил, посылал ей букеты, конфеты и фильдеперсовые чулки. Оказывается, иностранный голубчик приехал не сам от себя, а от акционерного общества, которое образовалось специально для эксплуатации *дядина* наследства. У них даже был основной капитал — восемнадцать тысяч злотых. Этот их уполномоченный должен был во что бы то ни стало жениться на девушке и вывезти ее за границу. Очень романтическая история! Представляете себе положение уполномоченного! Такая ответственность. *А потом* он взял аванс и не может его оправдать из-за этого советского жениха. А там, в Варшаве, кошмар! Акционеры ждут, волнуются, акции падают. В общем, все кончилось крахом. Девушка вышла замуж за своего, советского. Так она *и* ничего и не узнала.

— Вот дура! — сказал второй пассажир. — Дали бы мне этот миллион!

И в ажитации он даже вырвал из рук соседа сухарик и нервно съел его.

Обитатель верхнего дивана придирчиво закашлял. Видимо, разговоры мешали ему заснуть.

Внизу стали говорить тише. Теперь пассажиры сидели тесно, голова к голове, и, задыхаясь, шептали:

— Недавно международное общество Красного *креста* давало объявление в газетах о том, что разыскиваются наследники американского солдата Гарри Ковальчука, погибшего в *1918* году на войне. Наследство — миллион! То есть было меньше миллиона, но наросли проценты. И вот в глухой деревушке на Волыни...

На верхнем диване металось малиновое одеяло. Бендеру было скверно. Ему надоели вагоны, верхние и нижние диваны, весь трясущийся мир путешествий. Он легко дал бы полмиллиона, чтобы заснуть, но шепот внизу не прекращался.

— ...Понимаете, в один жакт явилась старушка и говорит: «Я, говорит, у себя в подвале нашла горшочек, не знаю, что в горшочке, уж будьте добры *посмотреть* сами». Посмотрело правление жакта в этот горшок, а там — золотые индийские рупии, миллион рупий...

— Вот дура! Нашла кому рассказывать!.. Дали бы мне этот миллион, уж я бы...

— Между нами говоря, если хотите знать, — *деньги это* все.

— А в одной пещере под Можайском...

Сверху послышался стон, звучный полновесный стон гибнущего индивидуума.

Рассказчики на миг смутились, но *очарование* неожиданных богатств, *сыплющихся* из карманов японских принцев,

варшавских родственников или американских солдат, было так велико, что они снова стали хватать друг друга за коленки, бормоча:

— ...И вот, когда вскрыли мощи, там, между нами говоря, нашли на миллион...

Утром, еще затопленный сном, Остап услышал звук отстегиваемой шторы и голос:

— Миллион! Понимаете, целый миллион...

Это было слишком. Великий комбинатор гневно заглянул вниз. Но вчерашних пассажиров уже не было. Они сошли на рассвете, в Харькове, оставив после себя смятые постели, просаленный листок арифметической бумаги, котлетные и хлебные крошки, а также веревочку. Стоявший у окна новый пассажир равнодушно посмотрел на Остапа и продолжал, обращаясь к двум своим спутникам:

— Миллион тонн чугуна. К концу года. Комиссия нашла, что завод может это дать. И что самое смешное, Харьков утвердил!

Остап не нашел в этом заявлении ничего смешного. Однако новые пассажиры разом принялись хохотать. При этом на всех трех заскрипели одинаковые резиновые пальто, которых они еще не успели снять.

— Как же Бубешко, Иван Николаевич? — спросил самый молодой из пассажиров с азартом. — Наверно, землю носом роет?

— Уже не роет. Оказался в дурацком положении. Но что было! Сначала он полез в драку... вы знаете Ивана Николаевича характер... 825 тысяч тонн и ни на один пуд больше. Тут началось серьезное дело. Преуменьшение возможностей — факт? Равнение на узкие места — факт? Надо было человеку сразу же и полностью сознаться в своей ошибке. Так нет! Амбиция! Подумаешь, — благородное дворянство. Сознайся — и все. А он начал по частям. Решил авторитет сохранить. И вот началась музыка, достоевщина: «С одной стороны, признаю, но, с другой стороны, подчеркиваю». А что там подчеркивать, что за бесхребетное виляние! Пришлось нашему Бубешке писать второе письмо.

Пассажиры снова засмеялись.

— Но и там он о своем оппортунизме не сказал ни слова. И пошел писать. Каждый день письмо. Хотят для него специальный отдел завести — «Поправки и отмежевки». И ведь сам знает, что записался, хочет выкарабкаться, но такое сам нагромоздил, что не может. И последний раз до того дошел, что даже написал: «Так, мол, и так... ошибку признаю и настоящее письмо считаю недостаточным».

Остап давно уже пошел умываться, а новые пассажиры все еще досмеивались. Когда он вернулся, купе было подметено,

диваны опущены, и проводник удалялся, прижимая подбородком охапку простынь и одеял. Молодые люди, не боявшиеся сквозняков, открыли окно, и в купе, словно морская волна, запертая в ящик, прыгал и валялся осенний ветер.

Остап забросил на сетку чемодан с миллионом и уселся внизу, дружелюбно *посматривая* на новых соседей, которые как-то особенно рьяно вживались в быт международного вагона — часто смотрелись в дверное зеркало, подпрыгивали на диване, испытывая упругость его *пружин,* одобряли качество красной полированной обшивки и нажимали *все* кнопки. Время от времени один из них исчезал на несколько минут и по возвращении шептался с товарищами. Наконец в дверях появилась девушка в бобриковом мужском пальто и гимнастических туфлях с тесемками, обвивавшимися вокруг щиколоток на древнегреческий манер.

— Товарищи! — сказала она решительно. — Это свинство. Мы тоже хотим ехать в роскоши. На первой же станции мы должны обменяться.

Попутчики Бендера угрожающе загалдели.

— Нечего, нечего. Все имеют такие же права, как и вы, — продолжала девушка, — *мы* уже бросили жребий. Вышло Тарасову, Паровицкому и мне. Выметайтесь в третий класс.

Из возникшего шума Остап понял, что в поезде с летней заводской практики возвращалась в Черноморск большая группа студентов политехникума. В жестком вагоне на всех не хватило мест, и три билета пришлось купить в международный, с раскладкой разницы на всю компанию.

В результате девушка осталась в купе, а трое первенцев удалились с запоздалым достоинством. На их места тотчас же явились Тарасов и Паровицкий. Не медля, они принялись подпрыгивать на диванах и нажимать кнопки. Девушка хлопотливо прыгала вместе с ними. *Не* прошло и получаса, как в купе ввалилась первая тройка. Ее пригнала назад тоска по утраченному великолепию. За нею с конфузливыми улыбками показались еще двое, а потом еще один, усатый. Усатому была очередь ехать в роскоши только на второй день, и он не мог вытерпеть. Его появление вызвало особенно возбужденные крики, на которые не замедлил появиться проводник.

— Что же это, граждане, — сказал он казенным голосом, — целая шайка-лейка собралась. Уходите, которые из жесткого вагона. А то пойду к главному.

Шайка-лейка оторопела.

— Это гости, — сказала девушка, запечалившись, — они пришли только посидеть.

— В правилах *запрещается,* — заявил проводник, — уходите.

Усатый попятился к выходу, но тут в конфликт вмешался великий комбинатор.

— Что ж это вы, папаша? — сказал он проводнику. — *Пассажиров* не надо линчевать без *особенной* необходимости. Зачем так точно придерживаться буквы закона? Надо быть гостеприимным. Знаете, как на Востоке! Пойдемте, я вам сейчас все растолкую. *Насчет гостеприимства.*

Поговорив с Остапом в коридоре, проводник настолько проникся духом Востока, что, не помышляя уже об изгнании шайки-лейки, принес *даже* девять стаканов *чаю* в тяжелых подстаканниках и весь запас индивидуальных сухарей. Он даже не взял денег.

— По восточному обычаю, — сказал Остап обществу, — согласно *законам* гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора.

Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять. Трещали разрываемые сухарные пакетики, Остап по-хозяйски раздавал чай и вскоре подружился со всеми восемью студентами и одной студенткой.

— Меня давно интересовала проблема всеобщего, равного и тайного обучения, — болтал он радостно, — недавно я даже беседовал по этому поводу с индусским философом-любителем. Человек крайней учености. Поэтому, что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить — есть за ним такой грешок, — то пластинок скопилось восемьсот вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы.

Начав с этой вольной импровизации, великий комбинатор взял в руки сухарик.

— Этому *сухарю*, — сказал он, — один шаг до точильного камня. И этот шаг уже сделан.

Дружба, подогреваемая шутками подобного рода, развивалась очень быстро, и вскоре вся шайка-лейка под управлением Остапа уже распевала частушку:

У Петра Великого
Близких нету никого.
Только лошадь и змея —
Вот и вся его семья.

К вечеру Остап *знал всех по именам* и с некоторыми был уже на *ты*. Но многого из того, что говорили молодые люди, он не понимал. Вдруг он показался себе ужасно старым. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная, какая-то обидно нехитрая. Он был другим в свои двадцать лет. Он признался себе, что в свои двадцать лет он был гораздо разносто-

роннее и хуже. Он тогда не смеялся, а только посмеивался. А эти смеялись вовсю.

«Чему так радуется эта толстомордая юность? — подумал он с внезапным раздражением. — Честное слово, я начинаю завидовать».

Хотя Остап, несомненно, был центром внимания всего купе и речь его лилась без задержки, хотя окружающие и относились к нему наилучшим образом, но не было здесь ни балагановского обожания, ни трусливого подчинения Паниковского, ни преданной любви Козлевича. В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конферансье. Зритель слушает человека во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но в конце концов уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конферансье. А конферансье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату по Рабису — опереточному комику, что публика его не понимает, а правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А что там не понимать? Остроты стары, и приемы стары, а переучиваться поздно. Все, кажется, ясно.

История с Бубешко, преуменьшившим планы, была рассказана вторично, на этот раз специально для Остапа. Он ходил со своими новыми друзьями в жесткий вагон убеждать студентку Люду Писаревскую прийти к ним в гости и при этом так краснобайствовал, что застенчивая Люда пришла и приняла участие в общем гаме. Внезапное доверие разрослось до того, что к вечеру, прогуливаясь по перрону большой узловой станции с девушкой в мужском пальто, великий комбинатор подвел ее почти к самому выходному семафору и здесь, неожиданно для себя, излил ей свою душу в довольно пошлых выражениях.

— Понимаете, — втолковывал он, — светила луна, королева ландшафта. Мы сидели на ступеньках музея древностей. И вот я почувствовал, что я ее люблю. Но мне пришлось в тот же вечер уехать, так что дело расстроилось. Она, кажется, обиделась. Даже наверно обиделась.

— Вас послали в командировку? — спросила девушка участливо.

— М-да. Как бы командировка. То есть не совсем командировка, но срочное дело. Теперь я страдаю. Величественно и глупо страдаю.

— Это не страшно, — сказала девушка, — переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь трудового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение.

Остап пообещал переключиться и, хотя не представлял себе, как он заменит Зосю пилкой дров, все же почувствовал большое облегчение. Они вернулись в вагон с таинственным видом

и потом несколько раз выходили в коридор пошептаться о *неразделенной* любви и о новых течениях в этой области.

В купе Остап по-прежнему выбивался из сил, чтобы понравиться компании. И он *добился*, что студенты стали *смотреть на него, как на своего*. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул:

— Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей. Будешь жить как бог. У нас — столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем, на практику.

— Я уже окончил один гуманитарный вуз, — торопливо молвил великий комбинатор.

— А что ты теперь делаешь? — спросил Паровицкий.

— Да так, по финансовой линии.

— Служишь в банке?

Остап *внезапно* сатирически посмотрел на студента и *внятно* сказал:

— Нет, не служу. Я миллионер.

Конечно, это заявление ни к чему не обязывало Остапа и все можно *было* обратить в шутку, но Паровицкий засмеялся с такой надсадой, что великому комбинатору стало обидно. Его охватило желание поразить спутников, вызвать у них еще большее восхищение.

— Сколько ж у вас миллионов? — спросила девушка в гимнастических туфлях, подбивая его на веселый ответ.

— Один, — сказал Остап, *бледнея* от гордости.

— Что-то мало, — заявил усатый.

— Мало, мало! — закричали все.

— Мне достаточно, — сказал Бендер торжественно.

С этими словами он взял свой чемодан, щелкнул никелированными застежками и высыпал на диван все его содержимое. Бумажные плитки легли расползающейся горкой. Остап перегнул одну из них, и обертка лопнула с карточным треском.

— В каждой пачке по десять тысяч. Вам мало? Миллион без какой-то мелочи. Все на месте. Подписи, паркетная сетка и водяные знаки.

При общем молчании Остап сгреб деньги обратно в чемодан и забросил его на багажник жестом, который *Остапу* показался царственным. Он снова сел на диван, отвалился на спинку, широко расставил *колени* и посмотрел на шайку-лейку.

— Как видите, гуманитарные науки тоже приносят плоды, — сказал миллионер, приглашая студентов повеселиться вместе с ним.

Студенты молчали, разглядывая различные кнопки и крючки на орнаментированных стенках купе.

— Живу как бог, — продолжал Остап, — или как полубог, что в конце концов одно и то же.

Немножко подождав, великий комбинатор беспокойно задвигался и воскликнул в самом дружеском тоне:

— Что ж вы, черти, приуныли?

— Ну, я пошел, — сказал усатый, подумав, — пойду к себе, посмотрю, как и чего.

И он выскочил из купе.

— Удивительная вещь, замечательная вещь, — заметил Остап, — еще сегодня утром мы не были даже знакомы, а сейчас чувствуем себя так, будто знаем друг друга десять лет. Что это, флюиды действуют?

— Сколько мы должны за чай? — спросил Паровицкий. — Сколько мы выпили, товарищи? Девять стаканов? Или десять? Надо узнать у проводника. Сейчас я приду.

За ним снялись еще четыре человека, увлекаемые желанием помочь Паровицкому в его расчетах с проводником.

— Может, споем что-нибудь? — предложил Остап. — Что-нибудь железное? Например, «Сергей поп, Сергей поп!». Хотите? У меня дивный волжский бас.

И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывет». Когда пришло время подхватывать припев, Остап покапельмейстерски взмахнул руками и топнул ногой, но грозного хорового крика не последовало. Одна лишь Люда Писаревская по застенчивости пискнула: «Сергей поп, Сергей поп», но тут же осеклась и выбежала в коридор.

Дружба гибла на глазах. Скоро в купе осталась только добрая и отзывчивая девушка в гимнастических туфлях.

— Куда это все убежали? — спросил Бендер.

— В самом деле, — прошептала девушка, — надо узнать.

Она проворно бросилась к двери, но несчастный миллионер схватил ее за руку.

— Я пошутил, — забормотал он, — я трудящийся! Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!..

— Пустите! — зашипела девушка.

Великий комбинатор остался один.

Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стаканах, и все чайное стадо потихоньку сползало на край столика. В дверях показался проводник, прижимая подбородком стопку одеял и простынь.

Глава *тридцать пятая*

Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник

В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер срывал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз, к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади.

Антилопа на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость: левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе *груши*

с матчишем висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось *на* сторону. На тротуаре, рядом с *Антилопой*, стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил:

— Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни *«Изотто-Фраскини»*, ни *«Линкольна»*, ни *«Бьюика»*, ни даже *«Форда»*. Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственно, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, *это* такую же рухлядь, как наша *Антилопа.*

— Почему же, — возразил Козлевич, — мой *«Лорен-Дитрих» д*обрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких *«Бьюиков»*.

— Шланг я вам привез, — сказал Остап, — вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта.

Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал:

— Вы знаете, Адам, новость — на каждого гражданина давит столб воздуха силою в *214* кило.

— Нет, — сказал *Адам*, — а что?

— Как что*!* Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! *214* кило! *Давит* круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю. Что?

— Ничего, я слушаю, — ласково ответил Козлевич.

— Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце.

Водитель *Антилопы* хмыкнул, Остап продолжал болтать:

— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?

— Нет, нет, продолжайте, — сказал Козлевич сочувственно.

— Так вот и живу, — продолжал Остап с дрожью в голосе. — Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей

даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.

— А вы у нее были? — спросил прямолинейный Козлевич. — У Зоси Викторовны?

— Не пойду, — сказал Остап, — по причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной *врач!* Нет, Адам, я туда не пойду. До *свидания, Адам!*

Козлевич долго смотрел вслед удаляющемуся Остапу, потом задумчиво завел мотор и поехал прочь.

Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к *приморскому* бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами.

— Довольно, — сказал Остап, — золотой теленок не про меня. Пусть берет кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе!

Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий.

— Пожалуйста, — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался.

Он пошел по аллее не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности.

— Ты куда?! — закричал Остап еще издали. — Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Безобразие!

Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках.

«Что ж теперь делать? — размышлял он. — Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?»

На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием.

«Как раз в моем номере есть камин. *Сжечь в* камине! Это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги — пижонство! Гусарство! А что я могу на них сделать, кроме *нэпмановского* жранья? Дурацкое положение! Музейный заведующий собирается за триста рублей Лувр учинить, любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драмписателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе! А Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать! Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку!»

Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход.

«Нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги — *это* трусливо и не грациозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить пятьдесят тысяч серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать *Антилопу* перламутром? А может быть...»

Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Не медля ни минуты, он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт. Там по его просьбе чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки.

Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, *надписал*:

Ценная

Народному комиссару финансов
Москва

И посылка, *сброшенная* рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных *тюков*, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый *старик* с белыми молниями в петлицах.

— Заседание продолжается, — сказал великий комбинатор, — на этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О. Бендера.

Он долго еще *сидел* под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Оста-

па. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не *купил* второй шубы.

Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамтских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо короче платья и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю, и он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения.

На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку.

У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки.

— Вы вовремя ушли из *ГЕРКУЛЕС'а*, Иван Павлович, — говорил один, прижимая к груди портфель, — там сейчас разгром, чистят, как звери.

— Весь город говорит, — вздохнул *второй.*

— Вчера чистили Скумбриевича, — сладострастно сказал первый, — пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. «Я, говорит, родился между молотом и наковальней». Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, вы не помните, был такой торговый дом "Скумбриевич и сын, *скобяные* товары"». Вы не тот Скумбриевич? И тут этот дурак возьми и скажи: «Я не Скумбриевич, я сын». Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена.

— Да, товарищ Вайнторг, такие строгости. А сегодня кого чистят?

— Сегодня большой день! Сегодня Берлага, тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев и эта гадюка Серна Михайловна, его морганатическая жена. Она в *ГЕРКУЛЕС'е* никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, Бомзе...

Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не *волновало.* Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку.

— Зося, — сказал он, — я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно.

Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ.

— Вы знаете, Зося, — сказал он наконец, — на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в *214* кило. Вы этого не замечали?

Зося не ответила.

В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось, в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:

Госообъединение *Рога и Копыта*

Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые ворота с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь.

— Вот навалился класс-гегемон, — сказал Остап печально, — даже мою легкомысленную идею — и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен.

— Печальный влюбленный, — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.

— Да, — ответил *он*, — я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью.

— Ну, какой там рыцарь!

— Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И, кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже.

— Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан.

— Это не ложь. Это закон физики. А может быть, действительно, никакого столба нет, и это одна моя фантазия?

Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета *и такой же доброты.*

— Мне тридцать три года, — поспешно сказал Остап, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не со-

здал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил, и только вы...

— Ну, до *свидания*, — сказала Зося, — мне в столовку.

— Я тоже буду обедать, — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску: «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской *государственной* академии пространственных искусств», — съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает.

— Здесь только для членов профсоюза, — предупредила Зося.

— Тогда я так посижу.

Они спустились вниз по трем ступенькам. В глубине учебно-показательного комбината под *пальмой, зеленой, как кровля дома*, сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку.

— Перикл! — еще издали закричала Зося. — Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь. Это Фемиди.

— Фемиди, — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапа.

— Бендер-Задунайский, — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного *ЗАГСом*.

— Как! Разве вы еще и Задунайский? — весело спросила Зося.

— Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая? Судя по носкам...

— *Я Синицкая*-Фемиди.

— Уже двадцать семь дней, — заметил молодой человек, потирая руки.

— Мне нравится ваш муж, — сказал рыцарь, лишенный наследства.

— Мне самой нравится, — ответила Зося запальчиво.

Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культплакаты, развешанные по стенам. На одном было написано: «Не отвлекайся во время еды разговорами. Это мешает правильному выделению желудочного сока». Другой был составлен в стихах: «Фруктовые воды несут нам углеводы». Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость.

— В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения.

Супруги Фемиди добродушно засмеялись.

— А вы, собственно, по какой линии работаете? — спросил Остап молодого человека.

— А я, собственно, секретарь изоколлектива железнодорожных художников, — ответил Фемиди.

Великий комбинатор стал медленно *подыматься.*

— Ах, представитель коллектива! Этого можно было ожидать! Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья.

Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой.

— Увели девушку! — пробормотал он на улице. — Прямо из стойла увели. Фемиди! *Немизиди*! Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера.

И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него *уже нет.* Додумывал он эту мысль *на* бегу, разгребая руками прохожих, как пловец воду в состязании на побитие мирового рекорда.

— Тоже, апостол Павел нашелся! — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. — *Бессребреник,* с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! *Дурак!* Если они уже отправили посылку — повешусь! Убивать надо таких толстовцев!

Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте — в самом хвосте.

— Мне только... — начал Остап.

Но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права.

Только через сорок пять минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу.

— Товарищ, мы посылок обратно не выдаем.

— Как! Уже отправили? — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. — Я только час тому назад сдал!

— Товарищ, мы посылок обратно не выдаем, — повторил почтовый работник.

— Но ведь это моя посылка, — сказал Остап ласково, — понимаете, моя. Я ее отправил, я ее хочу взять назад. Понимаете, забыл вложить банку варенья. Из райских яблочек. Очень вас прошу. Дядя страшно обидится. Понимаете...

— Товарищ, мы обратно посылок не выдаем.

Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются.

— Вложить баночку, — пролепетал Остап, — райские *яблоки*.

— Товарищ, баночку *отправите* отдельной посылкой, — сказал служащий, *смягчаясь*. — Ничего вашему дяде не сделается.

— Вы не знаете моего дяди! — горячо сказал Остап. — И потом я бедный студент, у меня нет денег. Прошу вас как общественника.

— Вот видите, товарищ, — сказал служащий плачущим голосом, — где ее теперь искать! Там три тонны посылок лежит.

Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента. Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.

— Больше никогда этого не делайте, — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.

— Никогда не сделаю! — заявил командор. — Честное студенческое слово!

От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов.

— Довольно психологических эксцессов, — радостно сказал Бендер, — *переживаний* и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь. В Рио-де-Жанейро! Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы!

Глава *тридцать шестая*

Кавалер ордена Золотого Руна

Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту.

Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.

— Проклятое блюдо! — прошептал человек.

Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.

Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых

буклях, золотые часы, портсигары, обручальные кольца, *бриллианты* и другие драгоценные штуки.

Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями:

«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев»,

«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».

Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.

По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстней и браслеток. На спине в три ряда висели на крепких веревочках двадцать пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Среди них были и дарственные экземпляры, о чем свидетельствовала надпись на крышке: «Любимому сыну Сереженьке Кастраки в день сдачи *экзамена* на аттестат зрелости». Над словом «зрелости» булавкой было выцарапано слово «половой». Сделано это было, по-видимому, приятелями молодого Кастраки, такими же двоечниками, как и он сам. Остап долго не хотел покупать эти неприличные часы, но в конце концов приобрел, так как *твердо* решил вложить в драгоценности весь миллион.

Вообще зима прошла в больших трудах. *Бриллиантов* великий комбинатор достал только на четыреста тысяч; валюты, в том числе каких-то сомнительных польских и балканских денег, удалось достать только на пятьдесят тысяч. На остальную сумму пришлось *покупать* тяжестей. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило двадцать фунтов. Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперсного креста с *надписью* «Во имя отца и сына и *св.* духа», который был приобретен у бывшего иподиакона кафедрального собора гражданина Самообложенского. Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна — литой барашек.

Орден этот Остап выторговал у диковинного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, и камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире, да и то большей частью коронованных особ.

— Золотое *руно,* — бормотал старик, — дается за высшую доблесть!

— А у меня как раз высшая, — отвечал Остап, — к тому же я покупаю барашка лишь постольку, поскольку это золотой лом.

Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился, и он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена Золотого Теленка.

Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото — блюдо, крест, *браслетки.* Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Остап со стоном сорвал *его, бросил на* лед и устремился дальше. Теперь обнаружилась шуба, великая, почти необыкновенная шуба, едва ли не самое ценное в туалете Остапа. Он строил ее четыре месяца, строил, как дом, изготовлял чертежи, свозил материалы. Шуба была двойная — подбита уникальными чернобурыми лисами, а крыта неподдельным котиком. Воротник был *шит* из соболей. Удивительная это была шуба! Супершуба с шиншилловыми карманами, которые были набиты медалями за спасение утопающих, нательными крестиками и золотыми мостами, последним достижением зубоврачебной техники. На голове великого комбинатора возвышалась *шапка — н*е шапка, а бобровая тиара.

Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.

В три часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся.

— Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.

Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил:

— Все надо делать по форме. Форма номер пять — прощание с родиной. Ну, что ж, адье великая страна! Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров...

Тут прощание с отечеством по форме *№ 5* было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

— Траяску Романиа Маре!

Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

— Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из *полуподвалов* московской *чека*! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...

Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.

— Но! — сказал командор добродушно. — Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

В это время другой *представитель цивилизации* проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.

— *Бранзуретка*! — взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.

— *Бранзуретка*! — закричали остальные, бросаясь на Остапа.

Запутавшись в шубе, великий комбинатор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События *разворачивались* с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что *облегчение было вызвано тем, что* с него успели содрать стотысячную шубу.

— Ах, такое отношение! — пронзительно запел Остап, дико озираясь.

Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент,

когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя отца и сына и *святаго* духа», истерически выкрикивал:

— Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!

При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и *подымался* с земли, глядя вперед помраченным взором.

Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз, на Остапа.

— Сигуранца проклятая! — закричал Остап, поднимая босую ногу. — Паразиты!

Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к советскому берегу.

Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных *ямках* и кривясь от боли.

Долгий и сильный пушечной полноты удар вызвал *колебание* ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось и *стало* лезть под воду.

— Лед тронулся! — в ужасе закричал великий комбинатор. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню.

Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:

— Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в *дворники!*

ПРИЛОЖЕНИЯ

Глава тридцать четвертая
Адам сказал, что так нужно

В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер срывал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз, к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади.

Антилопа на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость: левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе *груши с матчишем* висел на веревочке никелированный председа-

тельский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось на сторону. На тротуаре, рядом с *Антилопой*, стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил:

— Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни *«Изотто-Фраскини»*, ни *«Линкольна»*, ни *«Бьюика»*, ни даже *«Форда»*. Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственно, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как наша *Антилопа*.

— Почему же, — возразил Козлевич, — мой *«Лорен-Дитрих»* добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких *«Бьюиков»*.

— Шланг я вам привез, — сказал Остап, — вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта.

Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал:

— Вы знаете, Адам, новость — на каждого гражданина давит столб воздуха силою в 214 кило.

— Нет, — сказал Адам, — а что?

— Как что! Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! 214 кило! Давит круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю. Что?

— Ничего, я слушаю, — ласково ответил Козлевич.

— Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце.

Водитель *Антилопы* хмыкнул, Остап продолжал болтать:

— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?

— Нет, нет, продолжайте, — сказал Козлевич сочувственно.

— Так вот и живу, — продолжал Остап с дрожью в голосе. — Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.

— А вы у нее были? — спросил прямолинейный Козлевич. — У Зоси Викторовны?

— Не пойду, — сказал Остап, — по причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной *врач!* Нет, Адам, я туда не пойду. До *свидания, Адам!*

Козлевич долго смотрел вслед удаляющемуся Остапу, потом задумчиво завел мотор и поехал прочь.

Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к *приморскому* бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами.

— Довольно, — сказал Остап, — золотой теленок не про меня. Пусть берет кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе!

Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий.

— Пожалуйста, — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался.

Он пошел по аллее не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако, с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности.

— Ты куда?! — закричал Остап еще издали. — Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Безобразие!

Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках.

«Что ж теперь делать? — размышлял он. — Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?»

На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием.

«Как раз в моем номере есть камин. *Сжечь в* камине! Это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой!

Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги — пижонство! Гусарство! А что я могу на них сделать, кроме *нэпмановского* жранья? Дурацкое положение! Музейный заведующий собирается за триста рублей Лувр учинить, любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драмписателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе! А Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать! Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку!»

Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход.

«Нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги — *это* трусливо и не грациозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить пятьдесят тысяч серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать *Антилопу* перламутром? А может быть...»

Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Не медля ни минуты, он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт. Там по его просьбе чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки.

Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, *надписал*:

Ценная

Народному комиссару финансов
Москва

И посылка, *сброшенная* рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных *тюков*, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый *старик* с белыми молниями в петлицах.

— Заседание продолжается, — сказал великий комбинатор, — на этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О. Бендера.

Он долго еще *сидел* под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не *купил* второй шубы.

Тонкий звон председательского колокольчика, свидетельствовавший о приближении Антилопы, отвлек Остапа от его мыслей. Заметив командора, Адам Казимирович остановил машину и стал манить его пальцем. Позади водителя машины, отвернувшись в сторону, сидела внучка старого ребусника.

— Такси свободен, прошу садиться, — предложил Козлевич, — я за вами в гостиницу «Каир» заезжал, ищу вас по всему городу. Прошу.

И водитель Антилопы, отведя руку назад, отворил дверцу.

— А, Козлевич! — радостно сказал Остап, не глядя на Зосю. — Как маслопроводный шланг? Функционирует?

— Садись, садись! — повторил Козлевич сурово.

— А вот лучше я пойду пешком, — сказал командор, влезая в машину.

Председательский колокольчик отчаянно позвонил, и Антилопа, припадая на переднюю рессору, медленно поехала. Зося внимательно читала вывески на правой стороне улицы. Остап смотрел в спину Адама Казимировича.

— Может быть, я вам мешаю? — спросил он после длительного молчания.

Не оглядываясь, Зося быстро ответила:

— Вы сели на мое платье. Отодвиньтесь, пожалуйста.

— Пожалуйста, — ядовито ответил рыцарь, лишенный наследства.

Снова наступило молчание, прерванное треском и ругательством, которое еле слышно произнес Козлевич. Антилопа остановилась. Шофер залез под машину, а Зося, перегнувшись через борт, давала ему бессмысленные советы. У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки. Их беседа вскоре заинтересовала Остапа.

— Вы вовремя ушли из Геркулеса, товарищ Противотеченский, — говорил один, — там теперь такое делается!.. Разгром!

— Весь город говорит! — вздохнул другой.

— Вчера чистили Скумбриевича, — сладострастно сказал первый, — пробиться нельзя было. Сначала все было замечательно. Скумбриевич рассказал свою биографию так, что ему все аплодировали. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, вы не помните, был такой торговый дом «Скумбриевич и сын». Вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак возьми и скажи: «Я не «Скумбриевич», я сын». Можете себе представить, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена.

— Да, товарищ Вайнторг, прямо ужас! А сегодня кого чистят?

— О! Сегодня большой день. Берлага. Знаете, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам маэстро Полыхаев

И эта гадюка Серна Михайловна, его жена. Она в Геркулесе никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два, а то не протолкаешься. Кроме того, Бомзе...

Козлевич уселся за руль, машина тронулась, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Да это сейчас его и не волновало.

— Вы знаете, Зося, — сказал Остап, — что на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?

Зося не ответила.

В это время Антилопа со скрипом проезжала мимо кино «Капитолий». Остап быстро посмотрел наискось, в сторону, где помещалась летом учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:

Гособъединение Рога и Копыта

Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые ворота с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа идет по правильному пути.

— Вот навалился класс-гегемон, — повторил Остап, — даже мою легкомысленную идею, и ту использовал для своих целей. А меня оттерли. Зося! Слышите, меня оттерли. Я несчастен. Скажите мне слово утешения.

— И после всего, что было, — сказала Зося, впервые поворачиваясь к Остапу, — в утешении нуждаетесь вы?

— Да, я.

— Ну, это свинство.

— Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже.

— Почему вы всегда врете?

— Это не ложь. Это закон физики. А может быть, действительно никакого столба нет. Я уже ничего не понимаю.

Говоря так, пассажиры Антилопы смотрели друг на друга с нежной внимательностью. Они не заметили, что машина уже несколько минут стоит на месте, а Козлевич смотрит на них, подкручивая двумя руками свои кондукторские усы. Приведя усы в порядок, Адам Казимирович, кряхтя, сошел на землю, отстегнул дверцу и громогласно сообщил:

— Прошу выходить. Приехали. Еще нет четырех часов, как раз успеете. У них это быстро, не то, что в костеле — китайские церемонии. Раз, раз — и готово. А я здесь подожду.

Остап ошеломленно посмотрел перед собой и увидел обыкновенный серенький домик с обыкновеннейшей серенькой вывеской: «Отдел Записей Актов Гражданского Состояния».

— Это что? — спросил он Козлевича. — Так нужно?

— Обязательно, — ответил водитель Антилопы.

— Слышите, Зося, Адам говорит, что это обязательно нужно.

— Ну, раз Адам так говорит... — сказала девушка дрожащим голосом.

Командор и внучка старого ребусника вошли в серенький домик, а Козлевич снова залез под машину. Он задумал во время свадебного шествия в дом невесты дать Антилопе предельную скорость — двенадцать километров. Для этого надо было проверить механизмы.

Он все еще лежал под автомобилем, когда супруги вышли из Отдела Записей.

— Мне тридцать три года, — сказал великий комбинатор грустно, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого не воскресил.

— Вы еще воскресите мертвого, — воскликнула Зося, смеясь.

— Нет, — сказал Остап, — не выйдет. Я всю жизнь пытался это сделать, но не смог. Придется переквалифицироваться в управдомы.

И он посмотрел на Зосю. На ней было шершавое пальтецо, короче платья, и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто, и на среднем пальце Остап увидел маленькое чернильное пятно, посаженное только что, когда Зося выводила свою фамилию в венчальной книге. Перед ним стояла жена.

Илья Ильф
Евгений Петров

1931 год
Москва

Великий комбинатор

Роман

1 часть

Начата — 2 августа 1929 г.
Окончена — 23 августа 1929 г.

Глава первая
О том, как Паниковский нарушил конвенцию

Железнодорожный пейзаж одинаков во всем мире.

Подъезжая к Риму, путешественник видит точно такие же семафоры, какие запирают вход в Архангельск. Подтягиваясь к Самарканду, Чикаго, Мюнхену, Пекину или Ницце, поезда минуют одни и те же сооружения: стрелочные посты, круглые паровозные депо, водокачки с подвижными хоботами и мастерские с мелкими оконными переплетами, где обязательно выбито несколько стекол.

Когда смешанный товарно-пассажирский поезд, беспокойно посвистывая и раскачиваясь, покинул узловую станцию Арбатов, единственный высадившийся на перрон пассажир посмотрел по сторонам с несколько ироническим любопытством. Он увидел то, что мог бы увидеть на подступах к Вене или Рио-де-Жанейро и что множество раз видел у ворот больших и малых русских городов.

Пассажир повернулся спиною к постылым железнодорожным деталям, щелкнул ногтем по станционному колоколу и, сопровождаемый ангельским звоном, вышел на площадь.

Такой площади путешественник не увидел бы ни в Риме, ни в Мюнхене, ни даже в Архангельске. Навстречу ему, с противоположного вокзалу края, шел гигантский мужчина, несший на плечах женщину, словно ворох белья. Мужчина осторожно погружал в жидкую грязь голые ноги. Так ходят по воде не

умеющие плавать купальщики. Подойдя к вокзалу, гигант снял с плеч свою ношу и бережно поставил ее на ступеньку. Совершив этот человеколюбивый поступок и получив за него медную монету, гигант уселся на краю болота.

Пассажир, с интересом следивший за действиями человека-парома, вежливо снял фуражку с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, и сказал:

— А есть в городе, кроме вас, еще какие-нибудь перевозочные средства? Механические экипажи? Таратайки? Конно-железная городская дорога? Метрополитен?

— Ничего нету, — ответил верзила, подумав. — То есть извозчики есть. Это верно. Только сюда они не заезжают. Глубоко.

Через несколько минут дружественной беседы выяснилось, что в городе Арбатове есть даже и прокатный автомобиль, но в него уже два месяца никто не садится.

— Боятся, — сказал человек-паром с насмешкой.

Больше ничего от человека-парома приезжему добиться не удалось.

Он откозырял своему собеседнику и, помахивая саквояжем, вознамерился переправиться через площадь собственными силами. С брезгливостью кошки, которая боится промочить лапы, приезжий прошелся по краю великих грязей и отступил. Как видно, он дорожил своими столичными башмаками и белыми теннисными брюками, облекавшими его могучие плебейские ноги. Верзила следил за ним равнодушным взглядом.

— Значит, погибать? — сказал приезжий. — Что ж! Таковы суровые законы жизни. Гражданин! Считайте меня своим клиентом!

— Поедем? — спросил человек-паром, оживляясь. — Две копейки перевоз. И за сундучок копейку.

— Это за ручной-то багаж? Копейку? Ну ладно, ладно, вези.

Взбираясь на скользкие каменные плечи верзилы, приезжий озабоченно осведомился:

— Горючего хватит?

Верзила вдруг захихикал и, прижав к животу ноги пассажира, поскакал через болото. Пассажир клонился то влево, то вправо, оберегая брюки от трефовых грязевых шлепков.

— Эй ты, корабль пустыни! — кричал он. — Потише! Не пассажиры для транспорта, а транспорт для пассажиров!

Смущенный этими высокопарными возгласами, арбатовский корабль пустыни замедлил ход. Это позволило пассажиру спокойно оглядеться.

Он увидел городок, поместившийся в зеленых рощах, увидел десятка полтора серых, голубых и красно-белых звонниц,

бросились ему в глаза золотые с чернью церковные купола и флаг клубничного цвета, трещавший над официальным зданием. Удовлетворенный осмотром, он снова обратился к своему экипажу:

— Ну, тащися сивка пашней десятиной, выбелим железо о сырую землю!

И уже на сухом берегу, именовавшемся Бульваром Молодых Дарований, приезжий воскликнул:

— За неимением передней площадки схожу с задней. В Москве за такие штучки виновного предают огненному погребению, но у вас, я думаю, такого делячества еще не наблюдается.

На этом он и расстался с арбатовским рикшей, выдав ему весь наличный капитал — двенадцать копеек.

Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девушки с раскрытыми книжками в руках. Лоскутные тени падали на страницы книг, на желтые локти и на трогательные провинциальные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло некоторое движение. Девушки, прикрывшись книгами Ляшко, Бичер-Стоу и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал среди бульварных читательниц парадным шагом и вышел к зданию горисполкома. Через две минуты он уже стучался в дверь кабинета председателя.

— Куда? Куда, товарищ? — спросил его секретарь, сидевший за столом, рядом с дверью. — Вам зачем к председателю? По казенному делу или по личному?

Если бы приезжий был неопытным визитером госучреждений, он, вероятно, поспешил бы заявить, что прибыл по срочному казенному делу. Но он был человеком дошлым и точно знающим систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций.

— По личному, — сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. — Здравствуйте, товарищ председатель.

И очутился с глазу на глаз с председателем горисполкома.

— Вы меня узнаете?

Председатель, черноглазый, большеголовый человек в синем пиджаке и таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблуках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.

— Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.

— Я тоже похож на своего отца, — нетерпеливо сказал председатель, — вам чего, товарищ?

— Принимаю ваши слова, как отдаленное приближение к шутке, — быстро ответил посетитель. — Я сын лейтенанта Шмидта.

Председатель смутился и приподнялся. Он сразу вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным усатым лицом и в черном плаще с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом ломбардного оценщика.

Когда-то, в царские времена, меблировка присутственных мест производилась по трафарету. Выведена была особая порода казенной мебели. За время революции эта порода почти исчезла, и секрет ее был, как видно, утерян. Стало неизвестно, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах появились предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились ореховые адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, раздвижные кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, находились два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатенькая козетка, атласный экран и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.

«А шкафчик-то типа «Гей, славяне!», — подумал посетитель, — тут много не возьмешь. Ну, ничего. Червонец — тоже деньги!»

— Очень хорошо, что вы ко мне зашли, — сказал председатель растерянно. — Вы, вероятно, из Москвы?

— Разумеется, — ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь в том, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные дорогой шведской мебелью.

Председатель хотел было задать вполне законный вопрос о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя сказал:

— Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?

— Смутно, — ответил посетитель, улыбаясь, — мне тогда шел только пятый годик.

— Простите, как ваше имя?

— Николай. Николай Шмидт.

— А по батюшке?

«Плохо дело, — подумал посетитель, — может быть, здесь уже побывал какой-нибудь внук Карла Маркса, и председатель стал человеком опытным».

— Да-а, — протянул он, уклоняясь от прямого ответа, — теперь многие не знают имен героев. Угар НЭПа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город по чистой случайности. Задержка в пути. Непредвиденные расходы...

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным то, что он забыл имя очаковского героя.

«Действительно, — думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо гостя, — глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь».

— Как вы говорите? Расходы? Я слушаю.

— Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, — сказал посетитель, — мне всякий даст, но вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения...

— И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, — сказал совсем запутавшийся председатель.

После этого все пошло сравнительно легко. Сын героя просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Тарантелла».

Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного, серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался предостерегающий возглас секретаря. Дверь с шумом растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.

— Кто здесь главный? — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по пуфикам.

— Ну, я, — неохотно признался председатель.

— Здоров, председатель! — гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. — Будем знакомы! Сын лейтенанта Шмидта.

— Кто? — спросил глава города, тараща добрые глаза.

— Сын великого незабвенного героя лейтенанта Шмидта! — повторил пришелец.

— А вот же товарищ сидит — сын товарища Шмидта. Николай Шмидт.

И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.

В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для созда-

ния спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас.

Его фигура в полосатой легкой рубашке «Парагвай», матросских штанах и голубоватых парусиновых туфлях, только что еще резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения.

Между тем в дверях появилась недоброжелательная физиономия секретаря. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что председательский гнев падет сейчас на его рыжую голову, пришло спасение.

— Вася! — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. — Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

— Узнаю! — заревел прозревший наконец Вася. — Узнаю брата Колю!

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.

Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого, однако, не сходила скверная улыбка. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от четкости, подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустились на козетку и, не спуская льстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.

— До чего удивительная встреча! — фальшиво воскликнул первый сын, приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.

— Да, — сказал председатель замороженным голосом. — Бывает.

Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям и ласково спросил:

— Когда же ты приехал из Екатеринослава, где ты жил у нашей бабушки?

— Да, я там жил, — пробормотал второй сын лейтенанта, — у нее.

— Что же ты мне так редко писал? Я так беспокоился.

— Занят был, — угрюмо ответил рыжеволосый.

И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных

республик и областей), второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и задал вопрос сам.

— А ты почему не писал?

— Я писал, — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. — Заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.

И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек. Но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.

Как это ни странно, вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый брат вполне освоился с обстановкой и монотонно, но довольно толково рассказал содержание брошюры «Мятеж на "Очакове"». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель снова загрустил о трех талонах и восьми рублях.

Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.

За углом исполкомовского дома они остановились.

— Кстати, о детстве, — сказал первый сын, — в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

— Почему? — радостно спросил второй сын знаменитого отца.

— Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы бы еще вышли на многолюдную площадь и обнародовали бы свою принадлежность к семье Шмидта. Тогда бы даже я не смог вас спасти. Разве вы не видели, что председатель не один?

— Я думал...

— Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы — мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?

Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.

— Ну, я вас прощаю. Живите. Размножайтесь. Давайте познакомимся. Как-никак братья. Родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию.

— Балаганов, — представился рыжеволосый, — Шура Балаганов.

— О профессии не спрашиваю, — учтиво сказал Бендер, — но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное! Судимостей много?

— Две, — свободно ответил Балаганов. — В этом году.

— Вот это нехорошо. Более того — это плохо. За что вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться.

Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно — мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, это к тому же бесцельная трата сил и энергии...

Остап долго бы еще развивал свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.

— Смотрите, — сказал он, указывая на зеленые глубины Бульвара Молодых Дарований. — Видите, вон идет человек в соломенной шляпке.

— Вижу, — высокомерно сказал Остап. — Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?

— Это Паниковский, — сказал Шура, — сын лейтенанта Шмидта.

По аллее, в тени августейших лип, склонясь немного набок, двигался гражданин самого приятного вида. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, изредка вспыхивал золотой зуб.

— Это становится забавным, — сказал Остап.

Паниковский направился прямо к зданию горисполкома.

— Его нужно предостеречь, — заметил Бендер, — не верится, чтобы после нашего посещения председатель отнесся к третьему сыну лейтенанта Шмидта миролюбиво.

— Не надо, — сказал Балаганов, — пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.

— Что еще за конвенция такая?

— Подождите. Потом скажу. Смотрите, он вошел.

— Я человек завистливый, — сознался Бендер, — но тут завидовать нечему. Но я также и любопытен. Пойдем, посмотрим.

Сдружившиеся дети лейтенанта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.

За туманным, немытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову и зашевелил губами. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к сальному пиджаку, он остановился перед столом и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик.

Со словами «Отбой! Все назад!» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.

— Снимите шляпы, — сказал Остап, ликуя, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Остап не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома

показались два дюжих курьера. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.

— Прах покойного, — комментировал Остап, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Курьеры вытащили дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя на синее небо.

— После непродолжительной гражданской панихиды... — начал Остап.

И в ту же самую минуту курьеры, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

— ... Тело было предано земле, — закончил Бендер.

Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь на бок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.

— Ну, теперь расскажите, — промолвил Остап, — каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.

Глава вторая

Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта

Хлопотливо проведенное утро закончилось. Стало жарко. В бричке, влекомой толстыми казенными лошадьми, проехал заведующий Уземотделом, закрываясь от солнца портфелем. У палатки мороженщика стояла небольшая очередь граждан, желающих освежиться мороженым с вафлями. Голый мальчуган с пупком, выпуклым, как свисток, мыкался среди девушек, которые все еще рассеянно листали свои книги.

В другое время Остап Бендер, чувствительный ко всему прекрасному, не оставил бы девушек без внимания. Ему нравились чистые души провинциалок и стремление их ко всему возвышенному. Но сейчас ему хотелось есть.

— Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? — спросил он Балаганова.

— Если бы на краю! — воскликнул Шурка Балаганов. — В том-то и дело, что я лечу в нее уже целую неделю.

— В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, — наставительно сказал Остап. — Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей. В нее можно падать всю жизнь. Впрочем, воспряньте! Я все-таки унес в своем клюве три талона на обед. Это делает честь душевным качествам председателя исполкома.

Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. Столовая «Тарантелла» была закрыта на замок.

— Конечно, — с горечью сказал Остап, — по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда! Придется отдать свое тело на растерзание частникам. К счастью, председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас ряд мелких услуг.

Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедали в летнем кооперативном саду «Искра», где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:

Пиво отпускается только членам профсоюза.

— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов.

— Тем более, — добавил Остап, — что местные квасы изготавливаются артелью частников, сочувствующих советской власти.

После обеда Бендер закурил папиросу и, рассыпая пепел по столу, молвил:

— Ну, теперь расскажите, в чем провинился головорез Паниковский. Я люблю рассказы о мелких жульничествах.

Рассказ или, вернее, доклад (настолько Балаганов уже проникся уважением к своему спасителю) продолжался часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения.

Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами. Рациональным распределением рабочей силы занимаются и биржи труда, и профессиональные организации, и сами хозяйственники.

Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги, или о том, что Средне-Азиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожихах. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнаёт, что есть на свете эксперт-товаровед с шестидесятилетним стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции.

Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой.

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находится в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она несомненно могла принести.

Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.

По всей стране, вымогая или клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. Отряды мифических родственников усердно разрабатывают природные богатства страны: добросердечие, раболепство и низкопоклонничество.

От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.

Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые — и мешали друг другу собирать в житницы.

Шурка Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.

— И вы убоялись все возрастающих трудностей? — насмешливо спросил Остап.

Но Шурка Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свой реферат.

Выход из этого напряженного положения был один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым передал приглашения через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года, почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в мос-

ковском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик — у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, утаившие свои лета.

В краткой приветственной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передавался в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имел права переходить границы и вторгаться на чужую территорию. С целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда уже заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны нахамили в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе, как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.

— А что, разве это такая плохая республика? — невинно спрашивал Балаганов. — Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!

— Знаем, знаем! — кричали разволновавшиеся дети. — У немцев возьмешь!

Видимо, не один из собравшихся сидел у культурных людей в тюремном плену.

Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

— Нашли дураков! — визгливо кричал Паниковский. — Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

— Как! Всю возвышенность?! — язвил Балаганов. — А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

— Ну, не всю возвышенность, — настаивал жадный Паниковский, — хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, У меня две семьи!

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита, — все республики, все области лежали в чьей-то меховой шапке с наушниками и ждали хозяев.

Веселые возгласы, глухие стоны и грязные ругательства сопровождали жеребьевку.

Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход жеребьевки. Ему досталась бесплодная и мстительная республика немцев Поволжья. Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

— Я поеду! — кричал он. — Но предупреждаю, если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.

Балаганов, которому достался золотой Арбатовский участок, примыкавший к республике немцев, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.

Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы.

— И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию! — закончил свое повествование Шурка Балаганов. — Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.

Против ожидания рассказчика, неэтичный поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторанного сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Других деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали.

К воротам сада, непрерывно стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!» Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час — три рубля. За конец — по соглашению. Пассажиров в машине не было.

Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:

— Такси свободен! Прошу садиться!

Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!». И даже самое приглашение шофера подей-

ствовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Граждане печально посмотрели ему вслед. Через пять минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем сидении и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему.

Остап проводил ее взглядом и сказал:

— Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я просто хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.

— Я вас не понимаю, — напыщенно сказал Балаганов.

— Это происходит от того, что в вашей черепной лоханке чего-то не хватает, — любезно разъяснил Остап.

— Идите к черту! — грубо сказал Балаганов.

— Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему должность лейтенантского сына это не пижонство?

— Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! — вскричал Балаганов.

— Вы пижон, — повторил Остап, — и сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность. Каприз мастера. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. Нет ничего печальнее хождения по дорожке, проторенной стадом бизонов.

— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово ответил Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапы за кислым исполкомовским рублем. Сообщите предел ваших мечтаний в материальных ценностях.

— Пять тысяч, — быстро ответил Балаганов.

— В месяц?

— В год.

— Значит, нам с вами не по пути, потому что мне нужно пятьсот тысяч. По возможности сразу, а не частями.

— Может, все-таки возьмете частями? — спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить и по поводу этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий светлый шрам. Глаза сверкали грозным весельем.

— Где же вы возьмете пятьсот тысяч? — тихо спросил Балаганов.

— Где угодно, — ответил Остап. — Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.

— Как? Убийство? — еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где пировали арбатовцы.

— Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой Сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев. Но я чту уголовный кодекс. Это моя слабость.

— Как же думаете произвести отъем денег?

— Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста честных способов отъема. Честных — подчеркиваю. Но не в этом дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое почтение к уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но их нет!

— Как же нет! — воскликнул Балаганов. — Есть очень богатые люди!

— А вы их знаете? — сказал Остап. — Можете вы назвать фамилию хоть одного советского миллионера? А ведь они есть! Я вам больше скажу — их немало. Но как их найдешь? Работать с легальным миллионером — одно удовольствие. Легальный миллионер живет в особняке. Адрес его известен. Он — популярная фигура в стране. Идешь прямо к нему на прием и после первых же приветствий отнимаешь деньги. Но у нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин со своим могучим налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в летнем саду «Искра», за соседним столиком и пьет сорококопеечное пиво. Вот что обидно!

В продолжение этой тирады Балаганов нервно ласкал пальцами бутылку из-под кваса. Заметно было, что он о чем-то думает. На его безмятежном лбу зарябили непривычные морщины.

— Я знаю миллионера, — проговорил он, — можем сделать дело.

С Бендера мигом слетело все оживление. Он как будто даже опечалился.

— Можно, — сказал он сонно, — где же он живет, ваш миллионер? Откуда вам известно, что он миллионер?

— Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в Одесском ДОПРе. Мне там об этом говорили несколько очень опытных шниферов. Они интересовались несгораемым шкафом и даже сделали в его квартире проверку. Но, оказывается, он дома ничего не держит. Вообще ничего не известно. Доказательств — никаких. Но все говорят, что этот человек делает сейчас миллионные обороты. Гений частного капитала.

— А может быть, у него всего тысяч десять? Вы знаете, Балаганов, что в Одессе человек с десятью тысячами даже в старое время назывался миллионером! Пылкий город!

— Ну, мне говорили люди совсем не пылкие. Это страшно ловкий человек. Он связан с многими трестами. Но решительно никаких доказательств!

— Это хорошо, — сказал Остап, — что нет доказательств. Во-первых, правосудие не сможет его утащить и этим сорвать нашу кампанию. Во-вторых, мне в голову пришла идея.

Остап посмотрел на Балаганова, как бы определяя его удельный вес. И продолжал:

— Королева всех идей. Но вы, между прочим, скажите мне фамилию и адрес одесского Рокфеллера.

— Фамилия Рокфеллера — Корейко, — сказал Балаганов, — я его видел в лицо, мне его показывали. Адрес чепуха. Я узнаю его в пять минут.

— Достаточно, — сказал Остап.

— А королева всех идей?

— Это я сообщу вам на поприще нашей будущей деятельности — в Одессе. Кстати, чемоданы ваши упакованы? Зубную щетку не забыли? Зубы взяли? Я стар. Мне двадцать девять лет. Но вкус к деньгам я еще не потерял.

Остап скинул морскую фуражку и, выставляя на показ черную блестящую шевелюру, закричал:

— Есть у меня седые волосы?

— Никак нет, — сказал Балаганов.

— Значит, будут. Нам предстоят великие бои под Одессой. Вы тоже поедете, Балаганов. Готовьте перевозочные средства.

Глава третья

Бензин ваш — идеи наши

За год до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Робинзоном автомобильного дела был шофер по фамилии Цесаревич.

К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Цесаревича была греховна. Он беспрестанно нарушал уголовный кодекс РСФСР, а именно статью 162, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества (кража). Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему также не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, а равно, хотя и без указанных условий, совершенное на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).

Но Цесаревичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства, и тогда, когда он обходился без них: его ловили на вокзалах, пристанях, пароходах и в гостиницах. В вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами.

Просидев в общей сложности года три, Адам Цесаревич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься честным накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «За решеткой» и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Цесаревич Адам Казимирович, 46 лет, происходящий из крестьян б.Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком.

После двух лет работы в одном из московских гаражей, он приобрел в полную собственность авто-рыдван, некогда носивший марку «Лорен-Дитрих», выкрасил его в зеленый цвет и, не желая вступить на гибельный путь конкуренции с государственными таксомоторами, покинул шумную столицу. Арбатов, лишенный автомобильного хозяйства, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда.

Адаму Казимировичу представлялось, как плодотворно и благостно он будет работать на ниве частного проката. В будние дни, по утрам он дежурил у вокзала, поджидая московского поезда. Завернувшись в оленью доху и подняв на лоб консервы, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами.

Где-то сзади сконфуженно жмутся извозчики. Наконец приходит гремучий поезд. Деловые люди спускаются по вокзальным ступенькам и с приятным удивлением останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в таком захолустье уже восторжествовала идея автопроката. Трубя в рожок, Цесаревич мчит пассажиров в гостиницу «Адриатика». Работа есть на весь день. Все рады воспользоваться услугами механического транспорта. Цесаревич и его «Лорен-Дитрих» — непременные участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Летом работы еще больше. По воскресеньям на машине Цесаревича выезжают за город целые семьи. Раздается счастливый смех детей, ветер треплет шарфы и ленты, женщины весело лепечут, отцы семейств с уважением смотрят на шофера и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в Америке.

Но суровая действительность в короткий срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, службами и флюгерами.

Сначала подвел железнодорожный график. Курьерские и скорые поезда проходили станцию Арбатов полным ходом, не останавливаясь. Смешанные поезда приходили только два раза в неделю. Население этих поездов, с котомками и запасными лаптями за спиной, не пользовались машиной из экономических соображений. Экскурсий и торжеств не было, а на свадьбы Цесаревича не нанимали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков и вплетать в лошадиные гривы бумажные цветы.

Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни пестрых шаферов, ни веселых возгласов.

В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-Кооперативной площади, подошли четверо мужчин и долго вглядывались в автомобиль. Потом один из них, горбун, неуверенно спросил:

— Всем можно кататься?

— Всем, — ответил Цесаревич, удивляясь робости арбатовских граждан. — Пять рублей в час.

Мужчины зашептались. До шофера донеслись страстные вздохи и слова: «Прокатимся, товарищи, после заседания? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека недорого. Чего ж неудобного?..»

И впервые поместительная машина приняла в свое кожаное лоно арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затянули: «Быстры, как волны, дни нашей жиз-

ни». Цесаревич взял вторую скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле на лунный тракт. «Что день, то короче к могиле наш путь», — томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами: «По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом».

— Стой! — закричал вдруг горбун. — Поедем обратно. В чем дело? Надо выпить.

В городе захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали, а потом без музыки танцевали польку-кокетку.

Истомленный ночным бдением, Цесаревич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством горбуна продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние: лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон-первач и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах. А ночью зажгли костры и плакали особенно сильно.

В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни риса. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся гигантские охотничьи сапоги, сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и мутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь» с никелированным дамским бюстом, усеянным разноцветными кнопками. А к Цесаревичу на квартиру прислали повестку от народного следователя. Шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец».

Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела.

Новые пассажиры, подобно первым, явились под покровом темноты. Они тоже начали с невинной прогулки за город, но

мысль о водке возникла у них, едва только машина сделала первые полкилометра. Как видно, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали авто-телегу Цесаревича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь.

Только тут Цесаревич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его машины, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.

Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фонарями мимо окрестных рощ, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свою жизнь почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Цесаревич против своей воли снова погрузился в пучины уголовного кодекса, в мир главы третьей, говорящей о должностных преступлениях.

Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они жалобно признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший узко-судебный интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».

После этого наступил крах. Зеленого автомобиля боялись, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Цесаревич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Цесаревич не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им во время ночных поездок.

Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и на его взгляд весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

— Воздух-то какой! Прокатаемся, что ли?

Должностные лица выглядывали из окон и под грохот ундервудов отвечали:

— Сам катайся! Душегуб!

— Почему же душегуб? — чуть не плача спрашивал Цесаревич.

— Душегуб и есть, — отвечали служащие, — под выездную сессию подведешь!

— А вы бы на свои катались! — запальчиво кричал шофер. — На собственные деньги!

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине за свои деньги казалось им просто глупым.

Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с сатанинским смехом кричал:

— Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью!

Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, которым обычно украшали сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Цесаревич продолжал ехать рядом и дразнил чиновника монотонным чтением карманного уголовного требника:

— Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается...

Совслуж трусливо убегал.

— Лишением свободы, — кричал Цесаревич вдогонку, — на срок до трех лет!

Но все это если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное. Материальные дела его были отвратительны. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло.

В таком жалком состоянии застали шофера молочные братья Остап и Балаганов. Они проходили через площадь и, заинтересовавшись забавной машиной, остановились, чтобы получше ее рассмотреть.

— Оригинальная конструкция, — сказал Остап, — заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась сноповязалка системы «Мак-Кармик».

— Отойди! — угрюмо сказал Цесаревич.

— То есть как это «отойди»! Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем эх-прокатиться?

И первый раз за арбатовский период жизни на лице Адама Казимировича появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.

— Пожалуйте, — сказал он, — куда везти?

— На этот раз — никуда, — заметил Балаганов, — денег нету! Ничего не поделаешь, папаша, бедность.

— Все равно, садись! — закричал Цесаревич отчаянно. — Повезу даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!

— Ну что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, влезая в машину. — Кстати, о гостеприимстве. Из чего вы заключили, что мы способны танцевать в голом виде?

— Тут все такие, — ответил шофер, выводя машину на главную улицу, — государственные преступники!

И, томимый желанием с кем-нибудь поделиться, он рассказал сынам лейтенанта Шмидта всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтается сейчас его зеленый автомобиль.

— Да, — сказал Остап, — трудно теперь честному человеку. Можете считать, что ваша жизнь в Арбатове кончилась.

— Куда ехать? — с тоской спросил Цесаревич. — Куда податься?

Остап подумал, переглянулся с Балагановым и ответил:

— Мир стонет под игом социального неравенства. Наше положение резко отличается от вашего. Вы не знаете, куда ехать, но имеете средства передвижения. У нас этих средств нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?

— Куда? — спросил шофер.

— В Одессу, — сказал Остап. — У нас там небольшое интимное дело. А вам работа найдется. В Одессе ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?

— Стоит ли? — колебался Адам Казимирович.

— В Арбатове вам нечего терять, кроме запасных цепей, — убеждал Бендер. — По дороге голодать не будете. Бензин ваш — идеи наши!

Цесаревич остановил машину и, обернувшись назад, озлобленно воскликнул:

— Вот бензину-то мало!

— На пятьдесят километров хватит?

— Хватит на восемьдесят.

— В таком случае все в порядке. Как я вам уже говорил, в идеях и мыслях у нас недостатка нет. Ровно через шестьдесят километров вас будет прямо на дороге поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?

— Нравится, — застенчиво ответил Цесаревич.

— И эту бочку — сказал Остап, — вы получите совершенно бесплатно. Скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.

— Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетете?

Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и так же тихо ответил:

— Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Они никому не нужны. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.

Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая, якобы, стоит в поле. На это не хватило времени. Адам Казимирович, почуявший, что с молодыми людьми он не пропадет, захотел ехать немедленно. Он осведомился о фамилиях своих компаньонов и представился сам.

— Объявляю большой скоростной пробег Арбатов—Одесса открытым! — торжественно сказал Остап. — Командиром пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется Адам Цесаревич. Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Казимирович, надпись «Эх, прокачу!» надо немедленно изменить.

— Закрасим! — услужливо сказал Цесаревич. — Это можно. Сейчас поедем ко мне в гараж и закрасим. Я еще багаж возьму, и можно будет двинуться.

Через два часа зеленая машина со свежим пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Цесаревича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности борт-механика. Командир пробега развалился на рыжем сидении, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных.

— Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу машинку?

— «Лорен-Дитрих», — ответил Цесаревич.

— Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Надо подыскать хорошее название, характеризующее главные ее особенности. Ваш «Лорен-Дитрих» отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название — Антилопа. Антилопа-Гну. Возражения есть?

Но возражений не было.

Зеленая Антилопа, скрипя всеми своими частями, помчалась по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и вылетела на рыночную площадь. Там взору экипажа Антилопы представилась жанровая картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем по мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криками бежала большая толпа. Убежавший

часто оглядывался назад, и тогда на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.

— Паниковский бежит! — закричал Балаганов.

— Вторая стадия кражи гуся, — холодно заметил Остап. — Третья стадия начнется после поимки виновного. Эта стадия сопровождается чувствительными побоями.

О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в преследовавших сильное раздражение.

— 166 статья, — монотонно сказал Цесаревич. — Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.

Балаганов захохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие.

Машина выбралась на шоссе, прорезав толпу.

— Спасите! — закричал Паниковский, когда Антилопа с ним поравнялась.

— Бог подаст! — ответил Балаганов, свешиваясь за борт.

Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли.

— Возьмите меня! — вопил Паниковский, держась рядом с машиной из последних сил.

Голоса преследователей сливались в общий недоброжелательный гул.

— Может, возьмем гада? — спросил Остап.

— Не надо, — жестоко ответил Балаганов, — пусть в другой раз знает, как нарушать конвенции!

Но Остап уже принял решение.

— Брось птицу! — закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: — Малый ход!

Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и, как ни в чем не бывало, пошел обратно в город.

— Влезайте, — предложил Остап, — черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем.

Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно.

— Полный ход! — скомандовал Остап. — Трубите в сирену!

Балаганов нажал на резиновую грушу, и из медного рожка вырвались старомодные веселые, внезапно обрывающиеся звуки:

Матчиш прелестный танец.
Та-ра-та...
Матчиш прелестный танец.
Та-ра-та...

И Антилопа-Гну вырвалась в синее поле навстречу бочке с авиационным бензином.

Глава четвертая
Антилопа-Гну

Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге. Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и засыпало красной закатной пылью.

Между древним Арбатовым, основанным в 798 году, и Одессой, основанной в 1798 году, лежали — тысяча лет и полторы тысячи километров грунтовой дороги. За эту тысячу лет на проселочной магистрали Арбатов—Черное море появлялись различные фигуры. Сначала двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина в медвежьей шапке. Товары он отбирал, а приказчиков продавал варварам. Шли по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями бродили странники.

Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие. Люди научились строить каменные дома, стали печатать книги, брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы — пароход и паровоз, затрубили автомашины.

А дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике.

Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, — протянулась отечественная дорога мимо деревень, городов, фабрик, хуторов и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По сторонам ее в желтеющих оскверненных травах попадаются скелеты телег и замученные отдыхающие автомобили.

Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Берлина, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в темной лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.

Но все это лунный бред, лирические лохмотья, буря в стакане кипяченой воды. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят сим-

фонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.

— Послушайте, аспирант, — обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором, — приближенные сообщили мне, что ваша фамилия Паниковский. Так ли это?

— Допустим, — ответил Паниковский.

— Кроме того, я сам наблюдал, как за вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.

— Жалкие, ничтожные люди, — сердито забормотал Паниковский.

— Они, по вашему, жалкие и ничтожные, — сказал Остап, — а самого себя вы, очевидно, считаете джентльменом? Так вот. Если вам, как истинному джентльмену, взбредет в голову делать записки на манжетах, вам придется писать мелом.

— Почему? — раздражительно спросил Паниковский.

— Потому что они у вас совершенно черные. По-видимому, от грязи.

— Вы жалкий, ничтожный человек! — быстро заявил Паниковский.

Это была опрометчивая оценка положения. Остап, не повышая голоса, потребовал, чтобы остановили машину, и разрешил Балаганову выбросить из нее нарушителя конвенции. Шурка Балаганов с видимым удовольствием исполнил поручение.

— Идите обратно в Арбатов, — сухо сказал Остап, — там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не нужно. Мы сами грубияны. Едем!

— Я больше не буду! — взмолился Паниковский. — Я нервный!

— Станьте на колени, — сказал Остап.

Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги. Пока на похитителя гуся медленно валилась взбудораженная им пыль, Остап устроил короткое совещание. Паниковского решили взять условно, до первого нарушения дисциплины, и перенести на него обязанности прислуги за все.

Антилопа-Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница.

Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в неожиданно поднявшееся из-за пригорка село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, толпился на-

род. Завидев машину, люди приветственно загалдели и взмахнули шапками. Из толпы вышел мужчина без бороды. В руке он держал листок бумаги.

Проезжая через толпу, Антилопа замедлила ход.

— Товарищи! — крикнул безбородый. — Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Позвольте приветствовать...

Он, видимо, заготовил речь, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.

— Все в Автодор! — поспешно сказал он, ласково глядя на поравнявшегося с ним Остапа. — Наладим серийное производство советских автомобилей.

И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая приветственный гул толпы, выложил последний лозунг:

— Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.

Жулики были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял свою фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым наклонением головы то вправо, то влево.

— Улучшайте дороги! — закричал он на прощание. — Мерси за прием!

И машина снова очутилась среди тихих сумеречных полей.

— Они за нами не погонятся? — озабоченно спросил Паниковский.

— Как! Вы разве успели у них что-нибудь выхватить? — спросил Остап.

— Кроме шуток, — сказал Паниковский, — что случилось? Почему толпа?

— Почему толпа? — передразнил Балаганов. — Люди никогда не видели автомобиля. Ясное дело!

— Обмен впечатлениями продолжается, — отметил Бендер, — слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?

Шофер подумал, пугнул выбежавшую на дорогу собаку звуками матчиша и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника. Праздники такого рода, — разъяснил водитель Антилопы, — часто бывают у селян.

— Да, — сказал Остап. — Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей. Начинаю думать, что никто из вас не получил высшего образования. Во всяком случае, газет

вы не читаете. Между тем газеты читать нужно. Кроме общего развития, газеты часто подают гражданам идеи!

Остап вынул из кармана «Известия».

— Слушайте, что пишет официальный орган!

И Бендер прочел экипажу Антилопы заметку об автомобильном пробеге Москва—Самара—Москва.

— Сейчас, — самодовольно сказал Остап, — мы находимся на линии автопробега, приблизительно в полутораста километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю?

Нижние чины Антилопы молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал грудь под галстуком ящеричного цвета.

— Значит, вы не поняли? Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну, хорошо, хотя это и не в моих правилах, выскажусь более подробно. Первое — крестьяне приняли Антилопу за головную машину автопробега. Второе — мы не отказываемся от этого звания. Третье — более того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, намекая именно на то, что мы головная машина. Четвертое... Впрочем, хватит с вас и трех пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.

Сообщение Бендера произвело огромное впечатление. Цесаревич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал ура.

— Ну, хватит эмоций! — сказал Остап. — Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым. Объявляю привал!

Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что казалось, горит целая деревня. Огонь, сопя, кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке толстый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря:

— Не делайте из еды культа!

После этого он съел огурец сам. Ужинали колбасой, захваченной из дому предусмотрительным Цесаревичем. Глядели на звезды и сонно толковали о завтрашнем дне.

Темно-розовый рассвет поднял на ноги экипаж Антилопы.

— Такого дня, какой предстоит сегодня, — сказал Остап Цесаревичу, — ваше механическое корыто еще не видело и никогда не увидит. Надо подготовиться как следует.

Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку. Адам Казимирович поднял капот машины и, посвистывая, запустил руки в мотор. Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей: мешочков, пульсирующих жилок, клубничных румянцев. Такое лицо допустимо у человека, прожившего долгую порядочную жизнь, имеющего взрослых детей и пьющего по утрам желудевый кофе.

— Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете? — неожиданно сказал Остап.

Старик вздрогнул и обернулся.

— Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой холодный номер гостиницы «Марсель» (это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. Голодным и небритым вы будете лежать на досках кровати. И никто к вам не придет, Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы, вероятно, не родили из экономии. А жен бросили. Ведь вы, кажется, нервный. Вы будете мучится целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ — заведующий гостиницей — уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба... Как ваше имя и отчество?

— Михаил Моисеевич, — ответил ошарашенный Паниковский.

— ...бесплатного гроба для гр. М.М.Паниковского. Причем, годика два вы еще протянете. Теперь — к делу. Нужно позаботиться о культурной стороне нашего похода.

Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву.

— Моя правая рука, — сказал Остап, похлопывая его по толстенькому колбасному боку. — Здесь все, что только может понадобиться элегантному человеку моих лет и моего размаха.

Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «распорядитель». Потом на траву легла инженерская фуражка с молоточками, четыре колоды карт с одинаковой голубой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями.

Весь экипаж Антилопы-Гну с уважением смотрел на саквояж. А оттуда появлялись все новые предметы.

— Вы, голуби, — говорил Остап, — вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата.

Кроме халата в саквояже оказался и стетоскоп.

— Я не хирург, — заметил Остап, — я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые пациенты.

Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шалварах и чалме. На афише было написано:

!!! ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ !!!
знаменитый бомбейский брамин (йог)
— сын Парвы -
Иоканаан Марусидзе
(заслуженный артист союзных республик)
Номера по опыту Шерлока Холмса.
Индийский факир. — Курочка невидимка. —
Свечи с Атлантиды. — Адская палатка. —
Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. —
Материализация духов и раздача слонов
Входные билеты от 50 к. до 2 р.

Грязная, захватанная руками чалма появилась вслед за афишей.

— Этой забавой я пользуюсь очень редко, — сказал Остап. — Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те же вопросы: «Почему в продаже нет животного масла?» или «Еврей ли вы?»

В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки, позаимствованные из какого-то железнодорожного клуба. Остап сказал:

— Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом.

И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, Остап вывел печатными буквами коричневую надпись:

Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры Антилопы приосанились. Балаганов натянул на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на два сантиметра. Цесаревич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках Антилопы заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников.

— Влево по носу — деревня! — крикнул Балаганов, полочкой приставляя ладонь ко лбу. — Останавливаться будем?

— Позади нас, — сказал Остап, — идут пять первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорей снимать сливки. Посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович!

— На приветствия отвечать? — озабоченно спросил Балаганов.

— Отвечать поклонами и улыбками. Ртов попрошу не открывать. Не то вы черт знает что наговорите.

Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность известие о том, что кто-то проедет, получила, но кто проедет и с какой целью — не знала. Поэтому, на всякий случай, были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: «Привет Лиге Времени и ее основателю дорогому товарищу Керженцеву», «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона», «Разоблачим генуэзских миротворцев», «Мочалки и мыло — крестьянину милы». Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковнославянским шрифтом с одним и тем же приветствием: «Добро пожаловать!».

Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное политически неграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.

— Вперед и выше! — скомандовал Остап.

Цесаревич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.

— Как с бензином? — спросил Остап. — До Удоева хватит? Нам только тридцать километров сделать. А там — все отнимем.

— Должно хватить, — с сомнением ответил Цесаревич.

— Имейте в виду, — сказал Остап, строго оглядывая свое войско, — мародерства я не допущу. Никаких нарушений закона!

Паниковский и Балаганов сконфузились.

— Все, что нам надо, удоевцы отдадут нам сами. Вы это сейчас увидите.

Тридцать километров Антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Цесаревич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все эти усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дотянув ста метров до еловой кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь победителей пространства.

Тем не менее собравшиеся загремели ура и кинулись навстречу прибывшему из мглы веков «Лорен-Дитриху». Их грубо вытащили из машины и качали с таким ожесточением, будто они были утопленниками и их во что бы то ни стало надо было вернуть к жизни.

Цесаревич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся человек шоферского вида и спросил:

— Как остальные машины?

— Отстали, — равнодушно ответил Остап. — Проколы, поломки, энтузиазм населения. Все это задерживает.

— Вы в командорской машине? — не отставал шофер-любитель. — Клептунов с вами?

— Клептунова я снял с пробега, — сказал Остап недовольно.

— А профессор Двуптих? На «Паккарде»?

— На «Паккарде».

— А писательница Вера Круц? — любопытствовал полушофер. — Вот бы на нее посмотреть. На нее и на Хворобьева. Он тоже с вами?

— Знаете, — сказал Остап, — я утомлен пробегом...

— А вы на «Студебеккере»?

— Можете считать нашу машину «Студебеккером», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «Лорен-Дитрих». Вы удовлетворены?

Но шофер-любитель удовлетворен не был.

— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «Лорен-Дитрихов».

Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».

— Идите к чертовой матери со своим Студебеккером! — заорал Остап. — Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник, Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прицепились к человеку?! Русским языком ему говорят, что «Студебеккер» в последний момент заменен «Лорен-Дитрихом», а он морочит голову. Студебеккер! Студебеккер!

Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:

— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай!

Делал он это с той целью, чтобы раз навсегда избавиться от опасных расспросов.

Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил их к одному месту.

— Я рад, товарищи, — заявил Остап в ответной речи, — нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской телеге. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь!

Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Цесаревич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался высшей очистки, беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех четырех колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционный склады удоевского отделения Автодора.

Дорога до Одессы была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали, и деньги, в сущности, еще не были нужны.

— О карманных деньгах не надо думать, — сказал Остап, — они валяются на дороге, и мы будем их подбирать по мере надобности.

Глава пятая
Подземное царство

Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, в канцелярии юридической консультации, находившейся на Пушкинской улице в Одессе, можно было видеть конторщика в открытой белой рубашке с высоко подвернутыми рукавами. Утвердив веснущатые загорелые локти на письменном столе, конторщик вписывал в настольный реестр и нумеровал всевозможные бумаги, состряпанные тремя юристами, работавшими в соседней комнате. Когда конторщик поднимал голову, чтобы передать посетителю юридическое заключение, совет или справку, можно было рассмотреть его светлые удивительные глаза. Беспрерывный тихий свет исходил от левого живого глаза конторщика. Это был прекрасный продукт оптического мастерства — фарфоровый искусственный глаз лучшей немецкой выделки. Другой глаз оставлял тяжелое неприятное впечатление. Он точно походил на искусственный, но не было в нем ни доброты, ни живости. Шел от него мигающий ледяной свет. Этот глаз был настоящий.

У конторщика всегда было много работы. Консультация не успевала удовлетворять все растущие потребности граждан в юридических товарах. У населения было множество дел, требующих разъяснения, истолкования и помощи лиц, прошедших тяжелую школу юридической хитрости. Люди привыкли по каждому, даже самому вздорному поводу прибегать к могущественной помощи закона. Закон теребили, как комнатную собачку.

Человек, просидевший день в консультации, мог подумать, что жители беспрестанно оскорбляют друг друга словами, действием, а также путем клеветы в печати; что они заводят квартирные распри, неопрятны в своих любовных делах и бросают жен без материальной помощи с младенцами-пискунами на руках; что они не отдают долгов, захватывают чужую мебель и не платят за прокатные пианино. К счастью, сутяжничеством занимается не все население. Попадаются граждане, которые еще никогда не судились и даже не были свидетелями по чужим делам. Но число этих святых беззлобных душ уменьшается с каждым днем. Центробежная сила сутяжничества подхватывает застигнутых врасплох людей, вытягивает их в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносит через прокуренные судебные коридоры, вталкивает в камеры следователей и запирает на три дня в свидетельские комнаты. Праздник юриспруденции принимает угрожающие размеры.

Конторщик с фарфоровым глазом был самой маленькой и робкой пружиной юридической машинки на Пушкинской

улице. Он обращался с посетителями без заносчивости, свойственной служащим, проворно работал и пугливо оглядывался, когда в помещение входил один из его трех шефов, старший юрист товарищ Шарф. У Шарфа под складками синей косоворотки угадывалось потное брюхо, а общий вид вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление».

Старший юрист и двое его коллег, помогавших ему толковать законы, считали своего конторщика исправным, хотя и не особенно понятливым работником.

— Робкий он какой-то, — говорил Шарф, — как-то уж слишком приниженный. Преданный какой-то чересчур. Только объявят подписку, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается! Подумаешь — оклад! Сорок шесть рублей! Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги!

И, конечно, старший юрист Шарф чрезвычайно удивился, если бы узнал, что его маленький конторщик с окладом в сорок шесть рублей не кто иной, как подпольный советский миллионер, имеющий десять миллионов рублей в иностранной валюте, драгоценностях и дедушкиных товарах.

Свои десять миллионов Александр Иванович Корейко не получил в наследство, не уберег от реквизиции во время переворота и не нашел в земле в виде клада. Он их нажил в советское время, за пять лет.

Мир знает о маленьких людях, которые во время революции сделались знаменитыми. Бухгалтер Петлюра неожиданно выскочил в вожди, составлял министерство, вел войны и подписывал договоры тем же росчерком, которым подписывал денежные ордера в царское время. Бесчисленные батьки и уголовные атаманы влияли на ход истории. А еще совсем недавно они были сельскими писарями, урядниками или приказчиками в имениях средней руки. На исторические пьедесталы их втащили не столько способности, сколько игра обстоятельств. Они играли на своей мрачной славе до тех пор, покуда революция не обрывала им головы.

Но были и другие, нашедшие себя во время революции люди. Они поняли, что слава в такое время не нужна, что она опасна и губительна. Это были невиданные до сих пор финансовые гении. Они работали втихомолку, тщательно заметая следы и скрывая свои операции даже от жен. В страстном желании разбогатеть под грохот событий, которые происходят раз в тысячу лет, они вели жизнь подвижников.

К числу их принадлежал бывший мещанин Саша Корейко.

В 1917 году он был двадцатидвухлетним бездельником из числа тех, которых называли гимназистами в отставке. Реальное училище он окончил давно, в университет не пошел, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. Фарфоровый глаз избавил его от военной службы. Жил он как будто начерно, все больше присматривался к жизни других. Он видел, как живут банковские чиновники, связанные службой, семейством и квартирой о трех комнатах с удобствами, как живут доктора, инженеры, слесаря и купцы. Все это было ему противно. Инженером он быть не мог, стать рабочим казалось стыдно, а служить в банке не хотелось. Все это было слишком мелко, всюду надо было работать, а Саше Корейко хотелось разбогатеть одним ударом. И он валялся дома на красном плюшевом диване, злобно мечтая о собственных яхтах и зеркальных особняках.

Во время революции, когда яхты перестали быть собственностью, а в особняках появились солдаты, Корейко понял, что он может стать счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что во всей стране сейчас валяется великое множество беспризорного золота, драгоценностей, мебели, превосходного белья, картин и ковров, костюмов и фарфора. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство.

Но тогда он еще был глуп и молод. Он нахрапом захватил большую банкирскую квартиру и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего банкира, пил забытый в буфете бенедиктин, закусывая его пайковой селедкой, продавал на базаре разные безделушки и был немало удивлен, когда его потащили в Чека. Он вышел оттуда через пять месяцев, чудом спасшись от расстрела. Дело его затерялось, и молодой человек с различными глазами был выпущен только потому, что никто не знал, в чем он обвиняется.

Долговременные размышления в тюрьме пошли ему на пользу. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что его дело требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Корейко в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием. В это беспокойное и сумбурное время Александр Иванович, прошедший все дисциплины тюремного университета, с настойчивостью гнул свою линию. Голод был настолько силен, что на рынке торговали даже таким странным товаром, как косточки от слив. И были люди, которые эти косточки покупали и ели. Ели все, что только можно было разжевать.

Все, сделанное руками человеческими, служило хуже, чем раньше. Дома с отбитыми карнизами не спасали от холода, еда не насыщала, электричество не горело, трамваи не ходили, водопровод не подавал воды. А все силы стихийные стали злее и опаснее. Зимы были холоднее, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его.

И молодые люди кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену:

Очень дорого стал творог,
Разменяйте десять
миллионов!

Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто. Ему приходилось выдерживать дикую гонку с денежным курсом. Тиф валил людей тысячами. Саша торговал крадеными со склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, а денежный курс превратил их за неделю в пять миллионов. На овчинных полушубках он заработал миллиард, но курс превратил эти деньги в порошок.

Раздавленный инфляцией, Корейко решил покупать валюту, но валюты в обращении не было, если не считать фальшивых американских долларов. Они, правда, стоили дороже, чем настоящие, но только в России, и прибыли это не могло принести никакой. Кто-то надоумил его поместить деньги в картины старых мастеров.

Однажды к нему пришли два художника. Таинственно переглядываясь, они втащили в квартиру Александра Ивановича шесть картин в золотых рамах. Тут, по словам художников, был один Рембрандт, два Репина, один Айвазовский и два маленьких голландца. Маленьких голландцев художники относили к школе Тенирса.

— Впрочем, — заявил один из них, молодой и лысый, — есть все основания предполагать, что это сам Тенирс.

Другой художник, на лице которого залегли такие глубокие и грязные морщины, что, казалось, будто в них живут летучие мыши, глубокомысленно подумал и заметил:

— А мне кажется, что это Питер Ван-дер-Хоох.

— Нет, Бука, — уверенно сказал лысый, — это не Питер Ван-дер-Хоох. Это фактически Тенирс.

О Рембрандте мастера красок не спорили. Картина, изображавшая бюргера с красноватым носом перед пивной кружкой, не вызывала у них никаких сомнений.

— Скажите, — спросил Корейко с вожделением, — сколько такие картины стоили в мирное время?

— Если на золото, — ответил молодой и лысый, — тысяч семьсот.

— А мне кажется, — заметил морщинистый, — что тысяч семьсот пятьдесят. Если на золото.

— Одним словом, тысяч девятьсот, — сказал лысый, подумав. — Если б не такое время, разве б мы продали! Для художника это фактически кровь из сердца.

Еще и тогда Корейко был глуп. Еще и тогда кипела в нем молодость, доверчивая и наивная. Он купил все: Рембрандта, не вызывавшего сомнений в своей подлинности, обоих Репиных, Айвазовского и маленьких голландцев, не то Тенирса, не то Ван-дер-Хооха.

Получив пятьсот миллионов, художники ушли, с грустью переговариваясь о рамах, которым теперь и цены нет.

Рамы действительно оказались хорошими. Но картины представляли из себя то, что на юге для краткости называют «локш», а в центральных губерниях — «липа». Есть города, где такие картины носят название «котлета». В общем, это была грубая подделка, и Саша Корейко узнал об этом уже через неделю после покупки.

Из этих (и подобных этим) комбинаций Александр Иванович вышел к началу НЭПа человеком, постигшим все тайны подпольной коммерции. У него появились волчьи ухватки. Он стал скрытен и зол. Он многому научился. Одним из наиболее блестящих его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге, а Корейко присвоил себе цветистую фамилию Бартоломеев до самого поступления на службу в юридическую консультацию.

В 1923 году дальновидный Александр Иванович, подавив в себе желание заняться свободной торговлей, решил увеличить свой небольшой покуда капитал доходами от государственной службы. К тому же он набрел на счастливое место.

В то время небольшая виноградная республика строила электрическую станцию. Решено было принести величайшие жертвы для того, чтобы найти нужные для постройки средства. Деньги брали отовсюду, были урезаны все сметы. Экономили на здравоохранении, соцобесе и образовании. Постройка заслуживала этого. Новая электростанция должна была перевести отсталый сельский район в разряд промышленных областей.

Но денег не хватало, и постройка, от которой зависело будущее республики, могла остановиться. И вот тут подоспел Александр Иванович Корейко со своим живительным проек-

том. Он предложил организовать при строительстве доходное подсобное предприятие: широкую продажу открыток с фотографическими видами строящейся станции.

— Это дело, — говорил он представителям республики, приехавшим в Москву, — будет иметь двойной эффект: доход, за доход я вам ручаюсь, и, кроме того, популяризация вашего строительства по всей стране.

Вставной глаз Александра Ивановича смотрел ласково, слова его казались убедительными, проект был верным и выгодным.

Представители сносились по телеграфу со своим правительством, Корейко торговался из-за процентов и, наконец, заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех прибылей с открыточного предприятия, выехал к месту своей новой деятельности.

Сперва понадобились оборотные средства. Он получил их из денег, ассигнованных на постройку станции, — других денег в республике не было.

Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и опытным взором оценил живописность порфировых скал.

Через неделю он снова появился в ущелье. На этот раз за ним в линейке катили фотографы. Они окружили строительство суставчатыми голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали объективами. Когда все было снято, один из фотографов опустил шаль на плечи и рассудительно сказал:

— Лучше, конечно, было бы строить эту станцию немного левее, на фоне монастырских руин. Там гораздо живописнее.

Первая партия открыток, отпечатанных в местной типографии рыжей краской на шершавом сером картоне, не понравилась Александру Ивановичу.

— Это не товар, — говорил он представителям виноградной республики. — Даже самые лучшие агенты не смогут сбыть этот брак. Дело нужно поставить иначе — по-европейски.

Лже-Бартоломеев съездил в Москву и вернулся с пробной партией открыток, отпечатанных в лучшей столичной типографии. Их глянцевый блеск и свежие краски взволновали начальство Александра Ивановича. Он полюбовался произведенным впечатлением и произнес небольшую речь. В ней он указал, что такие открытки найдут сбыт и принесут станции огромный доход. Но печатать в Москве нерентабельно. Нужно завести собственную первоклассную типографию. Александр Иванович требовал денег и свободной инициативы. Нарисованная им панорама была так привлекательна, что ему разре-

шили свободу действий и дали денег. Деньги были взяты, как и в первый раз, из строительных средств. Из-за этого на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.

Открыточную типографию строили в том же ущелье, напротив станции. Сделано было это для того, чтобы воспользоваться всеми благами механизации работ, применявшейся на электроцентрали. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии.

С подсобным предприятием спешили, чтобы поскорее получить доходы. Корейко торопил. Пришлось воспользоваться строительными материалами, заготовленными для станции. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. На постройке типографии заработную плату под напором Корейко установили выше, чем на постройке станции, и лучшие рабочие совершили легкий переход через ущелье.

Вскоре в типографии застучала первая машина, и Александр Иванович получил возможность показать на деле, на что способен человек с развязанными руками. Большие караваны агентов-распространителей верхом на осликах, навьюченных открытками, тронулись из ущелья к железной дороге. И не прошло месяца, как вся страна узнала, на что человек с развязанными руками способен. На многое. На всех железнодорожных остановках в вагоны проникали агенты-распространители в полосатых штанах. Агенты назойливо торговали открытками, изображавшими скалы виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, кинематографах, на пароходах и курортах безработные барышни вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышной: каждый выигрыш представлял собой открытку с видом электрического ущелья.

Слова Корейко сбылись. Строительство виноградной республики стало необыкновенно популярным во всем Советском Союзе. Доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Двадцать пять процентов он брал себе по договору, еще столько же присваивал, ссылаясь на то, что не от всех караванов поступила еще отчетность, а остальные деньги употреблял на расширение открыточного дела.

— Нужно быть хорошим хозяином, — тихо говорил он, — нельзя останавливаться на полпути. Сначала как следует поставим дело. Тогда-то появятся настоящие доходы.

К этому времени возле типографии уже стояла новая контора с башенными часами, а экскаваторы, снятые с электростанции, рыли глубокий котлован для нового типографского корпуса. Там Корейко замыслил установить машины, печатающие открытки в три краски.

Работа на электростанции временно прекратилась. Строительство обезлюдело. Там возились одни лишь фотографы, мелькали черные шали и щелкали объективы. Фотографы компоновали новые виды для открыток. Потом они стали жаловаться, что бетонные параллелепипеды поросли травой и приходится долго трудиться, чтоб замазать ее на негативе. Тогда Корейко распорядился перенести фотосъемки на постройку нового типографского корпуса.

Дело выросло настолько, что Александр Иванович приступил к печатанью открыток с портретами киноартистов. Успех превысил все его ожидания. Деньги плыли к Александру Ивановичу. Но он продолжал доказывать, что строить электростанцию еще рано, что еще не все налажено в благотворительном комбинате.

Однажды вечером на тряской машине приехала правительственная комиссия. Александр Иванович, у которого все было подготовлено к ее приезду, не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшиеся параллелепипеды электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия, вскочил на верного осла и ускакал в горы. Заработанные за это время полмиллиона Корейко успел в свое время спрятать в надежном месте.

Комиссия долго рыскала по ущелью в поисках электростанции, но электростанции не было. Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном параде. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой, многокрасочной, словно карты из рукава шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенкса с черной полумаской на толстой самоварной морде, очаровательной Лиа де Путта и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса.

И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы.

Отчеты об этих процессах Корейко читал в Одессе, где поселился под своей настоящей фамилией, чтобы отдохнуть от мирских волнений. Дело с открытками показало ему, что работать с государством хотя и прибыльно, но чрезвычайно опасно.

«Рано или поздно, — думал он, — то есть, вернее, рано, а не поздно моя работа с государством привела бы к тюрьме».

В тюрьму Александру Ивановичу не хотелось. Но не хотелось ему почивать и на добытом полумиллионе. Чувствовал он, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинала жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в советской стране немыслима. С улыбкой превосходства думал он о жалких остатках нэпманов, догнивающих под вывесками: «Торговля товарами камвольного треста Б.А.Лейбниц», «Парча и утварь для церквей и клубов» или «Бакалейная лавка Х.Рабинсон и М.Пьятница». Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбница, и Пьятницы, и владельцев промысловой артели «Там бубна звон».

Он понял, что возможна сейчас только подземная торговля, построенная на абсолютной тайне.

«Тогда, — думал он, — разбогатеть мне при моих деньгах будет легче, чем в любой буржуазной стране. У меня не будет конкурентов».

И он избрал своей специальностью товарный голод. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу. Все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч.

Постепенно, из года в год, он колоссально увеличил свои операции. Он торговал зерном и мукой, сукнами и мехами, сахаром и ситцем. Он не брезговал ничем. Если бы страна испытывала недостаток в заячьих скелетах, он доставал бы и этот товар, чтобы продать его с головокружительной надбавкой.

И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого они работают. Десятки звеньев отделяли их от Александра Ивановича Корейко. Он действовал только через подставных лиц, и лишь сам он знал длину цепи, по которой шли к нему товары и деньги.

Он оказался прав. У него, в его подземном царстве, серьезных конкурентов не оказалось. И он свободно манипулировал своими резервами и был диктатором подпольного рынка. Он страстно работал над увеличением своих доходов, чтобы зажить полновластным владельцем яхт и особняков в тот день, когда все возвратится к прежнему. В этом он никогда не сомневался.

И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого жалованья, которое получал он за жалкую нудную работу в юридической консультации на Пушкинской улице.

Глава шестая
Американские скотоводы

Командор пробега, водитель машины, борт-механик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно.

Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Золотое гумно», не удержался бы он — вышел бы он из машины, сел бы в траву и тут же бы на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые...»

Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее приготовленными авточастями, а в одном посаде поднесли даже хлеб-соль на деревянном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру. После него брезгливый Остап хлеб-соль выкинул на дорогу. Ночь антилоповцы хорошо отдохнули в деревушке, вдыхая одеколонный запах сена.

Спутники Бендера смотрели на него с обожанием. Их приводила в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь. Они увидели на деле, что такое хорошая идея. Паниковский гнусавым голосом тянул слова песенки, подобранной где-то среди отбросов общества:

Что за времена теперь настали,
Что за времена теперь настали,
В бога верить перестали,
В бога верить перестали...

— А вы верите в бога, Паниковский? — спросил Остап, капризно развалившийся на шершавых подушках Антилопы.

— А как же, — заявил Паниковский.

— Он тесно связан с религией, — язвительно заметил Балаганов, — в молодости он был церковным вором.

Паниковский гордо дернул плечом и продолжал мурлыкать:

Потеряли всякий стыд и страх,
У раввина дело швах.

— Ах, Паниковский, Паниковский! — лицемерно вздыхал Остап. — В бога вы верите, а ноги не моете. Почему вы не моете ноги?

— Оставьте эти глупости! — беззаботно ответил Паниковский.

— Для вас это может быть и глупости, но для джентльмена это вопрос чести.

Нарушитель конвенции надулся. Наступившее молчание прервал Балаганов.

— Хорошо жить на свете! Вот мы едем, мы сыты! Может быть, нас ожидает счастье...

— Так-таки стоит и ожидает? — спросил Остап. — На дороге ожидает? Может, еще машет крылышками от нетерпения. Где, говорит, он, господин Балаганов? Что это он меня не берет? Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах с детской песенкой на устах: «У меня была овечка». Эту наивную детку надо ловить, ее нужно очаровывать, за ней нужно ухаживать. У вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи? Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще весь экипаж Антилопы экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега.

Остап с сожалением оглядел своих спутников и продолжал:

— Шляпа Паниковского меня смущает. Вообще, он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные тесемки, эта волосатая грудь под галстуком. Проще надо одеваться, Паниковский. Вы почтенный старик. Вам нужен глухой черный сюртук и фетровая шляпа. Балаганову нужна клетчатая ковбойская рубашка и кожаные краги. И он сразу же приобретет благообразный вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, ниспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как подошел бы к его одухотворенному, слегка испачканному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз? Да, лорд-мэры, нам надо экипироваться.

— Денег нету, — сказал Цесаревич, оборачиваясь.

— Шофер прав, — любезно отметил Остап, — денег действительно нет. И это навевает на меня грусть.

Антилопа-Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. То выскакивала

ветряная мельница, беспокойно махавшая решетчатыми руками, то бежали с поля наперерез машине босоногие мальчики, то брыкалась вдали потревоженная автомобильным шумом пятнистая корова.

— Смотрите, — закричал вдруг Балаганов, — впереди автомобиль!

Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, Антилопа приблизилась к встречной машине.

— Малый ход! — скомандовал Остап. — Возле машины придется остановиться. У них, кажется, поломка.

Закрытый серый «Кадиллак», слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.

— Терпите бедствие? — спросил Остап, вежливо приподымая фуражку.

— Пустяки, — ответил шофер, — прокол камеры.

Антилоповцы вылезли из своего зеленого рыдвана. Цесаревич завистливо стал кружиться вокруг чудесной машины и вскоре завел с шофером специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинотрестовского плаща, был соотечественник.

— Далеко едете? — спросил Остап.

— А черт его знает! — раздраженно ответил соотечественник. — Шесть дней уже носимся по деревням, как угорелые.

— А вам это не нравится?

— Я думаю.

— Зачем же вы носитесь?

— Это они носятся.

И соотечественник довольно грубо показал пальцем на своих спутников, седых румяных джентльменов.

— Американцы.

— А вы?

— Я переводчик из бюро путешествий. Много я имел дела с иностранцами, но таких еще не видел. Скотоводы! Казалось бы, люди интеллигентные. Понимаете, на той неделе к нам, в Москву, приехали специальным поездом восемьдесят американских туристов. Прямо кошмар какой-то! Девять международных вагонов и четыре вагона-ресторана. У каждого отдельное купе. А эти двое сами целый вагон занимали. А зачем им, спрашивается, отдельный вагон? Ну, да ладно. Сначала все шло хорошо. Согнали со всего города такси и повезли их в

Большой театр на «Лебединое озеро». Специальный спектакль среди лета устроили. Есть, конечно, расчет — они хорошо платят.

— Знаю, знаю, — сказал Остап, — бутылка нарзану — 18 рублей, пятикопеечная марка — семь с полтиной!

— В этом роде... Потом по программе: Третьяковская галерея, Кремль, Василий Блаженный, немножко строительства, Парк культуры и отдыха, танцы народностей... Все в порядке, честь честью. Им это нравится. Балет, большевики — у них, прямо, глаза на лоб лезут. Ну, потом, как известно, за машинку и на Волгу.

— А! Сюр нотр мер Вольга! На нашу матушку Волгу?

— Вот именно, — с ненавистью подтвердил переводчик, — на специально оборудованный теплоход с хором песельников. Все поехали. А эти двое отбились. Стали по деревням ездить. Замучили меня с шофером совершенно.

— Хотят ознакомиться с бытом новой деревни? — спросил Остап, посмотрев в сторону американцев.

Скотоводы важно стояли над шофером. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и беспокойные галстуки.

— Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенским самогоном они интересуются, а не деревней.

— Самогоном?

— Представьте себе. Я долго не мог понять, чего им нужно Оказывается, нужен им рецепт изготовления хорошего самогона.

— Сухой закон допек?

— Ну да.

— А что, разве у них, в Америке, плохой самогон.

— Они говорят, такая мерзость, что в рот взять нельзя. И вот ездим мы по деревням, ищем рецепт. Но ничего из этого не вышло и не выйдет. Как только мужики видят, что приехал автомобиль, они моментально уходят в себя. Говорят, что знать о самогоне не знают, никогда его не видели и вообще о самогоне слышат первый раз. Ясное дело, они принимают нас за начальство. Рецепт кваса, говорят, пожалуйста, дадим, а про самогон нам ничего не известно. На меня стали бросаться. Расскажи им секрет самогона. Что я, самогонщик? Я член союза работников просвещения.

— Знаете что, — спросил Остап, — вам очень хочется обратно в Москву?

Переводчик тяжело вздохнул.

— Полтораста они дадут за рецепт? Могу продать.

— Дорогой мой! — воскликнул переводчик. — Берите двести. Они дадут. А у вас в самом деле есть рецепт?

— Сейчас же вам продиктую, — сказал Остап. — Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, виноградный. Одним словом — любой из полутораста самогонов, рецепты которых мне известны.

Остап был представлен американцам. Они выбрали пшеничный самогон, который, по словам их друзей в Америке, считается среди русских трезвенников самым лучшим. Рецепт долго записывали в блокноты. Остап в виде бесплатной премии сообщил скотоводам наилучшую конструкцию портативного кабинетного аппарата, легко помещающегося в тумбе письменного стола. Скотоводы заверили Остапа, что при американской технологии изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап в свою очередь заверил скотоводов, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача.

— О! — закричали американцы. — Pervatch! Pervatch!

Они уже слышали это слово в одной знакомой почтенной семье из Чикаго. И там о pervatch'е были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там pervatch и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал.

В устах разомлевших скотоводов грубое слово первач звучало нежно и заманчиво, как звучит слово — вермут.

Американцы легко отдали двести рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами заатлантической республики, измученными сухим законом. Переводчик на радостях поцеловался с Остапом и просил не забывать.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Цесаревич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны.

— Видите, — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. — Все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились.

И он взмахнул пачкой кредиток.

Вдруг Паниковский залился смехом. Командор строго на него посмотрел, но Паниковский не унимался. Его трясло. Много раз он пытался начать какую-то фразу, но смех вколачивал слова обратно в глотку.

— Ну! — кричали все. — Да говорите вы, наконец!

— Все, — сказал Паниковский, задыхаясь и плача, — произошло... произошло, как я вам... хотел сказать!..

Паниковский упал на спину, задергал тоненькими ножками и закатился таким конвульсивным смехом, что Цесаревич на всякий случай остановил машину.

— Мы ехали. На дороге валялись золотые часы. Я их подобрал. И они тоже не запылились!

И Паниковский помахал золотыми часами перед изумленными спутниками.

Остап простил Паниковского только потому, что история с часами была, по его словам, «красиво подана».

— Но это в последний раз, — добавил он, — при повторении беспощадно выкину из Антилопы. Нам предстоят серьезные дела, основанные не на ловкости рук, а на ловкости ума. Вы со своими мелкими кражами можете нас подвести. Золотые часы — это предмет роскоши. Они нам не нужны. Зато на мои честно заработанные деньги мы сможем экипироваться в ближайшем же городе.

Подходило время обеда. Антилоповцам хотелось есть. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска.

— Городок маленький, — сказал Бендер, — и это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Потому попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский! Вы начинаете забывать свои обязанности! Восстановите плакат на прежнем месте.

Понаторевший в торжественных финишах Цесаревич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на два часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на боцмана, изредка приветственно взмахивал рукою.

Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с архаическими муфтами в руках, дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги.

Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина:

Штанов нет.

— Фу, как грубо! — сказал Остап, входя. — Сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: «Брюк нет». Прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам. А тут — «штанов нет». Написали бы еще «портков нет».

В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа с дырочками. Цесаревичу пришлось удовольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые по замыслу Бендера должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного: куртку с золотыми насосами в петлицах и волосатые полушерстяные брюки и фуражку. Паниковский долго ломался и прыгал перед зеркалом.

— Не понимаю, — сказал наконец Остап, — чем вам не нравится костюм пожарного? Он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. А ну, повернитесь-ка, сынку. Отлично. Скажу вам прямо. Это подходит вам больше, чем запроектированный мною сюртук и шляпа.

На улицу вышли в новых нарядах. Себе Остап ничего не купил.

— Мне нужен смокинг, — сказал он, — но здесь его нет. Подождем до лучших времен. Не так ли, кум пожарный?

Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров Антилопы. Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения и еврейские анекдоты, чем чрезвычайно расположил к себе публику. Конец речи он посвятил разбору давно назревшей автопроблемы.

— Автомобиль, — воскликнул он трубным голосом, — не роскошь, а...

В эту минуту он увидел, что председатель комиссии по встрече принял из рук подбежавшего мальчика телеграмму. Произнося слова: «не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. То, что он прочел, поразило его. Он думал, что впереди еще целый день. Его сознание мгновенно зарегистрировало ряд деревень и городов, где Антилопа воспользовалась чужими материалами и средствами.

Председатель еще шевелил усами, силясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове спрыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу. Антилопа зеленела на перекрестке. К счастью, пассажиры сидели на местах и, скучая, дожидались того момента, когда Остап велит перетаскивать в машину дары города. Это обычно бывало после митинга.

Наконец до председателя дошел смысл телеграммы. Он поднял глаза и увидел убегающего командора.

— Это жулики! — закричал он страдальческим голосом.

Он всю ночь трудился над составлением приветственной речи, и теперь его авторское самолюбие было уязвлено.

— Хватай их, ребята!

Крик председателя достиг ушей антилоповцев. Они нервно засуетились. Цесаревич пустил мотор и одним махом влетел на свое сиденье. Машина прыгнула вперед, не дожидаясь Остапа. Впопыхах они даже не сообразили, что оставляют своего командора в опасности.

— Стой! — кричал Остап, делая гигантские прыжки. — Догоню — всех уволю!

— Стой! — кричал председатель, адресуясь к Бендеру.

— Стой, дурак! — кричал Балаганов Цесаревичу. — Не видишь, шефа потеряли!

Адам Казимирович дернул рычаги. Антилопа заскрежетала и остановилась. Командор кувыркнулся в машину с отчаянным криком: «Полный ход!» Несмотря на разносторонность и хладнокровие, он не любил физической расправы. Обезумевший Цесаревич взял сразу третью скорость, машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов. Все это произошло в одно мгновенье. Пока Цесаревич снова тормозил, на Балаганова уже пала тень набегающей толпы. Уже протягивались к нему здоровеннейшие ручищи, когда задним ходом подобралась к нему Антилопа и железная рука командора ухватила его за ковбойскую рубаху.

— Самый полный! — завопил Остап.

И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина быстро унеслась, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей.

Первый километр жулики тяжело дышали. Дороживший своей красотой Балаганов рассматривал в карманное зеркальце малиновые царапины на лице, полученные при падении. Паниковский дрожал в своем костюме пожарного. Он боялся мести командора. И она пришла немедленно.

— Это вы погнали машину прежде, чем я успел сесть? — спросил командор грозно.

— Ей-богу... — начал Паниковский.

— Нет, нет, не отпирайтесь. Это ваши штуки. Значит, вы еще и трус к тому же? Значит, я попал в одну компанию с вором и трусом? Хорошо! Я вас разжалую. Вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне вы — простой топорник.

И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы.

Покончив с этим делом, Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.

— Дело плохо! В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же сворачивать куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Кстати, это нам по дороге. Но до него еще часа три пути. Я уверен, что торжественная встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду понатыкал свои столбы с проволоками. Паниковский! Берегите свою черепную лоханку!

Командор не ошибся.

В первой же деревне им предложили остановиться. Цесаревич усилил ход. Несколько саженей за ними на неоседланной кобыле вяло скакал рослый веселый парень, по-видимому, деревенский милиционер, и что-то кричал.

Дальше на пути лежал городок, названия которого антилоповцы так никогда и не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его при случае недобрым словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном. Антилопа повернула назад и, как слепой щенок, стала тыкаться в стороны в поисках обходной дороги. Но ее не было.

— Пошли назад! — сказал Остап, ставший очень серьезным.

И тут же жулики услышали очень далекое комариное пение моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Назад двигаться было нельзя, и антилоповцы снова кинулись вперед.

Цесаревич нахмурился и быстрым ходом подвел машину к самому бревну. Граждане, стоявшие вокруг, испуганно разбежались в разные стороны, ожидая катастрофы. Но Цесаревич неожиданно уменьшил ход и медленно перевалился через бревно. Когда Антилопа проносилась через город, прохожие сварливо ругали седоков, но Остап, обычно восприимчивый ко всякого рода оскорблениям, даже не отвечал.

К Гряжскому шоссе Антилопа подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва только успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздались взрывы и пальба моторов, и в столбах света показалась головная маши-

на. Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну.

Полотнища ослепляющего света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями. Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь.

— Да, — сказал Остап. — Теперь я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно!

Глава седьмая
Овес и сено

— Объявляю военный совет открытым, — возвестил Остап.

Антилоповцы сидели вокруг костра, в стороне от дороги. Огонь бросал рваный свет на громоздкий корпус Антилопы. Черная преданная ночь заботливо следила за сохранением тишины и спокойствия.

— После битвы при Ватерлоо, — сказал Остап, — мир еще не видел поражения, подобного тому, которое мы понесли при Лучанске. Можете гордиться, кум пожарный. Ватерлоо и Лучанск! Теперь эти два имени будут стоять рядом. Вы удовлетворены?

— Я хочу кушать, — печально ответил Паниковский.

— Это недостойно солдата! К тому же я не могу раскинуть пред вами кооперативной скатерти-самобранки. Сегодня вы есть не будете. Итак — военный совет. Что, собственно говоря, случилось? Случилось так, что нам на зеленой Антилопе никуда нельзя показаться. Она стала слишком известной. Нужна новая идея. Высказывайтесь, господа, высказывайтесь. Ваше мнение, генерал Цесаревич?

— Замучилась наша машина, вот что! — заявил Адам Казимирович. — Посмотреть ее нужно хорошенько, подремонтировать.

— Это не идея, — сказал Остап, — это жизненная правда. А нам сейчас нужен полет фантазии. Полковник Балаганов?

— Нужно прорываться! — воскликнул Шурка. — Ехать прямо в Одессу! Бороться!

— Полковник молод, — комментировал Остап. — В нем говорит сейчас, по меньшей мере, Козьма Крючков. Ну, а вы, прапорщик Паниковский? Вы тоже хотите прорываться?

Но прапорщик Паниковский был противником шума, погони и вообще бесцельной храбрости.

— В чем дело! — сказал он. — Нужно продать Антилопу и ехать поездом.

Цесаревич издал гневный стон.

— Другими словами, — сказал Остап, — вы хотите для удовлетворения своих мелких страстей продать чужую машину? Так вас прикажете понимать? Нет! Вижу, что никого из вас не посетило вдохновение. В заключительном слове я хотел бы только указать на патриархальный обычай, который существует в Америке. Там краденные автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманитарных побуждений — чтобы прежний хозяин не огорчался, видя, что на его машине разъезжает посторонний ему человек. Хотя Антилопа и не краденая, но ее нужно перекрасить. Этого требуют суровые законы жизни.

Генералитет согласился с мнением Остапа. Решено было этой же ночью подъехать к ближайшему городу, войти в него пешим порядком и достать красок. А для машины подыскать надежное убежище за городской чертой.

В третьем часу ночи затравленная Антилопа остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал большой город. Он был нарезан аккуратно, как пирог. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудились антилоповцам. Вероятно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва вниз.

— Райская долина, — сказал Остап. — Такой город приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь. К сожалению, город придется оставить в покое и знакомство с ним ограничить посещением москательной лавки. Однако не будем терять времени. Оставайтесь здесь, а я обревизую окрестности, может быть, и удастся найти подходящий сарайчик.

Остап быстро пошел по дороге и вскоре увидел косой бревенчатый домик, засевший в глубине редкой березовой рощицы. Обойдя его, Остап заметил сарай, который показался ему подходящим местом для сокрытия и перекраски Антилопы. Пока он размышлял о том, кто может жить в этом отдаленном от всякого жилья домике и как получше подойти к его жильцам, дверь отворилась и на крыльцо выбежал полуголый человек с бакенбардами. Лицо его в конце прошлого века было бы совершенно заурядным. В то время большинство мужчин вы-

ращивало на лице такие вот казенные верноподданные волосяные приборы. Но сейчас это лицо казалось неестественным.

— О, боже! — застонал обитатель бревенчатого домика, подымая к пепельному небу отчаянное лицо. — Боже, боже! Все те же сны! Все те же сны!

Бакенбардист ударил себя ладонью по янтарной полной щеке, всхлипнул и побежал по тропинке вокруг дома.

— Снятся, проклятые! — донеслось до Остапа.

Бендер, любопытный от природы, выставил голову из-за дерева и продолжал рассматривать странного человека с лицом, которое можно встретить теперь разве только у швейцара консерватории.

«Что это за рак-отшельник? — подумал Остап. — Сейчас такого не найдешь даже в зоопарке».

Между тем бакенбардист завершил свой круг и снова появился во дворике. Лицо его выражало страдание. Он помедлил и со словами «Пойду, попробую еще раз» скрылся за дверью.

— Люблю стариков, — прошептал Остап, — с ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы.

Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик.

— Чур меня, чур! — воскликнул он с шаляпинскими интонациями в голосе. — Все тот же сон! А-а-а!

Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа.

Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.

— Что? Кто? Что такое? — закричал беспокойный старик. — Что?

Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс.

— Я вам сочувствую! — воскликнул он.

— Правда? — спросил хозяин домика, приникая к плечу Бендера.

— Конечно, правда. — ответил Остап. — Мне самому часто снятся сны.

— А что вам снится?

— Разное.

— А какое все-таки? — настаивал старик.

— Ну, разное. Смесь. То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран». Позавчера мне, например,

снились похороны микадо, а вчера — юбилей Сущевской пожарной части.

— Боже! — произнес бакенбардист. — Боже! Какой вы счастливый человек! Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или министр?

— Снился. Как же? Генерал-губернатор. В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял.

— А это вам не снилось, приезд государя-императора в город Кострому?

— В Кострому? Было такое сновиденье. Позвольте, когда же это, ну да, 3 февраля этого года. Государь-император. И, помнится, рядом с ним еще матрос Деревенько стоял.

— Ах ты, господи! — заволновался старик. — Что ж это мы здесь стоим. Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?

— Ну что вы! — добродушно сказал Остап. — Какой же я партиец? Я бонопартиец.

Старик не стал допытываться о столь странной партийной принадлежности своего нового знакомого и повел его к себе. В домике бакенбардиста оказалась одна комната с сенями. На бревенчатых стенах висели портреты господ в вицмундирах. Судя по петлицам, господа эти служили в свое время по министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые беспокойные часы своей жизни.

— И давно вы живете таким анахоретом? — спросил Остап.

— С весны, — ответил старик. — Боже! С какими чувствами въезжал я в этот одинокий домик! Моя фамилия — Хворобьев. Федор Никитич. Здесь, думал я, начнется новая жизнь. А ведь что вышло?

И старик, поминутно хватаясь за бакенбарды и кидая виноватые взгляды на родственников и сослуживцев из министерства народного просвещения, доверчиво открыл Бендеру всю свою душу.

Федор Никитич Хворобьев был монархистом. Он не любил советской власти. Она была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. И это вызывало в нем отвращение.

Он возненавидел слово сектор. До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово Пролеткульт, и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. О, этот сектор! Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а в

том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное слово будут так опошлено.

На службе Хворобьева бесило многое: заседания, МОПРы, ячейки, займы. Но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были заседания, МОПРы, стенгазеты. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах: о жаловании, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд».

Никуда нельзя было уйти от советского строя. Когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы:

«...Тогда мы постановили вывести его из состава правления...»

«...А я так и сказал: на ваше РКК примкамера есть, примкамера...»

«...Лихачева нужно нагрузить!..»

И, тоскливо поглядывая на советские вывески, Хворобьев с раздражением повторял:

— Вывести! Из состава! Примкамера! Хамская власть!

В конце концов ненавистный строй пошел навстречу Федору Никитичу и вывел его из состава сотрудников методологическо-педагогического сектора. Хворобьев с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился в бревенчатом домике, далеко за городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила его покоя.

По целым дням просиживал старик над обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном: о молебнах по случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное.

«Что-то теперь делается в этом проклятом Пролеткульте?» — думал он.

После Пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды: демонстрации первомайские и октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора.

— Хорошо же! — вскричал бывший попечитель учебного округа. — Все отняла у меня советская власть: чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть!

В первую же после этого ночь бог прислал Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в учрежденческом коридоре, освещенном керосиновой лампочкой. Сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Хворобьева нужно нагрузить!» Он хочет бежать, но не может.

Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился богу, указав ему, что, как видно, произошла досадная неувязка, и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного, работника, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть царский выход из Успенского собора.

Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел лицо председателя месткома товарища Суржикова.

И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему: членские взносы, стенгазеты, МОПРы, летучие митинги, кооперативные магазины, торжественное открытие фабрики-кухни, председатель общества друзей кремации товарищ Войтов и большие советские перелеты.

Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть министра двора графа Фредерикса, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь простенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста.

— Все те же сны! — закончил Хворобьев плачущим голосом. — Все они, проклятые!

— Ясное дело, — весело сказал Остап, — бытие определяет сознание. Раз вы живете в советской стране, то и сны у вас должны быть советские. Впрочем, может быть, это и по Фрейду. Вы знаете, я начинаю думать, что это у вас подсознательное!

— Ни минуты отдыха! — жаловался Хворобьев. — Как избавиться от этих кошмарных видений?

— Я вам помогу, — сказал Остап, — мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Это пустяки. Главное — это устранить причину. Конечно, главной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени. Придется ограничиться полумерами. Ешьте на ночь помидоры с луком и запивайте сырым молоком. А пока что у меня к вам, почтеннейший Федор Никитич, просьба.

И, присыпая свои слова комплиментами по адресу хозяина, Бендер объявил ему о цели своего прихода.

— Небольшая увеселительная прогулка с друзьями, милейшими людьми. Легкая поломка. Необходимость ремонта.

Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил Бендеру воспользоваться сараем. Через полчаса Антилопа была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Цесаревича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.

Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны. Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, с треском выдвинуть из гнезда спичечный ящичек, полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.

Бендер и Балаганов поддались давлению утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свиданье с невестами в маркизетовых платьях.

Внезапно дорогу братьям преградил человек с американским складным мольбертом и полированным ящиком красок в руках.

— Простите, — сказал он, — тут только что должен был пройти товарищ Плотский-Поцелуев. Он ежедневно здесь гуляет. Вы его не встретили?

— А кто он такой, что мы его должны встречать? — грубо спросил Балаганов.

Художник растерянно посмотрел по сторонам, сказал «пардон» и устремился дальше.

— Плотский-Поцелуев! — ворчал Шурка, который еще не завтракал. — У меня самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза-Горгонер, и я не делал из этого шума, не бегал по улицам с криками: «Не видали ли вы часом гражданки Медузы-Горгонер. Она, дескать, здесь прогуливалась». Подумаешь! Плотский-Поцелуев!

Не успел Балаганов закончить своей тирады, как прямо на Бендера выскочили два человека с черными мольбертами и ящиками красок.

— Товарища Плотского... — сказал один, задыхаясь.

— Поцелуева! — добавил другой.

— Не видели? — прокричал первый.

— Он здесь должен прогуливаться, — объяснил второй.

Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было рот для произнесения ругательства, и вежливо сказал:

— Товарища Плотского, урожденного Поцелуева, мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интере-

сует, то поспешите. Его уже ищет какой-то трудящийся, по виду художник.

Сцепляясь мольбертами и толкая друг друга, художники побежали дальше. А в это время из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, профессию которого было нетрудно угадать. Он придерживал рукою большой стационарный мольберт. В ногах у извозчика лежал ящик с красками.

— Алло! — крикнул Остап. — Вы ищете Плотского-Поцелуева?

— Совершенно верно,— подтвердил жирный художник, жалобно глядя на Остапа.

— Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь! — закричал Остап. — Вас обошли уже три художника! А в чем тут дело? Что случилось?

Но лошадь, гремя подковами по диким булыжникам, уже унесла четвертого представителя изобразительных искусств.

— Какой культурный город! — сказал Остап. — Вы, вероятно, заметили, Балаганов, что из четырех встреченных нами граждан четверо оказались художниками.

Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой, Балаганов шепнул Остапу:

— Вам не стыдно?

— Чего? — спросил Остап.

— Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами?

— Ах, вы об этом? — сказал Остап. — Признаюсь, немного стыдно. Глупое положение, конечно. Но что ж делать. Не бежать же в исполком и просить там красок на проведение Дня жаворонка. Они-то дадут, но ведь мы потеряем целый день!

Сухие краски в банках, стеклянных цилиндрах, мешках, бочонках и прорванных бумажных пакетах имели заманчивые цирковые цвета и придавали москательной лавке веселый вид.

Командор и бортмеханик придирчиво стали выбирать краски.

— Черный цвет будет слишком траурно,— говорил Остап. — Зеленый уже не подходит. Это цвет рухнувшей надежды. Лиловый — нет! Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый — пошло, голубой — пошло, красный — слишком верноподданно. Придется выкрасить Антилопу в желтый цвет. Немножко ярковато будет, но красиво.

— А вы кто будете? Художники? — спросил продавец, левое ухо которого было слегка закрашено киноварью.

— Художники, — ответил Бендер.

— Так вам не сюда нужно, — сказал продавец, снимая с прилавка картон с образцами красок.

— Позвольте! — воскликнул Остап. — А куда же?

— Напротив.

Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску. Там была изображена коричневая лошадиная голова, и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».

— Все правильно, — сказал Остап, — лошадки кушают овес и сено. Но причем же тут наш брат-художник? Не вижу никакой связи.

Однако связь оказалась, и очень существенная. Остап ее обнаружил уже в самом начале объяснения приказчика.

Город всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь живущих, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, когда в город приехал новый художник Феофан Копытто.

Первый его портрет вызвал в городе большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Копытто оставил станковистов далеко позади. Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сделан из овса. И когда художник Копытто перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Копытто стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и гречневой крупой, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание Губплана. Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он остался верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.

— Овсом оно, конечно, способнее! — воскликнул Остап. — А Рубенс-то с Рафаэлем дураки — маслом старались! Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски.

Расплачиваясь с разговорчивым продавцом, Остап спросил:

— Кто это такой Плотский-Поцелуев? А то мы, знаете, не здешние, не в курсе дел.

— Товарищ Плотский-Поцелуев известный человек, наш горожанин. Теперь из Москвы в отпуск приехал.

— Все понятно, — сказал Остап, — спасибо за информацию. До свидания!

На улице молочные братья завидели диалектических станковистов. Все четверо с лицами грустными и томными, как у

цыган, стояли на перекрестке. Рядом с ними стояли мольберты, составленный в ружейную пирамиду.

— Что, служивые, плохо? — спросил Остап. — Упустили Плотского-Поцелуева?

— Упустили! — застонали художники. — Из рук ушел.

— Феофан перехватил? — спросил Остап, обнаруживая хорошее знакомство с предметом.

— Уже пишет, собака, — ответили художники. — Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра.

— А где ателье этого деляги? — полюбопытствовал Остап. — Хочется бросить взгляд.

Художники, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Копытто. Феофан работал у себя в садике, на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский-Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель на трехчервонной бумажке, захватывал горстями овес из лукошка и рассеивал его по полотну.

— Сколько вы получите за эту картину? — застенчиво спросил Поцелуев.

Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:

— Что ж. Рублей сто двадцать музей за нее даст.

— Однако дорого.

— А овес-то нынче, — сказал Копытто певуче, — не укупишь. Он дорог, овес-то!

— Это чепуха, — заметил Остап, — по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос, большую картину со многими фигурами, идеологически выдержанную, хотя и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Но идеологически, повторяю, картина замечательно выдержана. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». И, знаете, это была такая строптивая картина, что с ней уже и не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Но художник успел отхватить за выдумку тысячи полторы. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Копытто. Овес вдруг прорастет, и ваши картины заколосятся. И вам уже больше никогда не придется снимать урожай.

Диалектические станковисты сочувственно захохотали. Но Феофан не смутился.

— Это звучит парадоксом, — заметил он, возобновляя посевные манипуляции.

— Ладно, — сообщил Остап, прощаясь, — сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим.

Весь день антилоповцы красили свою машину. К вечеру она стала неузнаваемой и блистала всеми оттенками яичного желтка.

— Конечно, — сказал Остап, — мы могли бы теперь дня три выдавать себя за агентов угрозыска, охотящихся за таинственной зеленой машиной, и воспользоваться законным содействием административных и общественных органов. Но нам просто некогда. Дела призывают нас в Одессу.

На рассвете следующего дня желтая Антилопа покинула гостеприимный сарай и взяла курс на юг.

— Жалко, что не удалось попрощаться с хозяином. Но он так сладко спал, что его жалко было будить. Может, ему сейчас наконец снится сон, которого он так долго ожидал: митрополит Двулогий благословляет чинов министерства народного просвещения в день праздника древонасаждения.

И в ту же минуту сзади в березовой рощице послышался знакомый уже Остапу плачевный рев.

— Все тот же сон! — вопил старый Хворобьев, мелькая между грустными березами. — Боже, боже!

— Я ошибся, — заметил Остап, — ему, должно быть, приснился не митрополит Двулогий, а Клара Цеткин. Однако, черт с ним! Самый полный, Адам Казимирович!

Глава восьмая
Шарады, ребусы и шарадоиды

Чем только не занимаются люди!

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «Полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У обитателей этого мира стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.

Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучными эпохе, и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замеча-

ется оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база коммунистической идеологии. На пузыре «Уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярных песенках умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена восстанавливает завод. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук «Мечта пролетарского поэта», толстовка «Гладковка», гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».

В области ребусов, шарад, шарадоидов, логогрифов и загадочных картинок пошли новые веяния. Работа по старинке вышла из моды. Секретари газетных и журнальных отделов «В часы досуга» или «Шевели мозговой извилиной» не брали товара без идеологии. И пока великая страна шумела, пока строились тракторные заводы и создавались грандиозные зерновые фабрики, старик Синицкий, ребусник по профессии, сидел в своей комнате и, устремив остекленевшие глаза в потолок, сочинял шараду на модное слово «индустриализация».

У Синицкого была наружность гнома. Таких обычно изображают маляры на вывесках зонтичных магазинов. Вывесочные гномы стоят в красных колпаках и дружелюбно подмигивают прохожим, как бы приглашая их поскорее купить шелковый зонтик или трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Длинная желтоватая борода Синицкого опускалась прямо под стол, в корзину для бумаг.

— Индустриализация! — горестно шептал он, шевеля бледными, как сырые котлеты, старческими губами.

И он привычно разделял это слово на шарадные части.

— Индус. Три. Али. За...

Все это было прекрасно. Синицкий уже представлял себе пышную шараду, значительную по содержанию, легкую в чтении и трудную для отгадки. Сомнения вызывала только последняя часть «ция».

— Что же это за «ция» такая? — напрягался старик. — Вот если бы «акция»! Тогда отлично вышло бы: индустриализакция.

Промучившись полчаса и не надумав, как поступить с капризным окончанием, Синицкий решил, что конец придет сам собой, и приступил к работе. Он начал писать свою поэму на листе, вырванном из бухгалтерской книги, с жирной надписью «дебет».

Сквозь большую стеклянную дверь балкона видны были цветущие акации, латаные крыши домов и резкая синяя черта

морского горизонта. Одесский полдень заливал город кисельным зноем.

Старик подумал и нанес на бумагу начальные строчки:

Мой первый слог сидит в чалме,
Он на востоке быть обязан.

— Он на востоке жить обязан! — с удовольствием произнес старик.

Ему нравилось то, что он сочинил. Но смущала трудность рифмовки слов «обязан» и «чалме». Ребусник походил по комнате и потрогал руками бороду. Вдруг его осенило.

Второй же слог известен мне,
Он с цифрою как будто связан.

С «Али» и «за» тоже удалось легко справиться.

В чалме сидит и третий слог,
Живет он тоже на востоке.

Четвертый слог поможет бог
Узнать, что это есть предлог.

Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. Но никогда еще почтенному ребуснику не было так трудно работать, как сейчас. Он отстал от жизни, был политически неграмотным, и молодые конкуренты легко его побивали. Они приносили в редакции задачи с такой прекрасной идеологической установкой, что старик, читая их, плакал от зависти. Куда ему было угнаться за такой, например, задачей:

Задача-арифмоид

На трех станциях Воробьево, Грачево и Дроздово было по равному количеству служащих. На станции Дроздово было комсомольцев в шесть раз меньше, чем на двух других, вместе взятых, а на станции Воробьево партийцев было на 12 человек больше, чем на станции Грачево. На этой последней беспартийных было на 6 человек больше, чем на первых двух. Сколько служащих было на каждой станции и какова была там партийная и комсомольская прослойка?

Очнувшись от своих горестных мыслей, старик снова взялся за листок с надписью «дебет», но в это время в комнату вошла девушка с мокрыми стрижеными волосами и черным купальным костюмом на плече. За ней вошел молодой человек.

— Садитесь, Древлянин, — сказала девушка, — посидите с дедом.

Она вышла на балкон, развесила на облупленных перилах сырой костюм и глянула вниз. Она увидела бедный двор, который видела уже много лет, — нищенский двор, где валялись разбитые ящики из-под макарон, бродили перепачканные углем коты и жестянщик с громом чинил ведро. В нижнем этаже разговаривали соседки.

— Не знаю, что делать с ребенком.

— Попробуйте поставить ему клистирчик из крепкого чая.

И разговоры эти девушка слышала не первый раз, и котов она знала по именам, и жестянщик, как ей показалось, чинил это самое ведро уже много лет подряд. Внезапно Зосе Синицкой стало скучно, и она вернулась в комнату.

— Идеология заела, — услышала она снова деда, — а какая в ребусном деле может быть идеология? Ребусное дело...

Молодой человек, который называл себя Борисом Древляниным, а на самом деле носил скромную греческую фамилию Папа-Модерато, со смутной тоской в глазах смотрел на старого Синицкого. Он знал характер ребусника, любившего поговорить.

Положение спасла Зося.

— Что ты тут написал, дед? Что это такое? «Четвертый слог поможет бог узнать, что это есть предлог». Почему — бог? Ведь ты сам говорил, что в редакции не принимают теперь шарад с церковными выражениями.

Синицкий ахнул. Крича: «Где бог, где? Там нет бога!», он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок.

— Есть бог. Оказался, — промолвил он печально. — Опять маху дал! Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая.

— А вы вместо «бог» поставьте «рок», — посоветовал Папа-Модерато.

Но испуганный Синицкий отказался от «рока».

— Это тоже мистика! Я знаю! Ах, маху дал, маху дал! Что же это будет, Зосенька?

Зося с грустью посмотрела на деда и посоветовала сочинить новую шараду.

— Все равно, — сказала она, — слова с окончанием «ция» у тебя не выходят. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»?

— Как же! — оживился старик. — Я еще третьим слогом поставил «кац» и написал так: «А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея». Не взяли эту шараду. Маху дал. Сказали — слабо, не подходит.

И старик, усевшись за свой стол, начал разрабатывать большой идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась.

Между тем Борис Древлянин с вызывающей нежностью поглядывал на Зосю, которая накрывала на стол к обеду. Она переходила от старомодного величественного буфета с зеркальными иллюминаторами и резными птицами на дверках к столу и выгружала посуду. Красный борщ, оставленный ею на медленном огне перед купанием, был уже готов.

— Ну, как ваши столовники? — спросил Древлянин страстным голосом.

Ему очень нравилась Зося Синицкая, яблочная родинка на ее щеке и короткие разлетающиеся волосы с гимназическим пробором на боку. У Зоси был тот спортивный вид, который за последнее время приобрели все красивые девушки в мире. Папе-Модерато хотелось бы напрямик рассказать Зосе о чувствах, обуревавших его неспокойное сердце. Но он еще не решился. И покуда всю свою нежность, всю свою страстность вкладывал в обиходные служебные фразы.

— Ну, как ваши столовники? — повторил он голосом человека, умирающего от любви.

— У вас насморк? — спросила Зося.

— Нет. А что?

— От чего же вы говорите таким странным голосом? Найдите горчицу, пожалуйста.

— Ну, как ваши столовники? — с упреком переспросил Папа.

— Разъехались, в отпуск, остался один Корейко.

— Это какой? Толстый и рыжий?

— Да нет же. Александр Иванович. Со вставным глазом. Вы у нас его несколько раз встречали.

— Фу! Вот понятия не имел! Я думал, что со вставным глазом Подвысоцкий.

— Ничего не Подвысоцкий.

— Я думал, что Подвысоцкий

На этот раз в голосе Древлянина послышался грохот мандолины.

— Индюк думал, думал тай сдох, — ответила Зося.

И, задвигав плечами, отправилась на кухню. Папа-Модерато потащился за ней. Внучка ребусника, отгибая голову, принялась стаскивать крючком железные файерки с огня, а когда

обернулась, чуть не наступила на Папу-Модерато. Папа лежал на спине, как перевернутый жук, и, глядя с этой неудобной позиции на угол плиты, восклицал:

— Какой ракурс! Вот заснять бы! Какая кастрюля получается! Мировая кастрюля!

— Встаньте! — закричала Зося. — Что это за штуки?

Но Модерато не вставал. Этот молодой человек был отравлен сильнейшим из кинематографических ядов — ядом кино-факта.

Год тому назад тихий греческий мальчик с горящими любопытствующими глазами из Папы-Модерато превратился в Бориса Древлянина. Это случилось в тот день, когда он окончил режиссерский цикл кинематографических курсов и считал, что лишь отсутствие красивого псевдонима преграждает ему дорогу к мировой известности. Свой досуг Древлянин делил между кинофабрикой и пляжем. На пляже он загорал, а на фабрике всем мешал работать. В штат его не приняли, и он считался не то кандидатом в ассистенты, не то условным аспирантом.

В то время из Москвы в Одессу прикатил поруганный в столице кинорежиссер товарищ Крайних-Взглядов, великий борец за идею кино-факта. Местная киноорганизация, подавленная полным провалом своих исторических фильмов из древнеримской жизни, пригласила товарища Крайних-Взглядова под свою стеклянную сень.

— Долой павильоны! — сказал Крайних-Взглядов, входя на фабрику. — Долой актеров, этих апологетов мещанства! Долой бутафорию! Долой декорации! Долой надуманную жизнь, гниющую под светом юпитеров! Я буду обыгрывать вещи! Мне нужна жизнь, как она есть!

К работе порывистый Крайних-Взглядов приступил на другой же день.

Розовым утром, когда человечество еще спало, новый режиссер выехал на Соборную площадь, вылез из автомобиля, лег животом на мостовую и с аппаратом в руках осторожно, словно боясь спугнуть птицу, стал подползать к урне из окурков. Он установил аппарат у подножия урны и снял ее с таким расчетом, чтобы на экране она как можно больше походила на гигантскую сторожевую башню. После этого Крайних-Взглядов постучался в частную квартиру и, разбудив насмерть перепуганных жильцов, проник на балкон второго этажа. Отсюда он снова снимал ту же самую урну, правильно рассчитывая, что на пленке она приобретет вид жерла сорокадвухсантиметрового орудия. Засим, немного отдохнув, Крайних-Взглядов сел в машину и принялся снимать урну сходу. Он стремительно наезжал на нее, застигал ее врасплох и крутил ручку аппарата, наклоненного под углом в сорок пять градусов.

Борис Древлянин, которого прикомандировали к новому режиссеру, с восхищением следил за обработкой урны. Ему и самому тоже удалось принять участие в съемке. Засняв тлеющий окурок папиросы в упор, отчего она приняла вид пароходной трубы, извергающей дым и пламя, Крайних-Взглядов обратился к живой натуре. Он снова лег на тротуар, на этот раз на спину, и велел Древлянину шагать через него взад и вперед. В таком положении ему удалось прекрасно заснять подошвы башмаков Древлянина. При этом он достиг того, что каждый гвоздик подошвы походил на донышко бутылки. Впоследствии этот кадр, вошедший в картину «Беспристрастный объектив», назывался «Поступь миллионов».

Однако все это было мелко по сравнению с кинематографическими эксцессами, которые Крайних-Взглядов учинил на железной дороге. Он считал своей специальностью съемки под колесами поезда. Этим он на несколько часов расстроил работу железнодорожного узла. Завидев тощую фигуру режиссера, лежащего между рельсами в излюбленной позе — на спине, машинисты бледнели от страха и судорожно хватались за тормозные рычаги. Но Крайних-Взглядов подбодрял их криками, приглашая прокатиться над ним. Сам же он медленно вертел ручку аппарата, снимая высокие колеса, проносящиеся по обе стороны его тела.

Товарищ Крайних-Взглядов странно понимал свое назначение на земле. Жизнь, как она есть, представлялась ему в виде падающих зданий, накренившихся на бок трамвайных вагонов, приплюснутых или растянутых объективом предметов обихода и совершенно перекореженных на экране людей. Жизнь, которую он так жадно стремился запечатлеть, выходила из его рук настолько помятой, что отказывалась узнаваться в крайне-взглядовском экране.

Тем не менее у странного режиссера были поклонники, и он очень этим гордился, забывая, что нет на земле человека, у которого не было поклонников. И долго еще после отъезда режиссера Борис Древлянин тщательно копировал его эксцентричные методы.

— Встаньте, говорят вам! — кричала Зося. — Я вас сейчас буду пинать ногами.

Папа-Модерато неохотно поднялся с полу и вернулся в комнату, где уже сидел за обеденным столом Александр Иванович Корейко.

В обстановке внеслужебной Александр Иванович уже не казался человеком робким и приниженным. Но все же настороженное выражение ни на минуту не сходило с его лица. Сейчас он внимательно разглядывал новый ребус Синицкого. Среди прочих загадочных рисунков был там нарисован нуль.

из которого сыпались буквы «Т», елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался провернутой вверх запятой.

— Этот ребус трудненько будет разгадать! — говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. — Придется вам посидеть над ним, Александр Иванович.

— Придется, придется, — ответил Корейко с усмешкой, — только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а. Есть. Готово. «В борьбе обретешь ты право свое»?

— Да, — разочарованно протянул старик, — как это вы так быстро угадали? Способности большие! Сразу видно юриста.

— А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?

— Для печати.

— И совершенно напрасно, — сказал Корейко, принимаясь за борщ, в котором плавали жирные золотые медяки. — «В борьбе обретешь ты право свое» — это эсеровский лозунг. Для печати не годится.

— Ах ты, боже мой! — застонал старик. — Царица небесная! Опять маху дал! Слышишь, Зосенька? Маху дал! Что же теперь делать?

Старика все успокаивали, но он был безутешен. Он отказался от обеда и затих в углу, молча переживая свое горе.

Александр Иванович столовался у Синицких сначала потому, что обеды были там дешевые и вкусные. К тому же основным правилом он поставил себе ни на минуту не забывать о том, что он мелкий служащий. Он тыкал всем в глаза свою мнимую бедность и любил поговорить о трудности существования в большом городе на мизерное жалование. Но с некоторых пор цена и вкус обедов потеряли для него то отвлеченное и показательное значение, которое он им придавал. Если бы от него потребовали и он мог сделать это не таясь, то платил бы за обед не шестьдесят пять копеек, как он это делал теперь, а три или даже пять тысяч рублей.

Дело в том, что Александр Иванович, подвижник, сознательно изнурявший себя финансовыми веригами, запретивший себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный тем, что из боязни потерять миллионы он не может открыто истратить ста рублей, — влюбился, влюбился с той грубостью, на которую способен человек сильный, суровый и обозленный бесконечным ожиданием.

Съев полтораста борщей и такое же количество рубленых котлет, он стал в семье Синицких своим человеком. В жалкой шкуре маленького служащего он никак не мог решиться ухаживать за Зосей. Он вел с ней добропорядочные беседы, рассказывал ей о юридических казусах и с ненавистью к себе чувствовал, что слишком хорошо вошел в роль. Шкура давила

его. Он не только не мог оглушить Зосю своим богатством. Он не мог даже блеснуть перед ней своими поистине замечательными способностями финансового стратега.

Папу-Модерато Александр Иванович терпеть не мог, хотя виделся с ним только несколько раз. Папе-Модерато было девятнадцать лет. Корейке было тридцать пять. У Корейки было 46 рублей в месяц официально и десять миллионов неофициально. У Модерато официально не было ни копейки (он жил у родителей), а неофициально он умудрялся зарабатывать рублей двадцать в месяц, изображая при случае эпизодические роли римлян. Но Корейко не смел брать из своих миллионов ни копейки, а Папа тратил свои двадцать рублей с такой помпой, что кинематографическая Одесса долго содрогалась после его кутежей.

Он уводил Зосю в городской театр, брал там ложу бель-этажа за 8 рублей. Потом требовал, чтобы из буфета в ложу принесли столик. Это уносило еще три рубля. Оставшиеся деньги поглощал долгий веселый ужин с пивом, музыкой и цветами в ресторане Церабкоопа. После этого, правда, наступали суровые будни, и Борис Древлянин целый месяц вымаливал у знакомых папиросы; но миллионер все же ему завидовал. Такие кутежи были ему не по средствам.

Александр Иванович просидел у Синицких до вечера. А потом все трое пошли бродить по городу.

— Как в кино хочется! — воскликнула Зося. — Хорошо б «Чикаго» посмотреть!

— Стоит ли, — сурово сказал Корейко, — в такую погоду. Давайте лучше погуляем.

В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод шипели керосинно-калильные лампы. Под сильным белым светом жирно блестела слоистая баклава на железных листах, стеклянные цилиндры с сиропами на вертящейся подставке мерцали аптекарскими цветами. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гуляющих.

— В кино хочется, — капризно повторила Зося, — орехов хочется, баклавы, сельтерской с сиропом!

— Действительно, хорошо бы «Чикаго» посмотреть, — сказал Древлянин и, опомнившись, добавил: — Хотя я, знаете, признаю исключительно неигровой фильм. Но у меня ни копейки нет. Может быть, у вас, товарищ Корейко, найдется подкожный рубль? Я бы вам в пятницу отдал.

— Нету, — ответил миллионер, разводя руками, — честное слово.

— Ужасающее положение, — сказала Зося. — Когда вы уже разбогатеете, Древлянин?

— Скоро, — ответил Папа-Модерато. — С будущего года меня обещали взять на штат. А это пахнет жалованием в шестьдесят рублей. А съемочные! Тоже рублей пятьдесят наберется! Скоро я стану богатым женихом.

«Дурак, — подумал Корейко, — дубина! Он будет нищим всю свою жизнь! Ничтожество! Пятьдесят рублей съемочных! А миллион съемочных не хочешь?»

Для того чтобы не расстаться с Зосей, Корейко решился бы скомпрометировать себя на рубль, но рубля у него не было. Сейчас в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей, бумажками по двадцать пять червонцев. Эти деньги он не успел передать на покупку олова в прутиках. Но если бы даже он сошел с ума и решился обнаружить хотя бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кино нельзя было бы разменять.

— Денежки не малые! — ожесточенно сказал он. — Сто десять рублей в месяц.

— А вы на мне женитесь, Древлянин, когда разбогатеете? — спросила Зося.

— А вы за меня пойдете?

— За такого богатого всякая пойдет, — сказал Зося.

— Нет, это черт знает что! — закричал вдруг Папа-Модерато. — Я тоже хочу в кино! Я молод и намерен жить! Подождите минутку! Я сейчас! Пойду потрогаю за вымя Гришку Блоха!

Вслед за этими непонятными словами Папа-Модерато бросился бежать. Трижды его осветили буфетные прожектора, а потом он исчез в темноте.

Оставшись с Зосей, Александр Иванович не сказал ни слова. Древлянин вернулся очень быстро, огромными прыжками.

— Шесть гривен! — закричал он издали. — На два билета хватит!

— А как же я? — спросил Александр Иванович.

Миллионеру очень хотелось в кино. Ему казалось невозможным оставить Зосю наедине с проклятым греком. Но Папа-Модерато нетерпеливо попрощался и увлек девушку под тусклую вывеску кино «Червонный летун».

Эту ночь конторщик юридической консультации не спал дома. До самого утра он шатался по городу, тупо рассматривал карточки напыщенных дам и голеньких младенцев в стеклянных витринах фотографов, взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались милицейские свистки и поворачивался красный маячный огонек.

— Проклятая страна! — бормотал Корейко. — Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино!

Сейчас Зося казалась ему невестой. Он не сомневался в том, что если покажет Зосе веселую богатую жизнь, то она отпугнет Древлянина. Зосе нужно показать Крым, теплоходы, пальмы, международные вагоны. И среди этого невиданного ею блеска она даже не заметит, что у Корейко стеклянный глаз, что он тяжелый человек, что он старше ее на восемнадцать лет.

К утру, побелевший от бессонницы, Александр Иванович забрел на окраину города. Когда он проходил по Дальницкой улице, ему послышались звуки матчиша. Удивленный, он остановился.

Навстречу ему спускался с горы большой желтый автомобиль. За рулем, согнувшись, сидел усталый шофер в хромовом картузе. Рядом с ним дремал широкоплечий малый, свесив набок голову в стетсоновской шляпе с дырочками. На заднем сидении развалились еще двое пассажиров: пожарный в полной выходной форме и атлетически сложенный мужчина в морской фуражке с белым верхом.

— Привет первому одесситу! — крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо Корейки. — Морские ванны еще работают? Бани Исаковича функционируют? Уже объявили Одессу вольным городом?

Но Остап не получил ответа. Цесаревич открыл глушитель, и Антилопа утопила первого одессита в облаке голубого дыма.

— Ну, — сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, — подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать!

Содержание

Часть третья
ЧАСТНОЕ ЛИЦО

Приложения

Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

Редактор *В.Т. Бабенко*
Художественный редактор *Т.Н. Костерина*
Технолог *М.С. Белоусова*
Оператор компьютерной верстки *А.В. Волков*
П. корректоры *В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2:953 000 — книги, брошюры
Подписано в печать 31.10.2000. Формат 84 × 108/32.
Гарнитура Балтика. Печать высокая.
Объем 14,5 печ. л. Тираж 25 000 экз.
Изд. № 1525. Заказ № 428.

Издательство «ВАГРИУС»
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1
Интернет/Home page — http://www.vagrius.com
Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

Получить подробную информацию о наших книгах и планах,
авторах и художниках, истории издательства,
ознакомиться с фрагментами книг, высказать свои пожелания
и задать интересующие Вас вопросы
Вы сможете, посетив сайт издательства в сети
Интернет: **http://www.vagrius.com; http://www.vagrius.ru**

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном
ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии «Первая Образцовая типография»
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
113054, Москва, Валовая, 28.

ВАГРИУС

ISBN 5-264-00513-3
9 785264 005138 >

ИЛЬЯ ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК